РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА

ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

2

МАРТ–АПРЕЛЬ

"НАУКА"

МОСКВА – 1998

СОДЕРЖАНИЕ

Е.В. Урысон (Москва). Языковая картина мира VS. обиходные представления (модель восприятия в русском языке) 3

В.П. Конецкая. Аксиомы, закономерности и гипотезы в лексикологии 22

Ф. Хундснуршер (Мюнстер). Основы, развитие и перспективы анализа диалога 38

Р. Мароевич (Белград). Этюды по грамматике древнерусского языка. II (Посессивы типа *Творимиричь*) 51

Р.Н. Кривко (Москва). Древнерусская орфография XI–начала XII века в свете суперсегментных тембровых оппозиций 60

М.В. Иванова (Москва). Древнерусская агиография конца XIV–XV в. как источник истории русского литературного языка 79

Н.В. Перцов (Москва). К проблеме инварианта грамматического значения. II. (Императив в русском языке) 88

Ю.А. Пупынин (С.-Петербург). Элементы видо-временной системы в детской речи 102

Р.К. Потапова (Москва), Т.А. Гордеева (Пенза). К вопросу о пограничных сигналах в современном немецком языке (применительно к региональным вариантам немецкого языка в ФРГ, Австрии, Швейцарии) 118

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Рецензии

В.Б. Крысько, А.Н. Шаламова (Москва). "Ein Rusch Boeck...": Ein Russisch-Deutsches anonymes Wörter- und Gesprächsbuch aus dem XVI. Jahrhundert; *Fałowski A.* "Ein Rusch Boeck..." 129

М.М. Маковский (Москва). *Д.О. Добровольский.* Немецко-русский словарь живых идиом 134

А.В. Морозова (Москва). *M. Haspelmath.* Indefinite Pronouns 139

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки 143

А. Дуличенко (Тарту). Письмо в редакцию 155

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Ю.Д. Апресян, А.В. Бондарко, В.Г. Гак, В.З. Демьянков, В.М. Живов, А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик, М.М. Маковский (отв. секретарь), *Т.М. Николаева* (зам. гл. редактора), *Ю.В. Откупщиков, В.В. Петров, В.М. Солнцев, О.Н. Трубачев* (главный редактор), *А.М. Щербак*

Зав. отделами *М.М. Маковский, Г.В. Строкова*

Зав. редакцией *Н.В. Ганнус*

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2.
Институт русского языка, редакция журнала "Вопросы языкознания"
Тел. 201-74-42

© Российская академия наук,
Отделение литературы и языка РАН, 1998 г.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1998

© 1998 г. Е.В. УРЫСОН

ЯЗЫКОВАЯ КАРТИНА МИРА VS. ОБИХОДНЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ (МОДЕЛЬ ВОСПРИЯТИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ)*

0. Известно, что каждый естественный язык по-своему членит мир, т.е. имеет свой специфичный способ его концептуализации. Иными словами, в основе каждого конкретного языка лежит особая модель, или картина, мира, и говорящий обязан организовать содержание высказывания в соответствии с этой моделью. (Этому никак не противоречит тот факт, что все национально-специфичные модели мира имеют и общие, универсальные черты.)[1]

Языковую картину мира принято противопоставлять научной. Различие между языковой и научной картинами мира особенно ярко проявляется при анализе тех слов естественного языка, которые используются в качестве научных терминов; ср. *звезда, вода, свет, тепло, горение, высота, точка, линия* и т.д. Хотя значение научного термина развилось, "выросло" из значения обычного слова, однако термин определяется в системе научных понятий, а она бывает весьма далека от системы лексических значений, закрепленных в естественном языке. Ср. ставший хрестоматийным пример Л.В. Щербы: «*Прямая* (линия) определяется в геометрии как ‘кратчайшее расстояние между двумя точками’. Но в литературном языке это, очевидно, не так. ...*Прямой* мы называем в быту ‘линию, которая не уклоняется ни вправо, ни влево (а также ни вверх, ни вниз)» [Щерба 1974: 280]. Подчеркивая "донаучный" характер языковой модели мира, ее называют также наивной [Апресян 1995а].

Наивную картину мира принято интерпретировать как отражение обиходных (обывательских, бытовых) представлений о мире [Апресян 1995а; Яковлева 1994]. Иными словами, считается, что язык отражает наши самые обычные, житейские представления о том или ином объекте (ситуации). А это значит, что лингвиста, описывающего языковую картину мира, ждут открытия двух типов. С одной стороны, исследуемый фрагмент языковой модели мира будет необыкновенно точно соответствовать нашим, до сих пор никем не эксплицированным, обиходным представлениям о данном кусочке действительности. С другой стороны, этот же фрагмент наивной картины мира может удивительно отличаться от научного знания, которое современный образованный человек склонен рассматривать как эталон "правильных представлений". Ср. анализ слова *высота* в [Апресян 1995а: 58–59][2].

---

* Автор признателен всем коллегам, принявшим участие в обсуждении этой работы на семинаре по теоретической лингвистике и семантике в ИППИ РАН и на конференции ДИАЛОГ'97. Особую благодарность автор приносит Ю.Д. Апресяну, взявшему на себя труд прочитать рукопись этой статьи и сделать по ней ряд ценных замечаний.

Работа выполнена при финансовой поддержке РГНФ (проект 96-04-6437) и РФФИ (проект 96-15-98605).

[1] Подробнее о языковой модели мира см. [Апресян 1995а; 1995б; Wierzbicka 1992].

[2] Последнему утверждению не противоречит тот факт, что "интуитивные представления о вещах не всегда расходятся с научными" [Апресян 1995а: 299]. Это в большой степени связано с тем, что "в модели мира современного человека граница между наивной и научной картинами стала менее отчетливой" [Яковлева 1994: 10], поскольку "историческая практика человечества неизбежно приводит ко все более широкому вторжению научных знаний в сферу бытовых представлений, отпечатываемых в фактах языка, или к расширению сферы этих бытовых представлений за счет научных понятий" [Апресян 1995а: 299].

Цель настоящей работы – показать, что наивная картина мира может быть противопоставлена не только научной картине мира, но и нашим житейским, обиходным, "обывательским" представлениям. Мы продемонстрируем это на одном фрагменте русской языковой картины мира, а именно – на модели восприятия.

1. Основные лексические единицы, обозначающие восприятие, – это *видеть, слышать, обонять, ощущать вкус* и *осязать*. Каждая из этих единиц описывает ситуацию с двумя участниками. Первый участник – субъект восприятия (тот, кто воспринимает), второй – объект восприятия (то, что воспринимается). Иногда субъект просто воспринимает какой-нибудь объект (пассивное восприятие); ср. *Я вижу лису, Я слышу музыку*. А иногда он делает что-то специальное, для того чтобы воспринимать объект. Ср. *Я смотрю на лису, Я слушаю музыку*. Такие специальные действия обозначаются своими глаголами, причем для кажого вида "пассивного восприятия" имеется парный глагол, обозначающий соответствующее активное действие. Ср. *видеть – смотреть, слышать – слушать, обонять – нюхать, ощущать вкус – пробовать, осязать – щупать*[3].

Первые члены в этих парах устроены вполне единообразно – они толкуются по схеме 'воспринимать X Y-ом', где Y – обозначение соответствующего органа восприятия. Ср. слегка модифицированные рабочие толкования, обсуждаемые в [Вежбицка 1986: 338]: *видеть что-л.* = 'воспринимать что-л. глазами', *слышать что-л.* = 'воспринимать что-л. ушами', *обонять что-л.* = 'воспринимать что-л. носом', *ощущать вкус чего-л.* = 'воспринимать что-л. языком', *осязать что-л.* = 'воспринимать что-л. телом'. Сосредоточимся сначала на третьем компоненте этих толкований, т.е. на органе восприятия[4].

Глаза, уши, нос и язык – это действительно органы, т.е. части тела, имеющие свой внешний вид (в частности – форму) и свои четкие функции. Однако в русском языке нет специального однословного выражения для той части тела, которая осязает. Мы знаем, что это подушечки пальцев и, возможно, ладонь (точнее, кожа этих частей руки), но русский язык не выделяет их в качестве "органа осязания". Ниже мы вернемся к этой непоследовательности языка. А сейчас остановимся на другой его кажущейся нелогичности – обозначение органа восприятия в некоторых случаях как будто допускает варианты.

Русские толковые словари, толкуя глаголы *видеть, слышать* и *обонять*, в качестве Y–а выбирают не 'глаза', 'уши' и 'нос', а нечто другое. *Видеть* толкуется

---

[3] В [Апресян 1995в: 357 сл.] продемонстрировано, что для полного описания модели восприятия необходимо рассматривать не две, а три или даже четыре серии глаголов (предикатных слов). Первая серия – это предикаты, обозначающие "пассивное восприятие"; ср. *Из окна мы видели кусочек неба*. Вторая серия – это "конверсные им глаголы или глагольные выражения, первая валентность которых заполняется именем воспринимаемого объекта, а вторая – именем субъекта восприятия" [Апресян 1995в: 357 слл.]; ср. *Из окна нам был виден кусочек неба*. Третья серия глаголов – это глаголы "активного действия" типа *смотреть, слушать*. Наконец, четвертую, гораздо менее регулярную серию, образуют глаголы, обозначающие "активное воздействие объекта на орган чувства; ср. *бросаться в глаза* для зрения, *доноситься* для слуха, *шибать в нос* для обоняния" [Апресян 1995в: 357]. Тем самым, в русском языке предикаты восприятия группируются не в пары, а как минимум в триады; ср. *видеть – быть видным (кому-л.) – смотреть, слышать – быть слышным (кому-л.) – слушать, обонять (чуять) – пахнуть – нюхать, ощущать вкус – быть на вкус – пробовать, осязать – быть на ощупь – щупать*. Анализ срединных предикатов из триад для наших целей несуществен, поэтому в дальнейшем они не рассматриваются.

[4] Первый компонент – 'воспринимать' – отличает данный класс слов от других классов, поэтому он важен при сравнении модели восприятия с другими фрагментами языковой картины мира. Мы, однако, будем сравнивать выбранные слова между собой, поэтому для нас этот компонент не представляет интереса. В частности, сейчас нам неважно, является ли 'воспринимать' семантическим примитивом [Апресян 1995в] или весьма сложным смыслом [Вежбицка 1986].

как 'воспринимать зрением', *слышать* – как 'воспринимать слухом', *обонять* – 'воспринимать обонянием'[5]. Что же такое *зрение, слух* и *обоняние*?

В толковых словарях эти слова толкуются как 'способность': *зрение* = 'способность видеть', *слух* = 'способность слышать', *обоняние* = 'способность обонять'. Получается, что глаголы *видеть, слышать* и *обонять* толкуются по абсурдной схеме 'воспринимать способностью'. Но это, разумеется, не так.

Все дело в том, что слова *зрение, слух* и *обоняние* обозначают не только способность. В работе [Урысон 1995] мы продемонстрировали, что в некоторых контекстах эти слова выступают как обозначения чего-то предметного, подобного органу восприятия. Так, слух предстает как нечто, с помощью чего человек воспринимает звуки. Ср. *Напряженным слухом ловил каждый шорох, Это сочетание звуков странно поразило мой слух, До его слуха донеслись звуки вальса.* Сочетания *воспринимать зрением* и *воспринимать обонянием* можно естественно интерпретировать лишь в том случае, если согласиться, что слова *зрение* и *обоняние* могут обозначать нечто вроде органов. Ср. в связи с этим следующие примеры: *Не утаится Град от зрения людского,/ Стоя на горней высоте* (Ф.И. Тютчев); *В это время обоняние мое уловило запах дыма* [БАС]. Подобные контексты вполне характерны для слова *слух* и менее типичны для слова *зрение.* Что касается слова *обоняние,* то для него соответствующее употребление является окказиональным.

Как организована семантика этих слов? Может быть, мы имеем здесь дело с полисемией, т.е. с разными значениями слова? Ср. *слух 1* = 'способность слышать', *слух 2* = 'орган слуха 1'. Такое решение противоречит языковой интуиции.

В работе [Урысон 1995] мы предложили считать, что лексемы[6] *зрение, слух* и ряд других совмещают в своем значении компоненты 'способность' и 'орган'. Они толкуются по схеме 'способность... или орган...'. Правда, степень выраженности представления об органе в разных лексемах различна. Например, в слове *слух* она гораздо больше, чем в слове *обоняние* (см. примеры выше)[7]. Подробное обсуждение вопроса о степени выраженности того или иного представления в значении лексемы выходит далеко за рамки предлагаемой работы. Нас сейчас интересует другое: какие органы обозначаются словами *зрение, слух* и *обоняние*?

Очевидно, что *слух* ≠ 'уши', *зрение* ≠ 'глаза', *обоняние* ≠ 'нос'. Действительно, уши, глаза и нос – это вполне реальные органы. Их можно видеть и трогать, они обладают совершенно определенной локализацией, их можно подвергать физическим действиям. Ср. *заткнуть уши, зажмурить ⟨закрыть, открыть⟩ глаза, зажать нос.* А слух, зрение и обоняние, хотя и имеют функции органов, но невидимы, нематериальны. Их невозможно подвергать никаким физическим действиям, недопустимо **заткнуть слух* [ср., однако, в поэтической речи *Но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух* (А. Ахматова)], **зажмурить ⟨открыть, закрыть⟩ зрение*, **зажать обоняние.* Локализация этих невидимых органов довольно неопределенна – можно согласиться с тем, что они находятся где-то внутри реальных органов восприятия: слух – где-то в глубине ушей, зрение – где-то внутри глаз, обоняние – где-то внутри носа. При этом невидимый орган обеспечивает функционирование реального органа. Действительно, человек может иметь глаза, но быть слепым, иметь уши, но быть глухим, иметь нос, но не воспринимать запахи. Значит, глаза, уши и нос – это просто части тела человека

---

[5] Последнее толкование в [МАС] несколько длиннее: *обонять* – 'ощущать запах чего-л., воспринимать обонянием'.

[6] Следуя словоупотреблению, принятому в Московской семантической школе, мы называем лексемой слово, взятое в одном его значении.

[7] По-видимому, эту степень естественно определять статистически. А именно, "вес" представления об органе прямо пропорционален а) количеству стандартных сочетаний, в которых реализуется данный компонент значения; б) частотности таких сочетаний в реальных текстах. Все эти сведения, на наш взгляд, следует указывать отдельно от толкования.

(или животного), а истинные органы восприятия невидимы, нематериальны, хотя и связаны с данными, телесными органами, поскольку находятся где-то в их глубине.

Этот фрагмент русской языковой картины мира очень логичен. Правда, он не разработан языком до конца – представление о некоторых невидимых органах восприятия лишь намечено, ср. *обоняние*. Интересны в этом отношении слова *осязание* и *вкус*. Они обозначают прежде всего способность. Но какое-то, очень слабое представление об органе просвечивает и в них. Ср. следующий пример: *Осязание участвует в восприятии организмом величины, формы и характера поверхности предметов внешнего мира*. Аналогичный пример можно сконструировать и для слова *вкус*. Однако крайне странно ??*воспринимать осязанием* и плохо **воспринимать вкусом* (при том, что совершенно нормально *воспринимать слухом, воспринимать зрением* и возможно даже *воспринимать обонянием*). Таким образом, с точки зрения русского языка человек *ощущает вкус* и *осязает* только частями тела – никаких невидимых органов осязания и вкусового ощущения у человека нет.

Неравномерная разработанность данного фрагмента языка проявляется еще в одной точке системы. Сосредоточимся теперь на том, что воспринимается человеком (вторая, объектная, валентность предиката 'воспринимать X Y-ом').

Когда человек обоняет что-л. или ощущает что-л. на вкус, он воспринимает не весь объект в его полноте, а лишь какой-то один его аспект, одну характеристику. Эта характеристика имеет в русском языке однословное выражение, ср. *запах* (для *обонять*) и *вкус* (для *ощущать вкус*). Когда человек осязает что-л., он тоже, очевидно, воспринимает лишь какие-то частные аспекты предмета – это его фактура, а также форма и величина. Однако для данного (воспринимаемого осязанием) аспекта предмета в русском языке нет однословного выражения – при том, что есть прилагательные, характеризующие фактуру предмета, ср. *гладкий, шелковистый, бархатистый, шершавый, шероховатый* и др. Тем самым, в этом месте модели восприятия мы опять сталкиваемся с лакуной.

Когда человек слышит, он воспринимает не тот или иной аспект предмета, а нечто иное – мы слышим звуки, а они сопутствуют какому-то действию (процессу), т.е. являются скорее компонентом ситуации. Важно, что для этого компонента ситуации в языке есть однословное выражение, ср. *звук*.

А что человек воспринимает зрением? Очевидно, не какую-то одну характеристику предмета и не какой-то один аспект ситуации, а предмет или ситуацию во всей полноте. Правда, в русском языке есть лексические единицы, предполагающие, что у объекта (в частности, у человека) есть видимый аспект и невидимая, скрытая сущность; ср. (*внешний*) *вид, внешность, облик, выглядеть, казаться*. Однако сама по себе ситуация, называемая глаголом *видеть*, ничего подобного не предполагает. Естественно, поэтому, что в русском языке нет стандартного однословного средства для обозначения того, что воспринимается зрением. Но это не лакуна в системе, а особая выделенность зрительного восприятия в языке: мы видим весь мир, а не какие-то его аспекты или компоненты.

Лакуны в языковой модели восприятия представлены в таблице 1.

Неравномерная разработанность данного фрагмента языковой картины мира объясняется, прежде всего, различной степенью важности разных видов восприятия. Зрение и слух существенно важнее обоняния, осязания и вкуса – и соответствующие понятия развиты языком в гораздо большей степени. Правда, этому как будто противоречит одна деталь – представление о слухе как о невидимом органе почему-то развито в русском языке существенно лучше, нежели представление о зрении как органе. Но ведь зрение важнее слуха. Дальнейший анализ русской модели восприятия даст ответ и на этот вопрос.

2. Перейдем к глаголам, обозначающим те активные действия, которые совершает человек для того, чтобы воспринимать; ср. *смотреть, слушать, нюхать, пробовать (на вкус), щупать*. Начнем с самых простых из них.

Таблица 1

"Пассивное" восприятие	Органы		Воспринимаемое
	Видимый	Невидимый	
видеть	глаза	зрение	[окружающая действительность]
слышать	уши	слух	звук
обонять	нос	обоняние (окказ.)	запах
ощущать вкус	язык	ø	вкус
осязать	ø	ø	ø

Нюхать X = 'вдыхать через нос воздух, обычно находящийся рядом с X-ом, для того чтобы воспринимать запах X-а'. Ср. *нюхать розу*. Вообще говоря, 'воспринимать запах' = 'обонять'. Однако *обонять* – это стилистически отмеченное слово, поэтому мы предпочли толковать *нюхать* не через 'обонять', а через семантическое разложение последнего предиката (хотя при этом и нарушается требование ступенчатости толкования[8]).

Пробовать X = 'делать так, чтобы небольшое количество X-а и язык касались друг друга, для того чтобы воспринимать вкус X-а'. Ср. *Повар пробует суп*[9].

Щупать X = 'трогать пальцами X, для того чтобы ощущать его'. Ср. *Я щупаю ткань и ощущаю жесткий ворс. Щупать* не толкуется через 'осязать' (так же как *нюхать* не толкуется через 'обонять') потому, что *осязать* – достаточно редкий глагол, употребляемый, главным образом, в переносном значении; ср. *Месть лишь тогда сладка, когда имеешь возможность видеть и осязать ее плоды* [МАС][10].

В толкование предикатов *обонять – нюхать* и *ощущать вкус – пробовать* входит указание на орган – это соответственно нос и язык. Что касается *осязать*, то русский язык не выделяет у человека "органа осязания" – для тех частей тела, которыми мы обычно осязаем, в русском языке нет специального (однословного) обозначения. Тем не менее, в толкование *щупать* входит указание на определенную часть тела – пальцы. Однако пальцы – это не орган осязания, а инструмент ощупывания, являющийся одновременно и частью тела субъекта. Точнее, пальцы – это орган-инструмент, с помощью которого человек щупает[11]. Тем самым, ситуация *щупать* предполагает нового участника. Причем в тех случаях, когда речь идет не о человеке, а о каком-либо другом живом существе, этот участник ситуации обозначается специальным словом; ср. *щупальца, щупик* (ср. также техн. *щуп*).

Глагол *слушать*, подобно *нюхать, пробовать* и *щупать* обозначает активное действие субъекта, цель которого – восприятие звука. Однако *нюхать, пробовать* и *щупать* описывают вполне конкретные физические действия, ср. 'вдыхать воздух через нос', 'делать так, чтобы небольшое количество вещества и язык касались друг друга', 'трогать объект пальцами'. А *слушать* не указывает ни на какие подобные физические действия. Что же делает субъект, когда слушает? Словари русского языка толкуют *слушать* так: 'направлять слух на какие-либо звуки' (ср. [МАС]). Но эту дескрипцию нельзя считать толкованием глагола *слушать* – выражение 'направлять слух на какие-либо звуки' слишком туманно и неясно.

---

[8] См. об этом требовании [Апресян 1995а: 95].

[9] В случаях типа *Дорогие гости, попробуйте нашу рыбу* представлено другое значение слова *пробовать*, ср. его близкий синоним *отведать*.

[10] Глаголу *щупать* близки глаголы *прикасаться* и *трогать*. Слово *прикасаться*, однако, не указывает на целенаправленность действия; ср. *Он случайно прикоснулся к оголенным проводам*. А глагол *трогать* не предполагает, что цель данного действия – ощущать, осязать; ср. *Я несколько раз трогал его за плечо и даже тряс, но он не просыпался*.

[11] О семантических понятиях 'орган', 'инструмент' и 'орган-инструмент' см. [Апресян 1995а: 128–129].

По-видимому, русский язык не располагает особым словом, обозначающим то действие, которому субъект подвергает свой слух, когда слушает. Это неслучайно – ситуация *слушать*, в отличие от *нюхать, пробовать, щупать* и даже *смотреть* (см. ниже), не предполагает никаких явных внешних проявлений (по крайней мере, у человека – животные поводят ушами, настораживают их и т.п.). Поэтому *слушать* – наиболее абстрактный из рассматриваемых здесь глаголов. Мы предполагаем толковать его следующим образом.

Слушать X = 'держать слух в таком состоянии, чтобы слышать X'. Ср. [*Послушай, как будто кто-то ходит у нас под дверью.*] *Я долго слушаю и наконец улавливаю какой-то шорох <Я слушаю, но ничего не слышу>; Я слушаю капель <шум поезда>.*

Глаголы *слушать, нюхать* и *пробовать* включают указание на орган восприятия и некоторое действие, которому субъект целенаправленно его подвергает. В значение глагола *щупать* входит указание не на орган пассивного восприятия, а на орган-инструмент активного действия. Разберем, как с этой точки зрения устроен глагол *смотреть*.

Смотреть принято толковать через компонент 'направлять взгляд', ср., например, [Апресян 1995а: 101]: *смотреть* = 'направлять взгляд, чтобы увидеть'. Это толкование не вполне корректно. Глагол *направлять* обозначает "точечное", или моментальное действие[12], в частности, невозможно **долго <три часа> направлять взгляд*. А *смотреть* обозначает ситуацию, длящуюся во времени, поэтому нормально *долго <три часа> смотреть*. Кроме того, *смотреть на X* не предполагает, что субъект специально направил на X взгляд – он мог случайно заметить нечто, что привлекло его внимание, и задержать взгляд на этом объекте. Исправив эти некорректности, получаем следующее толкование: *смотреть на X* = 'держать взгляд направленным на X, для того чтобы видеть X'. Но что такое 'взгляд'? Почему глагол *смотреть* нельзя толковать через более очевидный компонент 'глаза'?

Можно думать, что мы сталкиваемся здесь с уже знакомой нам логикой русской языковой картины мира. Глаза могут быть и у незрячего человека, ср. *Все стали смотреть на небо, и слепой тоже устремил глаза вверх.* Значит, для того чтобы смотреть, нужно иметь не только глаза, но и нечто еще (ведь и для того чтобы видеть, нужно, наряду с глазами, иметь еще и зрение). Быть может, это нечто и есть взгляд, который может быть только у зрячего? Ср. невозможность **Все стали смотреть на небо, и слепой тоже устремил взгляд вверх.*

Такое рассуждение, однако, не вполне корректно. Высказывания типа **Слепой (тоже) устремил взгляд <посмотрел> вверх* абсурдно потому, что *посмотреть* (на что-л. или куда-л.) и *устремить взгляд* (на что-л. или куда-л.) содержат указание на цель – 'видеть (что-л.)', и это указание вступает в противоречие со значением слова *слепой*. Что касается высказывания *Слепой (тоже) устремил глаза вверх*, то в данном контексте выражение *устремить глаза* указания на цель 'видеть' не содержит. Благодаря этому данное высказывание вполне нормально. Приведенные примеры свидетельствуют лишь о том, что 'взгляд' ≠ 'глаза'. Из них, однако, никак не следует, что *смотреть* нужно толковать через 'взгляд', а не через более простой смысл 'глаза'.

Для того чтобы понять, как устроен данный фрагмент лексической системы русского языка (и соответствующий фрагмент модели восприятия), рассмотрим лексемы *глаза, зрение* и *взгляд*.

2.1. Слово *глаза* обозначает парный орган зрения, находящийся на лице человека (или на передней части головы животного). Во многих случаях в фокусе внимания говорящего находится внешний вид этого органа – цвет, форма, строение, расположение

[12] О глаголах моментального действия см. [Апресян 1995г].

и т.п. Ср. *голубые <карие, черные, серые> глаза, большие <маленькие, круглые, узкие, удлиненные> глаза, глаза навыкате, огромные глаза с длинными ресницами, глубоко посаженные <близко поставленные> глаза*; ср. также *подведенные глаза, красить глаза, закрыть <зажмурить> глаза*. Форма ед. числа *глаз* в соответствующих контекстах обозначает один из двух компонентов органа, ср. *подбить глаз, бельмо на глазу, Почему у тебя левый глаз такой красный*?

В других случаях в фокусе внимания говорящего находится не внешний вид данного органа, а его функция – 'видеть'. Благодаря этому слово *глаза* в соответствующем круге контекстов сближается с лексемой *зрение*. Ср. *Глаза ослабли – Зрение ослабло, Это очень полезно для глаз – Это очень полезно для зрения, Он напрягал глаза – Он напрягал зрение, У нее что-то с глазами – У нее что-то со зрением, Не читай в темноте – глаза <зрение> испортишь;* ср. также *хорошие <плохие> глаза* в значении 'хорошее <плохое> зрение'. Форма ед. числа *глаз* в соответствующих контекстах имеет родовой денотативный статус и обозначает орган зрения человека как вида, ср. *Человеческому глазу это недоступно*. Эта форма может также обозначать орган особого видения, свойственного а) классу людей с определенным родом занятий, ср. *Глаз художника <опытный глаз> сразу заметит этот недостаток*; или б) конкретному человеку с его типом восприятия, возможно, сложившимся за достаточно длительный период времени, ср. *Только глаз Левитана мог увидеть тонкую красоту поздней осени, Моему глазу это непривычно*.

В данном типе употреблений слово *глаза*, хотя и обозначает конкретный орган, но в большей степени абстрагируется от его внешнего вида, от его материальности, вещественности, в частности – от его парности (ср. значение формы ед. числа). Именно поэтому слово *глаза*, обозначающее видимый, материальный орган зрения, сближается здесь со словом *зрение*, обозначающим орган невидимый.

Наконец, в третьем круге контекстов слова *глаза* в фокусе внимания говорящего находятся активно действующие глаза, глаза, которые смотрят. Ср. *Все устремили глаза на вошедших, Ее глаза задержались всего на одной картине, Она остановила глаза на самом дорогом браслете, Он обвел <окинул> двор глазами, Она скользила глазами по строчкам* и т.п. Все сочетания со словом *глаза* в этом круге употреблений являются метафорическими – глаголы *устремить, задержаться, остановить, обвести, скользить* употреблены здесь в переносном значении. Казалось бы, на таком материале невозможно строить сколько-нибудь убедительное семантическое рассуждение. Однако в данном случае это не так – метафора во всех подобных сочетаниях очень незначительна и к тому же легко объяснима.

Дело в том, что язык очень точно уловил одну особенность функционирующих глаз – их зрачки находятся в движении, останавливаясь на том объекте, который привлек внимание человека. Именно поэтому данный круг контекстов слова *глаза* – это, главным образом, глаголы движения, ср. *устремить <перевести> глаза, скользить глазами, обвести <окинуть, смерить, обшарить> глазами, провожать <следовать> глазами* и т.п. В некоторых таких стандартных сочетаниях речь идет о движении не столько зрачков, сколько век, ср. *опустить <потупить, поднять> глаза*. Естественность движения зрачков и век подтверждается сочетаниями типа *остановить глаза, приковать глаза* (ср. *Все глаза были прикованы к картине*) и сочетанием *с (совершенно) остановившимися глазами*, которое указывает на то, что субъект находится в состоянии ужаса. Идея движения зрачков (и век) ясно видна и в тех сочетаниях, глагольный компонент которых уже не употребляется свободно: *окинуть глазами* (ср. *кинуть*), *вперить глаза* (ср. *переть*) и т.п. В этом типе употреблений глаза предстают уже не просто как орган, благодаря которому человек видит, а как орган-инструмент, с помощью которого человек смотрит.

Синонимами слова *глаза* в данном круге контекстов являются лексемы *взгляд* и *взор*[13]. Ср. стандартные сочетания с лексемой *взгляд: устремить <остановить, перевести> взгляд, скользить взглядом, обвести <окинуть, смерить, обшарить> взглядом, провожать <следовать> взглядом, опустить <поднять> взгляд, Взгляд задержался на чем-л., Взгляд прикован к чему-л.* и т.п. Лексема *взгляд*, подобно слову *зрение*, обозначает что-то невещественное, нематериальное. Однако она, в отличие от слова *зрение*, не является обозначением органа (даже невидимого). Взгляд не мыслится как часть тела человека хотя бы потому, что предполагает открытые глаза (а зрение, как и все остальные органы, есть и у спящего). Отсюда ясно, почему лексемы *взгляд* и *зрение* не ощущаются как синонимы. Но за счет чего возникает синонимия слов *взгляд* и *глаза*?

По нашему мнению, она обеспечена тем, что и взгляд, и глаза – это "инструмент", с помощью которого человек смотрит. Однако глаза – это орган-инструмент, т.е. часть тела субъекта, а взгляд – это просто инструмент (не орган) смотрения, причем инструмент невещественный, нематериальный.

Благодаря общему значению инструмента, слова *глаза* и *взгляд* имеют и общую сочетаемость. Они подчиняются глаголам со значением манипуляции, выступая либо а) в форме вин. пад. ("винительный объекта", инструмент фиксируется или был фиксирован раньше), ср. *устремить <отвести, задержать, остановить> глаза <взгляд>* и т.п.; либо б) в форме твор. пад. ("творительный инструментальный", инструмент движется), ср. *обвести <окинуть, следить> глазами <взглядом>* и т.п. (см. также примеры выше).

В одном отношении взгляд вполне аналогичен обычному инструменту – инструментом действует субъект, однако непосредственно манипулирует им конкретная часть его тела. Ср. *Он орудует лопатой – Его руки орудуют лопатой; Она привычно работает иглой – Пальцы привычно работают иглой; Он крутит педали – Ноги крутят педали* и т.п. Вглядом тоже управляет субъект (он направляет его, куда хочет или куда находит нужным), но непосредственно манипулируют им глаза. Правда, в русском языке недопустимы высказывания типа **Его глаза устремили (свой) взгляд на что-л.* Однако совершенно нормально сочетание *взгляд чьих-л. глаз* (ср. *Не могу забыть взгляд ее глаз*), и при нашем описании оно получает естественную интерпретацию.

Взгляд – совершенно необычный инструмент, поскольку он невеществен, нематериален. Правда, взгляд, подобно глазам, можно видеть, ср. *Заметила его (грустный) взгляд*. Дело в том, что взгляд может отражать чувства, желания, настроение субъекта, как бы окрашиваясь ими; ср. *задумчивый <спокойный, веселый, грустный, тоскующий, насмешливый, сочувствующий, тревожный, испуганный, вопросительный, загадочный> взгляд* и т.п. В этом отношении взгляд похож на глаза, ср. *задумчивые <спокойные, веселые, грустные, тоскующие, насмешливые, сочувствующие* и т.п.> *глаза*.

Приведем еще некоторые факты, подтверждающие, что взгляд – это инструмент смотрения. Рассмотрим внутреннюю форму и отчасти историю слова *взгляд*.

Взгляд – это существительное, образованное от моментального глагола *взглянуть/взглядывать*. По форме оно аналогично существительным типа *поклон* (от *кланяться/поклониться*), *прыжок* (от *прыгать/прыгнуть*), *взмах* (от *взмахивать/взмахнуть*) и др. Описание деривации таких существительных допускает, вообще говоря, два подхода[14]. С одной стороны, можно считать, что они являются существительными

---

[13] Слово *взор* стилистически отмечено – оно устаревшее или поэтическое и в дальнейшем нами почти не рассматривается; сходство и различие синонимов описано в [Урысон 1997].

[14] См. об этом [Апресян 1995а: 168].

типа S_0 от глаголов в форме сов. вида (ср. *поклониться, прыгнуть, взмахнуть*)[15]. С другой стороны, их можно интерпретировать и как производные от глаголов в форме несов. вида (ср. *кланяться, прыгать, взмахивать*). В норме форма несов. вида этих глаголов указывает на повторяемость действия, а производное существительное обозначает один квант такого действия (лексическая функция S_{quant}).

Оказывается, что существительное *взгляд* в одном круге употреблений тоже выступает как S_0 (*взглянуть*) или S_{quant} (*взглядывать*). Ср. *Одного взгляда на них достаточно, чтобы понять, что это за люди* ≈ 'достаточно один раз взглянуть'. Обозначая квант действия (или совершенное действие), существительное *взгляд* обладает потенциальной способностью выступать в количественной конструкции. Ср. *Два-три его взгляда – и девушка готова на все*; ср. также *любовь с первого взгляда*. В современном русском языке этот круг употреблений существительного *взгляд* очень узок.

Однако в языке XVIII в. (а слово *взгляд* впервые фиксируется в памятниках конца XVII века) существительное *взгляд* в качестве S_0 (*взглянуть*) или S_{quant} (*взглядывать*) употреблялось гораздо свободней. Подобно обычным отглагольным существительным этого вида, оно сочеталось с полувспомогательными глаголами типа $Oper_1$: *сделать взгляд, оказать взгляд*. Ср. *Беландра, немного помолчавши, сделала принцу милостивой и приятной взгляд и говорила...*; *Нѣкоторые из тех господ... весьма презорные взгляды мнѣ оказывали* [Примеры из Картотеки древнерусского словаря ИРЯ им. В.В. Виноградова РАН]. Ср. также сохранившееся в современном русском языке сочетание *удостоить взглядом*, которое можно трактовать как $Labor_{12}$ (*взгляд*)[16].

Отглагольное существительное со значением действия, как правило, полисемично – так, оно часто развивает значение инструмента действия (S_{instr}). Ср. примеры из [Апресян 1995а: 198]: *зажим (деталей – для деталей), отвал (пластов – плуг с отвалом), поднос (блюд – для блюд), прицел (линия прицела – оптический прицел), свисток (протяжный – на паровозе)*. Инструментальное значение развивает и существительное *взгляд*: только как обозначение инструмента можно интерпретировать его в сочетаниях с глаголами манипуляции, ср. *устремить взгляд, обвести взглядом* и др. примеры выше (четкую сводку типов регулярной многозначности отглагольных существительных см. в [Апресян 1995а: 193–200]).

Попытаемся представить внутреннюю логику развития значения слова *взгляд* (подчеркнем, что речь идет именно о логике, а не о реальной истории).

Становясь обозначением инструмента, слово *взгляд* сближается с существительным *глаза*. В частности, на взгляд-инструмент переносятся характеристики смотрящих глаз; ср. *немигающий взгляд, пристальный взгляд, неподвижный взгляд, Его взгляд светился нежностью* и т.п. Такой перенос характеристик облегчается тем, что в системе языка уже имеются многочисленные определительные сочетания типа *быстрый <косой, нежный> взгляд, взгляд исподлобья* и т.п. В них существительное *взгляд* может интерпретироваться как логически исходное существительное со значением ситуации (S_0 или S_{quant}), так что все сочетание предстает как результат чисто синтаксического преобразования (связанного, правда, с заменой частей речи); ср. *быстро <нежно, косо> взглянуть → быстрый <нежный, косой> взгляд, взглянуть исподлобья → взгляд исподлобья* и т.п. (как *низко поклониться → низкий поклон,*

---

[15] Здесь и далее мы пользуемся символами лексических функций А.К. Жолковского и И.А. Мельчука (см. [Мельчук 1974]). S_0 – это производное существительное, сохраняющее лексическое значение исходного слова; ср. *принимать (граждан) – прием (граждан), разбирать (произведение) – разбор (произведения), рыхлить – рыхление* и т.д.

[16] $Labor_{12}$ – это глагол, имеющий название ситуации вторым дополнением, а названия актантов этой ситуации – подлежащим и первым дополнением; ср. *окружать кого уважением, подвергать кого/что осмотру* [Мельчук 1974: 92].

хорошо отдохнуть → хороший отдых и т.п.). Послужив почвой для образования нового типа определительных сочетаний со словом *взгляд*, подобные сочетания сами переосмысляются – в контекстах типа *устремить взгляд, смерить взглядом* они начинают интерпретироваться как обозначение инструмента смотрения.

Результатом сближения отглагольного существительного *взгляд* со словом *глаза* является расширение семантики этого существительного: *взгляд* осмысляется как производное не от *взглядывать/взглянуть*, а от глагола с более широким значением *смотреть/посмотреть*. Иными словами, *взгляд* = S_{instr} (*смотреть/посмотреть*); ср. *проводить (долгим) взглядом, устремить (задумчивый) взгляд, следить (внимательным) взглядом, остановить (тоскующий) взгляд, взгляд в упор* и т.п. – во всех этих сочетаниях речь идет не о взглядывании, а о смотрении. Лишь в некоторых контекстах *взгляд* 'инструмент' сохраняет указание на моментальность, "точечность" действия, наследуемое им от моментального *взглянуть/взглядывать*; ср. *мимолетный взгляд, бросить <метнуть> взгляд*[17].

Возможно, переосмысляются сочетания типа *взглянуть <(по)смотреть> (каким-либо) взглядом*. Эти сочетания совершенно аналогичны сочетаниям с творительным тавтологическим; ср. *улыбаться (какой-либо) улыбкой, любить (какой-либо) любовью, плакать (какими-либо) слезами, жить (какой-либо) жизнью, умереть (какой-либо) смертью* и т.п. Однако тавтологические сочетания *взглянуть <(по)смотреть> (каким-либо) взглядом* могут сближаться с несравненно более употребительными сочетаниями с творительным инструментальным; ср. *смотреть глазами, слышать ушами, идти ногами, хватать рукой, бодаться рогами, резать ножом, пилить пилой* и т.п. Форма *взглядом* в них тоже может восприниматься как творительный инструментальный.

Сближаясь со словом *глаза*, существительное *взгляд*, однако, не заимствует у него главной черты – семантики вещественности, материальности, значения части тела (органа). Отметим, что существительное *взор* в языке XVIII – начала XIX в. сблизилось со словом *глаза* в гораздо большей степени: форма множ. числа *взоры* значила тогда то же, что *глаза*. Именно так толкует ее [САР], ср. примеры оттуда: *И светлоголубые взоры / Ея всечасно слезы льют* (Г.Р. Державин); *Слепит блеск молний взоры* (И.А. Крылов). По-видимому, так же можно интерпретировать эту форму и в следующих строках: *С жадностью глотаю я благовонный воздух и устремляю взоры в синюю даль* (М.Ю. Лермонтов).

Слово *взгляд*, в отличие от своего синонима *взор*, "остановилось на полдороге": оно стало обозначать инструмент смотрения, но не сами глаза. Значение лексемы *взгляд* можно представить как результат вычитания семантики вещественности, органа из значения слова *глаза*.

С этой своего рода незавершенностью развития инструментального значения у слова *взгляд* связана и основная трудность описания его семантики. Казалось бы, слово *взгляд* в соответствующих употреблениях естественно толковать через 'инструмент'. Однако последнее слово содержит в своем значении слишком много компонентов, отсутствующих в слове *взгляд*. Действительно, инструмент – это предмет, специально созданный (или приспособленный) человеком для выполнения определенных действий, определенной работы. В значении слова *взгляд* нет ничего похожего – это существительное обозначает нечто нематериальное, ни для чего не предназначенное. Говоря, что взгляд – это инструмент смотрения, мы, очевидно, упот-

---

[17] Это – одно из отличий *взгляда* от *взора*. В современном русском языке сомнительно или неудачно ??*мимолетный взор*, ??*метнуть взор*, ??*бросить взор*. Можно думать, что существительное *взор* не способно указывать на моментальность действия потому, что образовано от глагола *взирать/воззреть*, который обозначает обычное, не "точечное" действие.

ребляем слово *инструмент* не в его нормальном смысле, а для обозначения чистой "идеи инструментальности". Как выразить эту "чистую идею" средствами семантического языка?

Очевидно, нужно вычесть из значения 'инструмент' все лишнее (предметность, предназначенность, идею работы и т.п.). Но результат такого препарирования смысла уже не будет русским словом – мы получим некий конструкт, для обозначения которого некорректно использовать русскую лексику. Предлагаем обозначить этот конструкт особым символом, подчеркивая этим, что значение 'взгляд' выразимо только словом *взгляд* и невербализуемо никакими другими средствами русского языка.

В качестве такого ярлыка, помогающего эксплицировать семантику слова *взгляд*, мы выбрали символ лексической функции S_{instr}. Значение слова *взгляд* в его инструментальном употреблении представляется тогда следующим образом: S_{instr} (*смотреть*).

Однако слово *взгляд* в очень ограниченном круге контекстов выступает не как S_{instr} (*смотреть*), а как обозначение ситуации. В лексикографической практике такие отглагольные имена действий не получают толкования в собственном смысле слова – их значение определяется через отсылку к производящему глаголу. Ср., например: "ВВЯЗКА. *Действие по знач. глаг.* ввязать – ввязывать"; "ВСКРЫВАНИЕ. *Действие по знач. глаг.* вскрывать" [МАС]. Такую отсылку в определении слова называют условным обозначением или условной формулой. В сущности, это метка семантической трансформации, преобразующей значение производящего слова в значение производного[18].

Ниже, при обсуждении метаязыка толкований, мы специально обоснуем, почему отглагольное имя ситуации не может толковаться обычным способом, почему его семантику нужно представлять с помощью особого условного обозначения. Сейчас скажем только, что в качестве такового мы выбираем символы лексических функций S_0 или S_{quant}. С помощью этих символов семантика слова *взгляд* как имени ситуации может быть представлена двумя способами: а) S_{quant} (*взглядывать*) либо б) S_0 (*взглянуть*). Мы воспользуемся первым способом. Итак, значение слова *взгляд* в том круге его употреблений, где оно обозначает имя ситуации, представляется следующим образом: S_{quant} (*взглядывать*).

По нашему мнению, *взгляд* как обозначение инструмента смотрения и *взгляд* как обозначение ситуации – это не разные лексемы, не разные значения слова *взгляд*, а всего лишь два разных круга его употреблений. Иными словами, регулярная полисемия типа "имя действия – имя инструмента действия" хотя и наметилась в слове *взгляд*, но все-таки не состоялась. Обсуждение вопроса о том, почему деление этого слова на значения как будто началось, но не дошло до конца, выходит за рамки предлагаемой работы. Приняв, что слово *взгляд* во всех рассмотренных выше контекстах – это одна и та же лексема, мы представляем его семантику следующим образом: *взгляд* = 'S_{instr} (*смотреть*) или S_{quant} (*взглядывать*)'.

Каков статус этого выражения[19]? Для ответа на этот вопрос нам потребуется небольшой экскурс в теорию семантики.

2.2. В современной семантике в качестве метаязыка толкований используется "определенным образом сокращенный и унифицированный подъязык языка-объекта, т.е. реально существующие слова и синтаксические конструкции в их обычных зна-

---

[18] Ср. объяснение такого условного обозначения в [СУш]: "*Действие* или *состояние по глаг.* (такому-то) – значит: значение слова следует составить применительно к значению указанного глагола, напр.: ВАЛЯНИЕ. *Действие по глаг.* валять" [СУш: XLIII–XLIV]. Подробнее об этой семантической трансформации см. [Урысон 1996].

[19] Заметим, что этот вопрос возникает независимо от того, считаем ли мы слово *взгляд* моносемичным или полисемичным. В последнем случае два его значения представляются с помощью тех же символов, т.е. столь же необычным образом.

чениях" [Апресян 1995д: 468]. В этом подъязыке выделяются неопределяемые, неразложимые лексемы – они участвуют в толковании других лексем, но сами не определяются ни через какие единицы языка (ср., например, *не, хотеть, время*). Такие неопределяемые единицы составляют исходный словарь метаязыка толкований. Все другие его единицы сводимы к неопределяемым, т.е. могут быть истолкованы через них. Таким образом, толкование лексемы – это языковое выражение, каждая единица которого принадлежит метаязыку толкований, т.е. либо является неопределяемой, либо сводима к неопределяемым.

Неопределяемые лексемы, к которым сводимы значения всех других единиц языка, называются семантическими примитивами. Насколько они элементарны, т.е. неразложимы на составные части? Ю.Д. Апресян [Апресян 1995д] продемонстрировал, что семантические примитивы элементарны лишь относительно. Проиллюстрируем это на одном примере Ю.Д. Апресяна.

Русский глагол *хотеть* имеет статус семантического примитива – он действительно не может быть истолкован через какие-либо лексемы русского языка. Его близкий синоним *желать*, очевидно, семантическим примитивом не является. При всем своем сходстве эти глаголы имеют и ряд различий. Глагол *хотеть*, в отличие от *желать*, наряду с "чистым желанием" (ср. *Я так хочу, чтобы лето не кончалось*), в некоторых контекстах выражает еще и идею потребности (ср. *Очень хочу спать, просто засыпаю на ходу*), идею действенной воли (ср. *Мне хочется – Хочу и буду*), идею намерения (ср. *Он уже хотел ложиться на операцию, но, к счастью, боли стали уменьшаться*). Глагол *желать* тоже не всегда выражает идею желания в чистом виде. В частности, он, в отличие от *хотеть*, может употребляться для указания на то, что желание субъекта известно другим людям и должно быть исполнено; ср. *Принцесса желала спать на самой простой кровати в доме.*

Значение *хотеть* пересекается со значением *желать* – глаголы имеют очень большую общую часть, которая и выражает идею "чистого желания". Кроме этой общей части, в значении каждого глагола имеются еще некоторые мелкие смыслы, за счет которых *хотеть* и *желать* различаются между собой. Но ни эта общая часть, ни мелкие смыслы, их различающие, не определяются через какие-либо другие русские лексемы. При этом *хотеть* не проще, чем *желать*, но и *желать* не проще, чем *хотеть*. Вообще говоря, статус семантического примитива мог бы получить любой из них. Выбор *хотеть* на роль семантического примитива определяется исключительно тем, что *хотеть* существенно употребительнее, чем *желать* и (в отличие от *желать*) совершенно нейтрален стилистически.

Тем самым, семантический примитив не обязательно является вполне простым, абсолютно неразложимым – в его значении могут выделяться какие-то составные части, но эти составные части (так же как примитив целиком) не могут быть истолкованы словами данного языка. Следовательно, элементарность, неразложимость семантического примитива относительна: она определяется "структурой лексики самого описываемого языка: лексема L считается примитивом, если в данном случае не существует других лексем L_1, L_2, ..., L_n, через которые ее можно было бы истолковать" [Апресян 1995д: 480].

Нетолкуемые смыслы, более мелкие, нежели семантический примитив, Ю.Д. Апресян назвал семантическими кварками. Разложимость семантического примитива влечет за собой важные следствия.

Во-первых, получается, что не всякую лексему можно полно и точно истолковать, пользуясь метаязыком, представляющим собой подъязык языка-объекта. Рассмотрим, например, глагол *желать*. Его, очевидно, следует толковать через семантический примитив ‘хотеть’. Однако, как мы убедились выше, ‘хотеть’, – это смысл, отличный от смысла глагола *желать*. Специфические смысловые "штрихи", различающие эти синонимы, являются семантическими кварками. Их можно описать, пользуясь разного

рода примерами, длинными объяснениями и т.п., но такое описание семантики слова *желать* не будет удовлетворять требованиям, предъявляемым к толкованию. В частности, лексические единицы, через которые будут описаны эти смысловые нюансы, окажутся существенно сложнее самой толкуемой лексемы. Толкование *желать* = = 'хотеть' неточно и неполно, но оно этим требованиям удовлетворяет. Ср. в связи с этим противопоставление толкования (дефиниции) лексемы и более свободных ее дескрипций в [Апресян 1995д]; ср. также практику, принятую в толковых синонимических словарях, прежде всего в [НОСС].

Во-вторых, из разложимости семантического примитива следует, что лексемы какого-либо естественного языка, даже если в своем языке они являются семантическими примитивами, могут оказаться непригодными для описания универсальной (cross-cultural) семантики. Действительно, в таких примитивах могут вычленяться национально-специфичные кварки. Например, англ. *want* и русск. *хотеть*, имея общую нетолкуемую семантическую часть, различаются специфическими мелкими смыслами, придающими каждому из этих слов своеобразный национальный колорит (сравнение *want* и *хотеть* см. в [Апресян 1995д]). При описании универсальной семантики такие смыслы нужно, по-видимому, игнорировать. Но это значит, что универсальная семантика должна оперировать не примитивами (лексемами) конкретного языка, а пересекающимися частями почти эквивалентных друг другу примитивов из разных естественных языков. Такие семантические единицы, очевидно, являются искусственными – это кварки, т.е. единицы, меньшие, чем примитивы. Именно такие кварки являются "подлинными семантическими примитивами" [Апресян 1995д: 481]. Следовательно, в универсальной семантике должен использоваться искусственный метаязык.

Вернемся теперь к метаязыку для описания национальной семантики. Верно ли, что он должен быть естественным? На первый взгляд, кажется, что – да: для этого метаязыка факт существования кварков не влечет никаких следствий (именно такой вывод делается в [Апресян 1995д]). Мы, однако, продемонстрируем, что некоторые русские лексемы (не являющиеся примитивами) нельзя определить, пользуясь естественным метаязыком. Более того, традиционная лексикография определяет целый класс лексем, пользуясь особыми условными обозначениями.

Рассмотрим подробнее отглагольные имена действий, толкуемые через "условную формулу"; ср. ВАЛЯНИЕ – *действие по глаг.* ВАЛЯТЬ. Такая условная формула указывает, очевидно, на то, что исходный глагол нужно подвергнуть некоему преобразованию, в результате которого и получается производное существительное. Что представляет собой это преобразование? Ответ как будто ясен: у данного слова нужно заменить часть речи. А именно, нужно заменить (некоторые) его глагольные морфологические и синтаксические свойства на морфологические и синтаксические свойства существительного. Затрагивается ли при этом и значение лексемы? На этот счет существуют два мнения.

Более традиционная лингвистика считает, что в основе частеречной принадлежности слова лежит семантика. Некоторые лингвистические школы, напротив, полагают, что частеречная принадлежность слова – это всего лишь его грамматическое обличье, отдельное от смысла слова (ср., например, [Балли 1955; Теньер 1988; Курилович 1962; Мельчук 1974]). Мы придерживаемся первой точки зрения (новые аргументы в ее пользу приведены в [Урысон 1996]). Итак, меняя у лексемы часть речи, мы отчасти меняем и ее семантику.

Обратим теперь внимание на то, что частеречная семантика входит – как составная часть – в семантические примитивы (поскольку они являются лексемами естественного языка и, следовательно, принадлежат тем или иным частям речи). Но это значит, что частеречная семантика является семантическим кварком – она мельче примитива и, очевидно, нетолкуема[20]. Действительно, такие дефиниции, как, напри-

[20] Ср. [Апресян 1995д: 482].

мер, "существительное – это часть речи, обозначающая предмет", "глагол – это часть речи, обозначающая действие", вообще говоря, неверны. Действительно, многие существительные не обозначают предметов (ср. *мысль, жизнь, весть*); не все глаголы обозначают действия (ср. *болеть, хорошеть*), и не все действия обозначаются глаголами (ср. *бег, действие*). Очевидно, что в подобных дефинициях слова "предмет" или "действие" употребляются в каком-то особом смысле. По существу, это названия кварков.

Условная формула "действие по значению глагола", через которую определяются отглагольные имена действий, указывает на то, что из значения производящего слова нужно вычесть кварк с категориальным значением глагола и заменить его на кварк с категориальным значением существительного. Однако информация о части речи "впаяна" в значение любой лексемы. Вычитая из лексического значения соответствующий кварк, мы получаем конструкт, искусственную единицу, а не нормальное слово. К этому конструкту мы добавляем другой частеречный кварк и получаем таким образом производную лексему. Можно ли ее истолковать?

Принято говорить, что категория существительного "опредмечивает" понятие, выраженное глаголом (см., например, [Пешковский 1956: 73; Виноградов 1972: 46]). Очевидно, однако, что слова "опредмечивать", "опредмечивание" и т.п. совершенно неуместны в толковании производного существительного типа *валяние* (подобно тому как в толковании существительных *человек, дерево* или *небо* неуместно слово "предмет"). Замена категориального значения части речи столь же невербализуема, нетолкуема, как само это значение. Традиционная лексикография недаром определяет подобные производные лексемы с помощью условной формулы – они не поддаются толкованию в обычном смысле слова.

На наш взгляд, однако, более последовательно обозначать эту формулу не словами естественного языка, а особым символом. Действительно, определение, сформулированное на русском языке, естественно понимать если не как обычное русское толкование, то как выражение на метаязыке толкований (а в качестве такого используется подъязык языка–объекта). Однако условная формула "действие по значению глагола" обозначает операцию над невербализуемыми единицами – кварками. Строго говоря, для обозначения этой операции нужно расширить имеющийся семантический метаязык, введя в него символы частеречных кварков. Мы предлагаем использовать для обозначения частеречной семантики символы лексических функций, в частности – символы S_0 и S_{quant} для обозначения категориального значения существительного – этим подчеркивается невербализуемость значения части речи. Преобразование, заключающееся в замене категориального значения глагола на категориальное значение существительного, мы будем записывать, используя символику, принятую в [Мельчук 1974]. Ср. *валяние* = 'S_0(*валять*)'; *прыжок* = 'S_{quant}(*прыгать*)'.

Отглагольные имена действий (а также другие так называемые синтаксические дериваты) образуют класс лексем, которые определяются с помощью искусственного логического языка. Следовательно, средствами естественного метаязыка не может быть описана не только универсальная, но и национальная семантика. Очевидно, впрочем, что лексемы, которые нельзя определить, не прибегая к искусственному метаязыку, составляют незначительную часть лексики конкретного языка. Что представляют собой такие лексемы с точки зрения семантической теории?

Очевидно, перед нами какой-то особый объект. С одной стороны, он нетолкуем, и это роднит его с кварками. С другой стороны, он, в отличие от кварка, не проще, не мельче семантического примитива. Например, существительное *валяние* обозначает столь же сложное действие, что и глагол *валять* (в самом первом приближении, *валять* = 'энергично переворачивая, перекатывать объект, находящийся на горизонтальной поверхности, обычно с целью причинить ему вред'). Ясно, что, заменяя в подобном смысле один частеречный кварк другим, мы никак не приближаемся к уровню примитивов.

Почему же лексема со столь богатым смыслом нетолкуема? Причина в необычности соединения данного смысла с несвойственным ему частеречным кварком.

Такие лексемы, которые хотя и не мельче семантического примитива, но, подобно кваркам, нетолкуемы, можно назвать "псевдокварками". Пока очевиден один класс псевдокварков – это так называемые синтаксические дериваты, в частности – отглагольные существительные типа S_0 или S_{quant}. Существуют ли псевдокварки, отличные от таких дериватов?

Для ответа на этот вопрос вернемся к нашему определению слова *взгляд*: 'S_{quant}(*взглядывать*) или S_{instr}(*смотреть*)'. Первая часть этого определения представляет собой описанный выше псевдокварк – отглагольное имя действия. Вторая часть – S_{instr}(*смотреть*) – это тоже, очевидно, псевдокварк. Действительно, данный смысл неразложим на какие-то более простые лексем, т.е. нетолкуемы. Однако он богаче семантического примитива – в частности, в него входит смысл 'смотреть'. Перед нами псевдокварк, не являющийся синтаксическим дериватом[21].

Необычность слова *взгляд* состоит в том, что оно является псевдокварком не только в том круге употреблений, где функционирует как синтаксический дериват (отглагольное имя действия), но и в том употреблении, где обозначает некий в высшей степени абстрактный инструмент. Мы полагаем, что исследование русской лексики позволит выявить и другие подобные псевдокварки – лексемы с достаточно богатым, но странным смыслом, для определения которого нужно прибегать к искусственному метаязыку.

В заключение этого теоретического экскурса заметим, что наше определение лексемы *взгляд* в той же мере неполно, в какой неполно, например, толкование *желать* = = 'хотеть'. В частности, в предлагаемом толковании никак не указывается на то, что взгляд, подобно глазам, может отражать душевное состояние человека. Подобная информация "не умещается" в толкование – ее можно подать в более свободной, нежели определение, дескрипции лексемы *взгляд*.

2.3. Инструментальное употребление слова *взгляд* предстает как закономерный продукт системы языка, как результат "игры" этой системы: у отглагольного существительного со значением S_{quant} естественно развивается употребление S_{instr}. При этом исходное употребление слова *взгляд* в качестве отглагольного имени действия оттесняется на периферию, а инструментальное значение, логически непервое, производное, становится центральным. Поддерживается ли это употребление реальными представлениями носителей языка?

Рассмотрим в связи с этим еще один, специфичный круг употреблений слова *взгляд*. Ср. *чувствовать* ⟨*заметить*⟩ *на себе чей-либо взгляд, поймать на себе чей-либо взгляд, (не) выдержать чей-либо взгляд* (ср. *Он спокойно выдержал его взгляд*), *гипнотизировать взглядом* (ср. *Удав гипнотизирует жертву взглядом*); возможно даже *Она взглядом передвигает предметы*. Казалось бы, лексему *взгляд* в этих случаях можно интерпретировать как обычное отглагольное существительное со значением ситуации, т.е. S_0 или S_{quant} от (*по*)*смотреть* (или от *взглянуть* / *взглядывать*). Ср. *Она почувствовала на себе чей-то взгляд – Она почувствовала, что на нее смотрят*. Однако такая интерпретация потребует слишком много оговорок. Действительно, актант глагола *смотреть*, ср. *смотрят → на нее*, при, казалось бы, обычной трансформации прономинализации (*смотреть – взгляд*), почему-то перевешивается на другой предикат, подчиняющий данный; ср. *почувствовала → на себе*. В других, на первый взгляд, вполне аналогичных, случаях этого не происходит. Ср. *Она чувствовала, что он на нее надеется* – допустимо, хотя и сомнительно ? *Она чувствовала его надежду на нее*, но совершенно невозможно * *Она чувствовала на себе его*

[21] Заметим, что смысл, для обозначения которого мы выбрали символ S_{instr} (т.е. препарированное значение 'инструмент'), возможно, представляет собой кварк или псевдокварк.

надежду. Вообще, *чувствовать на себе* можно только какое-то реальное воздействие, обычно – физическое.

Мы полагаем, что во всех подобных контекстах взгляд выступает как некий инструмент воздействия на другого человека (живое существо) или даже на неодушевленные объекты. Быть может, мы имеем здесь дело с метафорой, образным выражением? Это безусловно не так. Иногда человек ощущает, что на него смотрят, поэтому сочетания *(по)чувствовать на себе чей-то взгляд, поймать на себе чей-либо взгляд* описывают вполне реальное, близкое к физическому (хотя и совершенно особое) ощущение. Ср. *Он почувствовал, что на него смотрят, и обернулся*; *В пустом коридоре она почувствовала на себе чей-то взгляд, но приложила все силы, чтобы идти не оглядываясь.*

Именно такое реальное ощущение, такой (а возможно, и более широкий) реальный опыт отражается в этих выражениях. Существенно, что представление о возможном воздействии взгляда на людей и даже на предметы и сейчас является вполне живым. Ср. *Увидел огромные глаза, полные ужаса и отвращения, и в этих глазах – самого себя – и этот взгляд швырнул его назад, на лестницу, вниз* (А. и Б. Стругацкие); ср. также следующий поэтический пример с ближайшим синонимом слова *взгляд* – лексемой *взор*: *В стоге сена выглядишь иголку, / Стены размыкаешь взором злобным* (М. Петровых).

Представление о воздействии глаз, точнее – взгляда субъекта на другого человека (или живое существо) обнаруживается и в некоторых других русских словах; ср. *сглазить, сглаз*, а также устаревшее сочетание *(дурной) глаз*. Ср. *Один мужик, которого он наказал, как-то дурно посмотрел на него и сглазил* [МАС]; *Невеста в потемках сидит, мать от нее ни на шаг, – сглазу боятся, чтоб не испортили* [МАС]; *... беречь ребенка от простуды, от глаза и других враждебных обстоятельств* [МАС].

Лексемы *сглазить, сглаз* и сочетание *(дурной) глаз* отличаются от слова *взгляд*, в частности, следующим. Во-первых, они предполагают, что субъект имеет цель причинить зло тому, на кого он смотрит, т.е. он сознательно воздействует на свою "жертву". Во-вторых, предполагается, что субъект сознательно использует сверхъестественные силы. Как бы то ни было, эти лексические единицы представляют смотрение на какой-либо объект как воздействие на него.

Но воздействие часто предполагает инструмент. Обратим внимание на то, что этот инструмент обозначается словом *взгляд*, но не *глаза*. Нормально *Он почувствовал на себе чей-то взгляд*, *Она взглядом передвигает предметы*, однако плохо * *Он почувствовал на себе чьи-то глаза*, ?? *Она глазами передвигает предметы* и т.п. Можно думать, что именно в данном круге контекстов инструментальное значение слова *взгляд* поддерживается реальными представлениями носителей языка. Что же представляет собой взгляд как инструмент?

Язык не дает вполне четкого ответа на этот вопрос. Выше мы выяснили, что взгляд нематериален, невеществен. Исходя из общих, энциклопедических соображений, т.е. из соображений об устройстве мира, можно предположить, что взгляд – это особая сила, возможно – нечто похожее на свет; ср. в связи с этим сочетания *Взгляд упал* (как *Луч упал*), *бросить взгляд* (как *бросить луч света*). Однако это всего лишь "наивная энциклопедия" – никаких подобных компонентов в значении слова *взгляд* нет.

Представление о взгляде как об инструменте кажется совершенно парадоксальным – оно не соответствует ни нашим обиходным понятиям, ни научной картине мира. Ниже мы специально остановимся на этом несоответствии. Сейчас отметим другое. Взгляд – это совершенно необычный инструмент, недаром обычный носитель языка вряд ли согласится признать взгляд инструментом смотрения. Это интересным образом проявляется в поведении слова *взгляд*: с точки зрения системы перифразирования оно не похоже ни на одно обозначение "классического" инструмента (ср. *нож, топор, игла*

и т.п.). Действительно, обозначение "классического" инструмента может заполнять субъектную валентность глагола; ср. *резать ножом – Нож режет, рубить топором – Топор рубит, шить иглой – Игла шьет, лечить лазерным лучом – Лазерный луч лечит* и т.п. Однако нормально *смотреть взглядом, обвести взглядом*, но недопустимо * *Взгляд смотрит*, ?? *Взгляд обводит* и т.п. Кроме того, в случае "классического" инструмента субъектом при глаголе манипуляции может выступать обозначение части тела человека; ср. приводившиеся выше примеры *Он орудует лопатой – Его руки орудуют лопатой*; *Она привычно работает иглой – Пальцы привычно работают иглой* и т.п. Однако невозможно * *Его глаза устремили взгляд на что-л.* ⟨*обвели взглядом что-л.*⟩, хотя совершенно нормально *Он устремил взгляд на что-л.* ⟨*обвел взглядом что-л.*⟩.

Вернемся к соотношению зрения и слуха в языковой модели восприятия. Как и следовало ожидать, фрагмент, посвященный зрительному восприятию, разработан русским языком наиболее полно: зрительное восприятие предполагает обычный, материальный орган (глаза), невидимый, нематериальный орган (зрение) и особый, нематериальный инструмент (взгляд). Напомним, что невидимый орган предполагается еще и ситуацией слухового восприятия (ср. слух) и, отчасти, ситуацией восприятия запахов (ср. обоняние). А орган-инструмент участвует только в ситуации 'щупать'. Теперь ясно, почему представление о невидимом органе, благодаря которому человек видит (лексема *зрение*), развито в языке меньше, чем представление о слухе как о невидимом органе. Это компенсируется представлением об особом инструменте смотрения – взгляде. При этом глагол *смотреть*, в отличие от *слушать*, толкуется через указание на реальный орган-инструмент – глаза (а не через нематериальный орган 'зрение' или инструмент 'взгляд'). Ср. его толкование:

Смотреть на X = 'держать глаза направлеными на X, для того чтобы видеть X'[22].

3. Русская языковая модель восприятия имеет мало общего с научной картиной мира – в современном научном знании нет места представлению о каких-либо невещественных, нематериальных органах или инструментах. Правда, в одном отношении данный фрагмент языковой картины мира неожиданно сближается с научным знанием. Современное понимание зрительного и слухового восприятия базируется на представлении о сложных системах, которые особым образом преобразуют световые (звуковые) колебания и передают их в соответствующие центры головного мозга, где и возникает зрительное (слуховое) ощущение. Эти системы представляются полными аналогами тех невидимых органов, с помощью которых, с точки зрения русского языка, человек видит и слышит. Эту аналогию можно считать случайным совпадением, хотя, на наш взгляд, естественнее допустить, что представление об устройстве человека, лежащее в основе языковой модели восприятия и – шире – "наивной анатомии" [Урысон 1995], является вполне здравым и именно поэтому в ряде существенных отношений соответствует современному научному знанию. Впрочем, как несовпадение, так и частичное совпадение языковой картины мира с научной – факт в целом хорошо известный лингвистике.

Гораздо интереснее другое – русская языковая модель восприятия разительно отличается и от наших обиходных, обыденных представлений (они, кстати, весьма близки научным). Действительно, вряд ли найдется современный носитель языка, который считает, что внутри человека есть какие-то невидимые, нематериальные органы, благодаря которым он видит, и что человек смотрит, используя какой-то нематериальный инструмент. Как интерпретировать такое несоответствие языковой картины мира обиходным представлениям?

На наш взгляд, в основе русской языковой модели восприятия (в особенности – восприятия зрительного) лежат древнейшие, реликтовые представления об устройстве

---

[22] В случаях типа *Я смотрю (в темноту), но ничего не вижу* значение глагола *смотреть* несколько модифицируется; ср. 'держать глаза направленными куда-л., для того чтобы видеть, что там происходит'.

человека. Эти представления сохранились почти исключительно в народной культуре (что и подтверждает их глубокую архаичность). Так, в словаре [Слав. древности 1995] глаза толкуются как "орган зрения, при помощи которого, по народным представлениям, человек может повлиять на судьбу другого человека". Ср. также мнение Ф. Бадер: «Зрение воспринималось индоевропейцами (по крайней мере греками и индийцами) как излучение огненного света, и имена многих персонажей мифов, связанных со зрением, означают "(имеющий) сверкающий (глаз)". Это *Киклоп* (* *Cyklops* < * *keu-k-* 'сверкать, гореть; видеть'); от этой же основы, через этрусское посредство, произошло *Коклес* (*Cocles*); это и *Луг* (*Lug*), если его имя родственно корню * *leu-k-* 'сиять, светить' и *Балор* (*Balor*), если связывать его с корнем * *bhel-* 'сиять, сверкать'» [Бадер 1988: 216].

Существенно, что инструментальное значение слова *взгляд* (и его синонима *взор*) развивается в языке относительно поздно (судя по письменным памятникам – в конце XVII века). А это значит, что данная модель человека продолжала разрабатываться русским языком даже в новое время, при том, что скорее всего уже не осознавалась его носителями. По-видимому, это относится и ко всей "наивной анатомии" человека (см. [Урысон 1995]), в частности – к представлению о зрении и слухе как о невидимых органах[23].

Древнейшие представления о мире зафиксированы в фольклоре, в мифологии. Поэтому представляется перспективным сравнение языковой картины мира с фольклорной, мифологической. Описание русской языковой модели восприятия убеждает в том, что граница между языковой и фольклорной картинами мира может быть далеко не столь отчетлива, как между языковой и научной. Исследование обиходных представлений (за их совокупностью, по-видимому, можно сохранить название "наивной картины мира" – в противоположность "языковой картине") – это особая область, лишь частично находящаяся в компетенции лингвистики.

Обиходные представления о человеке меняются гораздо быстрей, нежели консервативная, инертная языковая картина мира. Это понятно – сознательное представление человека о мире формируется не столько языком, сколько повседневным опытом, а также массовым, школьным знанием (в основе которого лежит знание научное). Но это значит, что какие-то фрагменты языковой картины мира могут уже не соответствовать нашим обиходным представлениям. Из этого следует, что в процессе речевой деятельности реальные знания человека могут вступать в противоречие с языковой картиной мира.

Разрешение этого конфликта удобно моделировать как перевод. Говорящий переводит выражаемый им смысл из современной, осознаваемой им понятийной системы в другую (архаичную), навязываемую ему естественным языком. Адресат, наоборот, переводит высказывание с языка более древних понятий на язык современного обыденного знания. Ситуация аналогична переводу текста с одного языка на другой, когда языки сильно различаются своими понятийными сетками (способами концептуализации).

Носители русского языка не осознают, что выражают свои мысли на языке каких-то иных (древнейших) понятий, не соответствующих их обыденному, реальному знанию, – подобно тому, как не осознают и того, что в разговорной (некодифицированной) речи пользуются совершенно особой грамматикой, "неправильной" по сравнению с той, которой их учили в школе.

---

[23] Наши данные полностью подтверждают совершенно справедливое мнение Е.С. Яковлевой: "Можно предположить, что направление, в котором идет развитие... языковых значений, задается именно картиной мира" [Яковлева 1994: 308]. Однако нам представляется совершенно неверным окончательный вывод автора: «"Дрейф" языковых значений происходит в сторону экспликации архетипических черт нашего сознания» [Яковлева 1994: 308]. Язык действительно продолжает разрабатывать даже древнейшие "модели", однако языковая картина мира вполне автономна от наших обиходных представлений, так что некоторые ее фрагменты могут прямо противопоставляться "нашему сознанию".

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Апресян Ю.Д. 1995а – Лексическая семантика. Синонимические средства языка // Избранные труды. Т. I. М., 1995.

Апресян Ю.Д. 1995б – Дейксис в лексике и грамматике и наивная модель мира // Избранные труды. Т. II. Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995.

Апресян Ю.Д. 1995в – Образ человека по данным языка: попытка системного описания // Избранные труды. Т. II. Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995.

Апресян Ю.Д. 1995г – Глаголы моментального действия и перформативы в русском языке // Избранные труды. Т. II. Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995.

Апресян Ю.Д. 1995д – О языке толкований и семантических примитивах // Избранные труды. Т. II. Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995.

Бадер Ф. 1988 – Области индоевропейской реконструкции // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XXI. Новое в зарубежной индоевропеистике. М., 1988.

Балли Ш. 1955 – Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 1955.

БАС – Словарь современного русского литературного языка. Т. 1–17. М.; Л., 1948–1956.

Вежбицка А. 1986 – Восприятие: семантика абстрактного словаря // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVIII. Логический анализ естественного языка. М., 1986.

Виноградов В.В. 1972 – Русский язык: грамматическое учение о слове. М., 1972.

Курилович Е. 1962 – Деривация лексическая и деривация синтаксическая // Очерки по лингвистике. М., 1962.

МАС – Толковый словарь русского языка: В 4-х томах. М., 1985–1990.

Мельчук И.А. 1974 – Опыт теории лингвистических моделей "Смысл ↔ Текст". М., 1974.

НОСС – Ю.Д. Апресян, О.Ю. Богуславская, И.Б. Левонтина, Е.В. Урысон, М.Я. Гловинская, Т.В. Крылова. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Первый выпуск / Под общ. рук. акад. Ю.Д. Апресяна. М., 1997.

Пешковский А.М. 1956 – Русский синтаксис в научном освещении. М., 1956.

САР – Словарь русского языка, составленный вторым отделением Императорской Академии наук. Вып. 2. СПб., 1892.

Слав. древности 1995 – Славянские древности. Словарь. Вып. 1 / Под ред. Н.И. Толстого. М., 1995.

СУш – Толковый словарь русского языка / Под ред. Д.Н. Ушакова. Т. 1–4. М., 1935–1940.

Теньер Л. 1988 – Основы структурного синтаксиса. М., 1988.

Урысон Е.В. 1995 – Фундаментальные способности человека и наивная "анатомия" // ВЯ. 1995. № 3.

Урысон Е.В. 1996 – Синтаксическая деривация и "наивная" картина мира // ВЯ. 1996. № 4.

Урысон Е.В. 1997 – Словарная статья ВЗГЛЯД // Ю.Д. Апресян, О.Ю. Богуславская, И.Б. Левонтина, Е.В. Урысон, М.Я. Гловинская, Т.В. Крылова. Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Первый выпуск / Под общ. рук. акад. Ю.Д. Апресяна. М., 1997.

Щерба Л.В. 1974 – Опыт общей теории лексикографии // Л.В. Щерба. Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.

Яковлева Е.С. 1994 – Фрагменты русской языковой картины мира: модели пространства, времени и восприятия. М., 1994.

Wierzbicka A. 1992 – Semantic, culture, and cognition: Universal human concepts in culture-specific cofigurations. New York, 1992.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1998

© 1998 г.

В.П. КОНЕЦКАЯ

АКСИОМЫ, ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ГИПОТЕЗЫ В ЛЕКСИКОЛОГИИ

Лексикология, став по прогнозу И.А. Бодуэна де Куртене "творением XX века", приобрела необходимые признаки самостоятельной лингвистической дисциплины – определен предмет исследования, обоснованы собственные единицы и категории, сформулирована проблематика и исследован колоссальный объем конкретного лексического материала. Но лексикология не приобрела целостности, которая достигается в результате взаимодействия теории, практики и методологии. В известной мере это объясняется многообразием общелингвистических направлений, в русле которых развивалась лексикология, и различными целями исследования лексического материала в сравнительно-историческом и типологическом, структурном и функциональном планах. Частные исследования обширных пластов слов, различных классов лексических единиц, разнообразных лексико-семантических групп и семантических полей в диахронии и синхронии обнаружили специфику лексики как гетерогенной, открытой системы, развитие которой обусловлено лингвистическими и экстралингвистическими факторами. Данные смежных наук – психолингвистики, социолингвистики, этнологии, лингвострановедения и др. позволили существенно углубить проблематику лексикологии, придав ей эвристический характер.

Чем же располагает лексикология при переходе к новой научной парадигме – неофункционализму, представленному когнитивным и коммуникативным направлениями? Достижения лексикологии можно было бы оценить по скалярной схеме – в терминах аксиом, закономерностей и гипотез. В данной шкале оценок отсутствует самый жесткий параметр – закон. Это не случайно. В строгом понимании закон, устанавливаемый на основе существенных и регулярно повторяющихся зависимостей между фактами и явлениями, требует доказательства и не допускает исключений. Этим требованиям в лингвистике отвечают фонетические законы, например, законы А. Хольцмана, К. Вернера, общий закон германского словесного ударения В.М. Жирмунского [Жирмунский 1976: 283]. Некоторые типологические универсалии рассматриваются Р.О. Якобсоном как законы, в частности, законы предугадываемости (импликации) явлений, которые лежат в основе фонологической и, вероятно, морфологической структуры языков [Якобсон 1963: 99]. Якобсон признает, что частичные исключения из некоторых универсалий требуют "более гибкой формулировки соответствующих общих законов", но вместе с тем полагает, что "закон, нуждающийся в поправках, все же лучше, чем отсутствие всякого закона вообще" [Якобсон 1963: 100–101]. Рассматривая развитие количественных отношений в новых германских языках, В.М. Жирмунский подчеркивал различие между понятиями "закон" и "закономерность", полагая, что закономерности "остаются г о с п о д с т в у ю щ и м и т е н д е н ц и я м и, но не являются з а к о н а м и, которые н е т е р п я т и с к л ю ч е н и й [Жирмунский 1976: 286]. Совершенно очевидно, что для лексики эти жесткие требования практически не выполнимы в силу гетерогенности и динамичности системных, структурных и функциональных свойств слов. Поэтому применительно к лексикологии в шкале оценочных параметров более уместен термин "закономерность".

Аксиомы. В традиционном определении аксиомами признаются положения, которые, в отличие от законов, принимаются за исходные (истинные) без доказательств благодаря своей непосредственной убедительности. По своей природе лексикологические аксиомы неоднородны. Они устанавливаются: а) на базе общелингвистических постулатов; б) в результате синхронического исследования больших массивов лексики, позволяющих с достаточной степенью достоверности утверждать аксиоматичность того или иного положения (вывода); в) в результате диахронических исследований лексических микросистем, позволяющих установить их качественные и количественные изменения на длительном временно́м отрезке. В отличие от универсалий, аксиомы не претендуют на всеобщность; аксиоматичными могут быть положения, связанные с частными свойствами лексики.

На базе общелингвистических постулатов устанавливается целый ряд важнейших лексикологических аксиом.

На основе семиологической трактовки природы языка формируется аксиома о словесном знаке, которому присущи три измерения – семантика, обусловленная опосредованными связями слов и объектов, синтагматика, обусловленная отношениями слов друг к другу, и прагматика, обусловленная отношениями слов и коммуникантов. Эта аксиома позволяет обосновать теории лексической семантики, связанные с лексически релевантными функциями синтаксиса и функционально-оценочными характеристиками слов, определяемыми ситуативными факторами коммуникации – в конечном счете, позволяет представить слово в целостности.

На постулате об асимметричном дуализме языкового знака основывается аксиома об асимметрии плана содержания и плана выражения в словесном знаке. Эта асимметрия является результатом особенностей эволюции лексики и вместе с тем необходимым условием ее развития, определяемого противоречивыми тенденциями номинации – стремлением обозначающего к развитию новых функций и стремлением обозначаемого к новым формам обозначения. Эта аксиома придает разноплановым и непредсказуемым изменениям в семантической структуре слова, в его функционально-стилистической ценности, в составе лексико-семантических групп объяснительный характер.

На основе положения о двух взаимосвязанных состояниях языковых знаков – дискретности и непрерывности (континуальности) формируется аксиома об отсутствии сходства в парадигматических отношениях и синтагматических связях слов как отражение диалектического единства сущности (языковой системы) и явления (речи). В составе парадигматических рядов лексические единицы (особенно имена конкретные, названия домашних животных, термины родства и т.п.) отличаются большей дискретностью, в синтагматике благодаря многоплановым связям сочетаются слова, входящие в различные парадигматические ряды, их значения входят в различные семантические поля – возникает семантическая непрерывность. Это положение хорошо иллюстрируется во многих исследованиях, например, различием репрезентативности синонимов и омонимов в парадигматике и синтагматике. В английском языке установлено, что 60% прилагательных реализуют антонимические отношения в парадигматике и лишь 17% – в синтагматике, переходные случаи составляют 18% [Шубина 1983: 7–9, 18–19]. На материале пяти германских языков показано различие в удельном весе слов различных словообразовательных типов в словаре и тексте [Кубрякова 1966: 102–104, 107–108]. На основе данной аксиомы Д.Н. Шмелев сформулировал положение о парадигматической и синтагматической закрепленности слова как закономерность – "степень парадигматической закрепленности слова как лексико-семантической единицы находится в обратной зависимости от степени его синтагматической закрепленности" [Шмелев 1973: 190].

На постулате о тождествах и различиях как основных принципах, определяющих системные отношения языковых знаков, базируется аксиома о наличии двух типов системных отношений лексических единиц: а) в классификационном типе на основе принципа тождества семантических признаков различной степени обобщенности вы-

деляются лексикологические категории классов слов, лексико-семантических групп (ЛСГ) и словообразовательных рядов; б) в корреляционном типе на основе принципа взаимообусловленности тождественных и различительных признаков выделяются категории синонимов, паронимов, омонимов, дублетов, вариантов (в инвариантном подтипе), категории конверсивов и антонимов (в импликационном подтипе) и словообразовательные категории (в инвариантно-импликационном подтипе – в словообразовательных цепочках и гнездах). Важность данной аксиомы состоит в том, что, несмотря на различие в теоретической интерпретации типов семантических связей слов и значений (ср. [Щур 1974: 159–165; Никитин 1988: 67–68; Конецкая 1984]), выделенные на основе этих связей категории принимаются в лексикологии как исходные, позволяющие сопоставлять результаты различных исследований.

Дискуссионный постулат о произвольности языкового знака дает основание для аксиомы об ограниченной мотивированости словесных знаков. Дело в том, что не все производные и даже сложные слова, которым приписывается высокая степень мотивированности, обладают ею. Особенно это справедливо в отношении разговорной лексики, например: русск. *отгрохать, усечь*, нем. *abluchsen* "выманивать" (< *luchsen* "шнырять" < *Luchs* "рысь; хитрец, проныра"), англ. *boffo* "оглушительный", *yuppie* "преуспевающий и амбициозный молодой профессионал" (< *young people* "молодые люди").

При трактовке слова как основной единицы языка на первый план выдвигаются другие аксиомы, связанные с постулатами о функциях языка, о его уровневой структуре и др. Важно, что аксиомы, построенные на общелингвистических и методологических положениях, служат единой исходной базой для исследования лексики и, вместе с тем, не ограничивают возможности разностороннего анализа фактологического материала.

Ко второму виду аксиом относятся положения, связанные с синхроническими и сопоставительными исследованиями больших пластов слов в различных языках. Такие аксиомы приближаются к универсалиям. Рассмотрим некоторые из них.

Аксиома о функционально-стилистической дифференциации лексики. Количество выделяемых стилей и их теоретическая интерпретация различны. Но значение аксиомы заключается в самом факте функционально-стилистической дифференциации лексики как неотъемлемой ее характеристики, обеспечивающей эффективную коммуникацию.

Аксиома об эпидигматических или деривационных (в широком смысле) связях как особом типе системных отношений, присущих только лексике. Эти отношения реализуются на уровне лексем как собственно словообразование, на уровне словозначений как семантическая деривация и на уровне лексико-семантических вариантов как вариативность. Взаимообусловленность ассоциативно-смысловых и словообразовательных связей слов является "третьим измерением" лексического значения [Шмелев 1973: 199].

Аксиома о вариативности лексики по разным параметрам – фонетическому, морфологическому (формообразовательному и словообразовательному) и семантическому как непременное условие эволюции и функционирования естественного языка.

Аксиома о взаимодействии центра и периферии как принципа организации лексико-семантических групп и семантических полей. Центр группы и поля образуют единицы с меньшим количеством дифференциальных семантических признаков, к периферии относятся единицы с большим количеством дифференциальных семантических признаков. Взаимодействие центра и периферии регулируется центростремительными силами, обновляющими центр за счет периферии, и центробежными силами, пополняющими периферию. При этом могут образовываться новые смысловые центры, выходящие за пределы данной группы и поля. Различие между центром и периферией проявляется иногда в распределении омонимов. На основе исследования всего массива английских омонимов отмечено, что по мере приближения к центру словарного состава

удельный вес омонимов увеличивается. Среди первой тысячи частотных слов омонимы составляют 25%, среди первых 5 000 частотных слов – 13,3%, среди 20 000 частотных слов – всего 4,2% [Тышлер 1966: 15].

Аксиома о зависимости удельного веса омонимов от структурного типа слов – для краткосложных слов характерен большой удельный вес омонимов (см. Тышлер 1966: 15; Ульман 1970: 271; Шайкевич 1962: 18]).

Третий вид аксиом основывается на результатах диахронических исследований больших массивов лексики.

Аксиома о действии диахронических констант в развитии и изменении лексики, к которым относятся так называемое расширение и сужение значения, ухудшение и улучшение значения. Эти процессы изменения логико-понятийного и оценочного компонентов содержания слова достаточно хорошо изучены, выявлены их причины лингвистического и экстралингвистического характера; тем не менее традиционные термины сохранились со времен В. Гумбольдта, поскольку они отражают суть семантических изменений, равно как и их основные направления – радиальное, ступенчатое и смешанное развитие значений. В современной интерпретации эти направления обусловлены неоднородностью компонентов семантической структуры слова, развивающейся по линии семантической деривации и вариативности.

Аксиома о наличии двух основных способов семантической деривации – на основе метафорических ассоциаций (симиляция) и метонимических (импликация), обоснованных С. Ульманом как исторические универсалии в семантике [Ульман 1970: 274–276].

Аксиома о различном темпе изменений в составе лексико-семантических групп и в семантической структуре отдельных слов, составляющих эти группы. Исследования на материале различных языков [Fodor 1961; Cowan 1959] опровергают теорию глоттохронологии, согласно которой основной словарный фонд изменяется и обновляется с одинаковым темпом [Сводеш 1960: 53–87]. Несостоятельность этого положения подтверждается действием принципа сбалансированности устойчивых и неустойчивых элементов в любой системе – одинаковый темп изменения этих элементов привел бы к дисфункции или распаду системы.

Аксиома о борьбе противоречий как главной движущей силе развития языка основывается не только на общефилософском положении, но прежде всего на результатах фундаментальных диахронических исследований языка (см. [Расторгуева 1980]). Противоречия обусловлены тремя группами факторов, связанных с языковой ситуацией, с закономерностями развития частных микросистем и функционированием лексических единиц различных разрядов. Противоречивый процесс развития и изменения лексики проявляется в типовых тенденциях лексической динамики, обобщенных в следующих оппозициях [Ивлева 1984]: а) переход от внешних признаков к внутренним и наоборот – формальная и семантическая контаминация слов, ассимиляция заимствований, переход слов в другой лексико-грамматический рязряд; б) переход от сложного к простому и наоборот – изменения в семантической и словообразовательной структурах слова (преобразование словосочетания в сложное слово, затем в корневое слово, которое впоследствии может войти в состав нового сложного слова); в) переход от старого к новому и от нового к старому, но на другом уровне – архаизация слов, развитие неологизмов на основе архаизмов, получающих видоизмененную коннотацию; г) переход от случайного к необходимому и наоборот – образование омонимов в результате распада полисемии или контаминации форм, происходившей на фоне народной этимологии, переход окказионализмов в регулярное словоупотребление.

Самоочевидность некоторых аксиом не умаляет их значения для лексикологии. С одной стороны, они "экономят" время исследователя при аргументации истинных положений; с другой стороны, они являются потенциальным источником возникновения гипотез – новая интерпретация именно истинных положений способствует крупным открытиям.

Закономерности в лексикологии понимаются как прогнозируемые характеристики лексических единиц, поскольку проявляются при определенных условиях, часто им-

пликационного характера, и имеют тенденцию к устойчивости. Закономерности основываются на анализе конкретного лексического материала в синхроническом и диахроническом планах. По своей значимости для лексикологии они могут быть оценены как общие и частные.

Общие закономерности выводятся на основе сопоставительного анализа лексики нескольких языков или типологических исследований. В этом случае они тяготеют к универсалиям и формулируются иногда как законы.

К таким закономерностям относится вывод об обратной пропорциональности сложности морфемики и семантической структуры слова – чем сложнее словообразовательная структура лексических единиц, тем проще их семантическая структура [Головин 1983]. Для сложных слов полисемия не характерна, она присуща корневым и некоторым производным словам. Вместе с тем, для английских глаголов со сложной структурой аналитического типа характерна сложная семантическая структура, либо по типу семантической деривации – 39% (*make up, take up, set off*), либо по типу семантического варьирования – 5% (*give up, take in*), моносемантические глаголы составляют 35% [Белая 1995: 13]. Отсутствие вышеупомянутой закономерности в глаголах аналитического типа объясняется неоднородностью их деривационной истории, обусловленной разноплановыми факторами, в частности: семантическим типом исходного глагола (многозначного, широкозначного), характером исходного словозначения (прямого, переносного), степенью абстрагированности второго адвербиального компонента и др.

Закономерность о прямом соответствии между количеством значений в слове и его относительной частотностью сформулирована Дж.К. Ципфом как "принцип множественности значений" [Zipf 1945: 144]. Следует принять во внимание предостережение С. Ульмана, который, комментируя вывод и формулу Ципфа, отмечает несовершенство словарей как исходной базы, не гарантирующей четкого разграничения значений [Ульман 1970: 268]. Для обоснования этой закономерности необходимы более жесткие критерии статуса единиц семантической структуры слова, хотя бы словозначений и лексико-семантических вариантов.

Закономерность о зависимости развития лексической полисемии от типа и характера семантики слова сформулирована И.Г. Ольшанским на материале немецкого языка как импликация: "чем больше семантических компонентов включает значение данного типа словесных знаков, чем содержательнее аспект ЛЗ, тем активнее полисемические потенции слова и выше уровень его многозначности" [Ольшанский 1995: 393]. Существенный для лексикологии вывод о том, что полисемия в большей степени характерна для слов, семантика которых включает конкретные признаки объектов, свойств и действий, соотносится с данными сопоставительного исследования немецкой и французской лексики – отмечено, что в немецком языке преобладают конкретные слова с "частными" значениями, обладающие высокой степенью мотивированности [Ульман 1970: 261–262]. По сравнению с французским языком, в английском отмечается так же преобладание слов с "частными" значениями [Halliday 1966: 35].

Ряд закономерностей основан на исследовании синонимов. В качестве общего принципа синонимии С. Ульман обосновал "закон притяжения синонимов", суть которого проявляется в тенденции обозначать жизненно важные для данного коллектива реалии большим числом синонимов. Частным случаем проявления этой закономерности является "иррадиация синонимов" – тенденция синонимичных слов к аналогичному развитию семантики [Ульман 1970: 266; Гак 1977: 27]. Это подтверждается диахроническими исследованиями различных групп синонимов, особенно прилагательных – при смене синонимических доминант каждая последующая как бы повторяет частично ступени семантического развития предыдущей. Это объясняется стереотипностью смысловых ассоциаций. Комментируя "закон дистрибуции" М. Бреаля, согласно которому слова, бывшие синонимами, в процессе развития дифференцируются настолько, что перестают быть взаимозаменяемыми, С. Ульман

отмечает, что эта тенденция не имеет универсального характера [Ульман 1970: 265]. К этому можно добавить, что пути и скорость дифференциации синонимов определяются различием в ранге синонимичных значений – синонимические связи менее устойчивы между основным и второстепенным значениями слов, например, англ. *business* "дело, постоянное занятие", *deed* "поступок", *craft* "ремесло", *travail* "муки", *occupation* "занятие" и др., функционировавшие в древний и среднеанглийский периоды в качестве синонимов многозначного существительного *work* "работа" во второстепенных значениях, практические потеряли эти связи. Устойчивыми оказались синонимические отношения между словами с основным значением "работа": *work, job, labour, chore, drudgery, swink, toil, moil*, различающиеся по смысловым и стилистическим признакам.

Закономерность семантического согласования слов, которая обусловлена определенными правилами семантической комбинаторики [Никитин 1988: 43], формулируется как "закон семантического сочетания слов" [Гак 1977: 23] и как "закон избыточности связей двух любых коррелирующих в ней единиц" [Караулов 1987: 101]. Суть этой закономерности, имеющей разную интерпретацию в теории семантической комбинаторики, в теории значения и в обосновании тенденций ассоциативно-семантической сети, сводится к тому, что актуализации содержания необходимо определенное семантическое согласование сочетающихся слов; при этом должны быть соблюдены определенные условия – сочетающиеся слова должны иметь хотя бы одну общую сему, не иметь несовместимых сем и иметь специфические, различающиеся семы [Гак 1977: 23], если связь слов реальна, она не единична, не однопризнакова, она должна поддерживаться несколькими другими признаками или основаниями [Караулов 1987: 101]. Избыточность семантических связей оправдана, тем более, что эти связи могут быть обусловлены разными основаниями – классификационными, инвариантными, конвенциональными, контекстуальными и др. Возможность осмысленных сочетаний при относительной несовместимости признаков (*кричащие камни, танцующие березки* и т.п.) связана с образностью, контракцией сочетаний, мимолетными ассоциациями и не противоречит общей закономерности – исключения лишь подчеркивают норму.

Существенными для лексикологии закономерностями являются некоторые общие тенденции в развитии метафор, отмеченные С. Ульманом: а) "семантический закон" Г. Шпербера о метафорной "экспансии" – метафорические переносы по аналогии в словах определенного эмоционального "комплекса", б) распространенность метафор антропоморфического типа, в) доминирование метафор с переходом значения от конкретного к абстрактному, г) развитие синестетических метафор в направлении от признаков сферы осязания (иногда – зрительного восприятия) к признакам слухового восприятия [Ульман 1970: 276–280]. В русском языке можно наблюдать метафорические сдвиги в семантике слов, обозначающих социально значимые реалии современного общества – *челноки, боевики, (ночные) бабочки, раскрутка, крутой (бизнесмен)* и др. Помимо антропоморфических метафор во многих языках распространены зоосемические метафоры – различие заключается в оценочной коннотации – положительной и негативной. Метафорический перенос от конкретного к абстрактному с большей регулярностью проявляется в прилагательных, обозначающих размер, физические ощущения.

Ценность общих закономерностей состоит в том, что они позволяют определить тенденции в развитии лексики различных языков; эти тенденции могут быть использованы в качестве оснований для сопоставительного анализа. Частные закономерности представляют не меньшую ценность для лексикологии, так как позволяют выявить конкретные условия, в которых проявляются специфические черты отдельных лексических микросистем.

Одной из таких закономерностей является количественная соотнесенность мелиоративов и пейоративов в лексико-семантических группах. Анализ словарного состава английского языка показывает доминирование слов с положительной оценкой, осо-

бенно в разряде существительных. Это подтверждает вывод Н.Д. Арутюновой о том, что базисное положение в словаре занимают признаки позитивной оценки и что они имеют более прочные связи с дескриптивными оценками – "отрицательные смыслы образуются от положительных, а не наоборот" [Арутюнова 1988: 235]. Безусловно, словарь не отражает весь объем потенциальных пейоративов, которые могут быть легко образованы при помощи отрицательных префиксов и суффиксов.

Вместе с тем, исследования оценочных слов свидетельствуют о преобладании пейоративов в определенных лексико-семантических микросистемах, например, в ЛСГ эмоций и чувств, физических и психических свойств. Это объясняется высокой степенью экспрессивности данной лексики, но почему именно в плане негативной оценки? Показательным в этой связи является психолингвистический эксперимент с носителями русского языка на материале глагольных фразеологических единиц. Оказалось, что большее число фразеологизмов представляет негативный полюс "бесконтрольного поведения", то есть фразеологизмы чаще используются для оценки неадекватного поведения, чем для одобрения позитивного [Петренко 1988: 143]. По-видимому, и в фразеологизмах и в лексемах, ориентированных на человека как субъекта деятельности, положительная оценка осознается как норма, не нуждающаяся в особом выделении.

Исследования ЛСГ, содержащих прилагательные с положительной и негативной оценкой, показали, что последние более динамичны в своем развитии – за один и тот же отрезок времени именно пейоративные прилагательные подвергаются бóльшим видоизменениям. Исследование изменений оценочных признаков французских существительных за послевоенный период показало, что "ухудшили" свою оценочную коннотацию 150 ЛСВ – 6,9% исследуемых единиц. Лишь в небольшом числе ЛСВ – 20 единиц (0,9%) отмечено "улучшение" значения. Снижение стилистической коннотации отмечено лишь у 100 ЛСВ (4,6%), "повышение" стилистической коннотации отмечено лишь у 5 ЛСВ [Балашов 1989: 11].

На основе имеющихся данных закономерность о количественной соотнесенности мелиоративов и пейоративов можно сформулировать следующим образом – относительное преобладание слов с негативной оценкой характерно для ЛСГ, связанных с оценкой человека как субъекта деятельности.

Закономерность, которая претендует на всеобщность и формулируется К. Ажежом как закон "второго более тяжелого", основывается на наблюдениях за так называемыми дейктическими биномами типа *рано* или *поздно, там* и *сям* – второе место, как правило, занимает более долгосложное слово или слова, акустический спектр которых обладает концентрацией низких частот. Комментируя эту закономерность, Ю.Н. Караулов справедливо отмечает ее схематичность, не отражающую национальную особенность языка и его носителя [Караулов 1987: 5–6]. Акцентно-ритмические особенности английского, немецкого и шведского языков, несмотря на определенные различия, обусловливают данную закономерность в парных сочетаниях синонимов, антонимов и слов с близкими значениями, например: англ. *bright and shining, high and mighty, flat and plain, lord and master, pick and choose, from fair to middling;* нем. *Blut und Wunden, Grund und Boden, Art und Weise*: швед. *fur och flamma, fix och färdig, loss och ledig*. Во фразеологизмах русского языка наблюдается та же закономерность – *гол как сокол, (сменить) гнев на милость, (метать) громы и молнии, ни к селу ни к городу*. Вместе с тем, в двучленных сочетаниях используются и равноценные по сложности слова, например: англ. *flesh and blood, sooner or later;* русск. *день и ночь, ни пуха ни пера*. Фиксированность позиции членов сочетаний может быть обусловлена рядом причин: **а**) внутреней логикой – естественной последовательностью сопоставляемых или противопоставляемых объектов, действий, состояний – англ. *cut and dried, dead and buried, (to go) through fire and water, forgive and forget;* русск. *ни жив ни мертв, (пойти) в огонь и воду, преступление и наказание*; **б**) степенью относительной близости сопоставляемых или противопоставляемых

объектов к субъекту или их значительности – англ. *(bound) hand and foot, bread and butter, (just) skin and bones, (to play) cat and mouse*, но (*to move) heaven and earth;* нем. *zwischen Himmel und Erde;* швед (*röra upp*) *himmel och jord;* русск. (*связан*) *по рукам и ногам, хлеб с маслом, кожа да кости, (игра) в кошки – мышки,* но *между небом и землей*; **в**) традиционным словоупотреблением и рифмой – англ. *by leaps and bounds, by hook or by crook*, русск. *ни свет ни заря, шито – крыто*; **г**) акцентно-ритмическими особенностями парных сочетаний, при отсутствии вышеназванных причин. Таким образом, отмеченная закономерность не имеет всеобщего характера и проявляется избирательно в зависимости от различных факторов, которые в разных языках могут совпадать (чаще **а** и **б**) и не совпадать (**в** и **г**).

В качестве частной закономерности в английском языке отмечается обусловленность регулярности взаимосвязей членов синонимико-антонимических групп их частеречным статусом. В существительных и глаголах лишь один из синонимов соотносится с антонимом, в прилагательных обычно два синонима образуют антонимические пары, в наречиях один член синонимического ряда может иметь два и более антонима. В группах существительных количество синонимов превышает количество антонимов в 2,2 раза, в группах глаголов – почти в 2 раза, в группах прилагательных – в 1,5 раза и в группах наречий – в 1,2 раза [Маргарян 1988: 15–17].

Исследование вариативности в немецком языке обнаружило тенденцию к неравномерному ее проявлению и различной обусловленности в разных частях речи. У существительных вариативность выражена сильнее, что объясняется тенденцией к номинализации, активными процессами заимствования, а также влиянием терминологических региональных особенностей. В вариативности глаголов и прилагательных значительную роль играют остаточные формы и их взаимодействие с более поздними формами [Ивлева 1984: 21].

Следует подчеркнуть, что многие из частных лексических закономерностей так или иначе связаны с особенностями частей речи. Анализ и обобщение этих закономерностей позволили бы обосновать гипотезу о доминирующей роли функциональной дифференциации лексико-грамматических разрядов слов, определяющей во многом их лексические и лексико-семантические характеристики.

Гипотеза понимается как научное предположение, содержащее объяснение свойств определенных фактов, на основе которого строится теория. Являясь важнейшей ступенью научного знания, гипотеза проходит сложный путь, прежде чем стать теорией или аксиомой. Разные гипотезы находятся на разных этапах верификации; это следует учитывать при исследовании лексики. К верифицированной со знаком "плюс" можно отнести гипотезу о нежестких, вероятностных закономерностях лексических явлений. К верифицированным со знаком "минус" следует отнести гипотезу об обновлении основного словарного фонда с одинаковым темпом, лежащую в основе глоттохронологической теории. В том и другом случае основным критерием верификации служит соответствие данных исследований конкретного материала выдвигаемым общефилософским и/или методологическим положением теории.

Имеются различные типологии гипотез (см. [Постовалова 1980: 8–9, 62; Селиверстова 1996: 263–264]). Проецируя эти типологии на лексический материал, представляется целесообразным исходить из одного принципа – источника обоснования гипотезы: 1) новый эмпирический материал, которй, по каким-либо причинам, ранее не исследовался; 2) новая теоретическая интерпретация уже известных фактов или фундаментальных положений; 3) факты и данные из других наук, использование которых оправдано принципом изоморфизма.

Среди гипотез первого вида существенными для лексикологии являются те, в которых дается объяснение обусловленности функциональных и семантических свойств слов их частеречной принадлежностью. Так, в исследовании динамики лексических значений основного терминологического слоя М.В. Марчук обосновывает гипотезу о том, что "в многоязычном терминологическом словаре лексическая мно-

гозначность термина должна уменьшаться пропорционально числу языков, принимающих участие в терминологическом словаре" [Марчук 1996: 53]. Одним из результатов многофакторного корреляционного анализа большого по объему материала является вывод о неодинаковой динамике лексических значений в терминологических словах различных лексико-грамматических разрядов и объяснение этой закономерности. Наибольшее число изменений (появление новых и уход старых значений) характерно для существительного – появление новых значений объясняется номинацией "как средством развития". Новые значения прилагательных, даже с высокой частотностью, проявляются в меньшей степени, их появление обусловлено лексической сочетаемостью, новые значения в глаголах появляются главным образом в результате сочетаемости [Там же: 37].

Есть основания полагать, что отмеченная взаимозависимость действует не только в терминологической лексике, но и в других функционально-стилистических стратах слов. Так, среди коллоквиальных неологизмов немецкого языка существительные составляют 67,3%, глаголы – 10,3%, прилагательные – 6,7%, другие части речи – 0,6%, фразеологизмы – 15,1% [Демин 1981: 16].

Данные выводы хорошо согласуются с выявленными тенденциями частеречной дифференциации слов английского языка в плане их семантического типа – существительные тяготеют к полисемии (в результате активных процессов семантической деривации), прилагательные – к лексико-семантическому варьированию (в результате широкой сочетаемости), в семантической структуре глаголов полисемия и варьирование уравновешены [Кудреватых 1996: 42]. Таким образом, проявление дифференциации лексико-грамматических разрядов слов обусловлено их функциональной природой и типом их семантической структуры.

Определенная зависимость между денотативным и сигнификативным аспектами лексической семантики и синтаксической позиции слова, обоснованная Ю.С. Степановым, имеет существенное значение для исследования лексики в коммуникативной функции. Отмечено, что в естественных языках денотатные имена тяготеют к позиции субъекта высказывания, а сигнификативные имена – к позиции предиката [Степанов 1977: 331].

На основе психолингвистического эксперимента Г.С. Щур предложил гипотезу о трехчастной классификации лексических ассоциаций как более обобщенной, опирающейся не только на экспериментальные данные, но и на их теоретическое осмысление других фактов языка [Щур 1971: 147–150]. При исследовании системных отношений лексики эта гипотеза позволяет учесть и вместе с тем дифференцировать основные типы ассоциативных групп слов – онтологические (парадигматические и синтагматические), эмпирические, отражающие объективный опыт индивидуумов, обусловленный экстралингвистическими факторами, и чисто психологические, обусловленные индивидуальными или "случайными" ассоциациями.

В связи с гипотезой об обратной зависимости между степенью широкозначности, полисемии слов и объемом словаря привлекает внимание вывод В.Г. Гака, который в результате типологического анализа французского и русского языков отмечает, что благодаря широкозначности, полисемии, большому удельному весу десемантизированных элементов и другим особенностям французских слов создаются условия для "парадигматической экономии" – французский словарь меньше по объему, чем словарный состав других развитых языков [Гак 1989: 260]. По-видимому, для обоснования данного положения, вытекающего из сопоставительного анализа, требуется предварительная унификация в определении семантических компонентов слов и их семантических типов в разных языках.

Несомненный интерес для лексикологии представляет гипотеза о соотносительной скорости изменения формы и содержания слов. Многие исследователи склонны думать, что форма меняется быстрее, чем содержание. Так, М.В. Арапов полагает, что процесс изменения означающих происходит на фоне сохранения означаемых, которые изменяются медленнее. Доводом в пользу данной гипотезы автор считает положение о

том, что "даже в различных языках слова с близким смыслом имеют близкий статус" [Арапов 1988: 104]. Учитывая гетерогенность лексической системы, думается, что данный вывод имеет относительный характер – диахронические исследования свидетельствуют о том, что в разных лексико-семантических группах скорость изменения формы и содержания слов может быть разной и определяется многими факторами. Следует также предварительно определить критерии абсолютного и относительного изменения формы и содержания, что является непростой задачей.

Ряд гипотез второго вида, связанных с новой интерпретацией традиционных или дискуссионных положений, имеет непосредственное отношение к лексикологическим проблемам.

Обоснование А. Вежбицкой гипотезы об "алфавите человеческой мысли" – существовании своеобразного "ментального языка" [Wierzbicka 1980] получило большой резонанс в лингвистическом мире. Но остается дискуссионным вопрос о достаточности предложенных "семантических примитивов" – минимума знаков, на основе которых могут быть перефразированы все предложения. Об этом свидетельствует варьирование количества "семантических примитивов" – от 13 до 15 единиц [Там же: 10 и 37]. Но сам подход к фундаментальной проблеме – возможности типизации человеческой мысли в терминах естественного языка привлекателен своей экономичностью и возможностью верификации. Это открывает также перспективу для изучения лексических прототипов коммуникации.

Подход Б.М. Гаспарова к языку, при котором на первый план выступает бесконечный и нерасчлененный поток языковых действий, позволил обосновать гипотезу о свойствах языковой памяти, согласно которой первичной единицей владения языком является "коммуникативный фрагмент" (КФ). "Это целостный отрезок речи, который говорящий способен непосредственно воспроизвести в качестве готового целого в процессе своей речевой деятельности и который он непосредственно опознает как целое в высказываниях, поступающих к нему извне" [Гаспаров 1996: 118]. Именно КФ, а не слова «представляют собой частицы языкового материала, который в совокупности составляет базовый "лексикон" языковой памяти» [Там же: 126]. Хотя границы КФ остаются неопределенными, для лексикологии такой подход представляет несомненный интерес в плане изучения слова в коммуникативной функции. Особенно вывод о взаимозависимости контекста и элементарной единицы "сознательной языковой деятельности". По мнению Б.М. Гаспарова, в отличие от слова, значение которого конкретизируется контекстом, КФ сам направляет и фокусирует контекст [Там же: 133]. Такой подход позволяет, хотя бы в гносеологическом аспекте, обосновать механизм перехода слова из языковой системы в речевую актуализацию.

Рассматривая комбинаторику в качестве основного принципа организации всех языковых единиц – формы их существования, эволюции и взаимодействия, М.М. Маковский обосновывает ряд положениий этой гипотезы, связанных с видами отношений языковых единиц, с их причинно-следственными связями, вариативностью, соотношением лингвистического времени и языковой структуры [Маковский 1988]. Для синхронического и диахронического исследования лексики существенными представляются: 1) положение об обратном отношении качественных и количественных характеристик лексических и сематических единиц, которое наблюдается в их синтагматических, парадигматических и иерархических связях [Там же: 9]; 2) обоснование механизма выхода слов и значений из языка и появления новых слов и значений в результате взаимного наложения "запретов" со стороны словоформ и со стороны комбинаторного варианта значения [Там же: 10]; 3) вывод о том, что "чем большим последовательным сменам подвергался показатель стабильности на протяжении развития языка, тем менее длительность его действия в данном языковом континууме" и наоборот [Там же: 121].

Возвращаясь к проблеме соотнесенности центра и периферии, целесообразно упомянуть гипотезу Й. Вахека о существовании в языке двух противоположных тенденций – стремления периферийных элементов к интеграции в систему и стремления к

антиинтеграции. Существенным для лексикологии в данной гипотезе является обоснование факторов, определяющих эти тенденции. Они имеют функциональный характер – связаны не столько с собственно языковыми (структурными) признаками слов, сколько с их эмотивной функцией, сигнализирующей о субъективном, личностном подходе говорящего к реалиям действительности. К числу экстралингвистических факторов, не допускающих интегрирование некоторых элементов в систему, относятся политические, экономические, культурологические и даже физиологические [Vachek 1966: 33–35].

Одним из принципиальных вопросов в исследовании лексики является семантическая типология слов как отражение их семантической структуры. Различие в обосновании семантических типов слов объясняется неоднозначным пониманием компонентов, составляющих семантическую структуру и функционирующих в качестве двусторонних единиц номинации, в частности, словозначений и лексико-семантических вариантов, которые, кстати, часто взаимозаменяются. Между тем, их природа и функционирование имеют существенные различия. Для словозначений, как двусторонних единиц номинации, характерны: отношения семантической деривации, сопровождаемой семантическим сдвигом, актуализация собственных категорий, определяющих валентность, автосемантизм. Для ЛСВ, как двусторонних единиц номинации, характерны: отсутствие семантической деривации, семантическая непрерывность, актуализация несобственных категорий, обусловленная сочетаемостью, синсемантизм. Словозначения характеризуют полисемию, ЛСВ – вариативность слова. Кроме того, имеются синкретичные единицы номинации – синкреты, способные актуализировать одновременно два или более семантических признаков, например, признаки физического и психического состояния субъекта и т.п. Различие в онтологических и функциональных свойствах составляющих семантическую структуру слова позволяет обосновать его семантическую типологию. На основе комплекса критериев – эпидигматического, функционального и семантического (категориальный, интегральный и дифференциальный уровни) выделяются пять основных семантических типов и один смешанный (подробнее см. [Конецкая 1993]). Данная семантическая типология слов дает возможность для сопоставительного исследования структурно-семантических и функциональных аспектов лексики на новой основе.

Гипотезы третьего вида, основанные на принципе изоморфизма, занимают особое место в лингвистике. Они дают возможность проверки выдвинутых ранее положений и позволяют обосновать нестандартный подход к решению проблемы, которое может содержать элемент новизны или даже опровергнуть фундаментальный научный тезис. Обоснование новых гипотез на стыке разных наук поощрялось многими учеными. Известно, что эвристическую ценность гипотез, причем построенных на данных по возможности отдаленных друг от друга областей, подчеркивали А. Эйнштейн и Л.Д. Ландау; на возможность использования понятий механики при объяснении языковых явлений указывали Фр. Бопп и Бодуэн де Куртенэ. Наличие ярких аналогий в развитии науки о языке и различии между классической и квантовой механикой отмечал Р.О. Якобсон [Якобсон 1963: 101–102]. Категоричное высказывание Ньютона hypotheses non fingo ("гипотез не измышляю") следует понимать в том смысле, что гипотезы не выдумываются, а обосновываются на базе фактов изоморфности глобальных принципов всего функционирующего, живого.

Сложность реализации такого подхода заключается в определении границ изоморфности свойств и функций сопоставляемых объектов или их совокупностей, в риске исказить онтологическую сущность исследуемого объекта. Как показал опыт натуралистического направления в языкознании (А. Шлейхер и др.), интерпретация языковых явлений и закономерностей "по образу и подобию" других наук, построенная лишь на внешних признаках, является непродуктивной. В применении к лексикологии отмеченная сложность усугубляется спецификой лексического материала, проявляющейся в микросистемах и трудно поддающейся обобщению.

Попытки обоснования такого подхода к языковым явлениям связаны, главным

образом, с закономерностями, наблюдаемыми в живой природе, а также с экспериментальными и теоретическими достижениями физики. Это объясняется пониманием языка как целостного развивающегося организма, структура и функция которого обусловлены не только лингвистическими факторами, но и экстралингвистическими, а также материализацией его элементов во времени и пространстве.

Рассматривая проблему изоморфизма между генетическими и лингвистическими кодами, М.М. Маковский, с опорой на генетическую теорию Г. Менделя и положения теории относительности, обосновывает новую концепцию диалектики языковой эволюции в плане "внутренней" и "внешней" семиотики [Маковский 1992]. Внутренние механизмы и закономерности преобразований в языке объясняются через понятие языкового гена и генетической цепи в языке. Внешние показатели преобразований связаны с генетической сущностью детерминативов, преформативов, инфиксов. С этих позиций на базе большого лексического материала индоевропейских языков автор по новому интерпретирует механизм изменчивости и вариативности отдельных элементов языка, соотношение означаемого и означающего в слове, формулирует генетические законы [Там же: 94–95].

В диахронических исследованиях лексики отмечаются различные направления в ее развитии, в том числе "по спирали". Этот процесс обозрим на уровне некоторых лексических микросистем и слов, которые в своем развитии успели совершить несколько "витков", зафиксированных в письменных источниках. Для регистрации нескольких качественных видоизменений в языке как сложной системе необходимо более длительное время. Это согласуется с физическим законом, согласно которому скорость меняется тем медленнее, чем больше масса [Фейнман 1968: 3]. Можно высказать предположение, что между развитием лексических единиц "по спирали" и структурой их семантических компонентов существует определенная связь. Это получает подтверждение на примере спиралевидной структуры молекулы ДНК как природного соединения в ядрах клеток живых организмов (кстати, спиралевидная структура представлена и на макроуровне – она характерна для нашей Галактики). Для молекулы ДНК структура с двойной спиралью сплетенных друг с другом цепей, построенных из большого числа "монолитов" четырех типов, оказалась наиболее оптимальной в плане реализации существенных функций – хранения генетической информации, программирования синтеза белков, обеспечения генов устойчивостью и способностью к самовоспроизведению.

Кумулятивной способностью – накоплением смысловой информации обладают семы – элементарные семантические единицы. Взаимодействуя друг с другом, они обеспечивают актуализацию смысла – "синтезируют" его из множества семантических признаков, способствуют устойчивости семантического инварианта слова как генетического прототипа и развитию новых вариантов. В семасиологии разработано несколько типологий сем, но не изучена их структура, поскольку они считаются элементарными неразложимыми единицами семантики. Если новые методы позволят проникнуть в строение сем и, выделив субэлементарные семантические элементы через функциональные признаки, установить их оптимальную структуру, то это прояснит механизм, обеспечивающий актуализацию смысла и развитие "по спирали". Не исключено, что эти субэлементарные семантические элементы имеют сверхсегментную природу подобно просодическим элементам и материализуются лишь функционально в процессе коммуникации.

При обращении к физическим закономерностям следует учитывать различие между "слабыми" и "сильными" взаимодействиями элементов, которые физики связывают с особенностями макромира и микромира. В отличие от слабых взаимодействий, сильные взаимодействия плохо поддаются наблюдениям и расчленению. В языке слабые взаимодействия лексических единиц характерны для парадигматики, сильные взаимодействия проявляются в синтагматике. Физика макромира располагает общими законами; некоторые из них представляют интерес для исследования языковых явлений. Физики установили теоретически и доказали экспериментально своего рода

"запрещающие" законы или принципы (предельная скорость света, влияние трения). В лингвистике так же имеются определенные "запреты" (см. [Маковский: 10]). Так, категории "неодушевленность" и "постоянное состояние" релевантны для определения семантических ограничений в сочетаемости слов – нельзя сказать *Шум испугал мой стул* или *Он был высоким каждую ночь* (см. [Чейф 1975: 104]).

Согласно общему принципу относительности движения тело, на которое не действует никакая внешняя сила, может находиться не только в состоянии покоя, но и в состоянии прямолинейного равномерного движения. В физике это положение называется законом инерции [Ландау, Румер 1965: 23]. Наблюдая за развитием и видоизменениями лексических микросистем и их элементов, можно убедиться, что этот принцип справедлив преимущественно для слов, находящихся на периферии словарного состава, поскольку они в меньшей мере подвергаются "внешней силе" – действию экстралингвистических факторов. В том случае, когда язык испытывает сильное воздействие извне, например, в периоды большого наплыва заимствований, происходит сбой в прямолинейном равномерном развитии лексики – видоизменяется не только объем и состав микросистем, но и строение синонимических рядов, их доминант, изменяются смысловые и стилистические коннотации слов и т.п.

Одним из дискуссионных вопросов является соотнесенность таких качеств языковой системы как ее стабильность и объем. И. Фодор сформулировал закон, согласно которому число элементов системы обратно пропорционально ее стабильности – чем меньше элементов в системе, тем она стабильнее, чем больше система, тем она лабильнее [Fodor 1965], ср. другое мнение [Маковский 1988: 117]. Физический закон гласит, что любая работа, проведенная над телом, всякое увеличение энергии тела увеличивает его массу [Фейнман 1968: 77; Ландау, Румер: 70]. Хотя коэффициент пропорциональности между изменением массы и изменением энергии ничтожен, все-таки подобную зависимость можно обнаружить на уровне лексических единиц. Активное использование некоторых слов происходит импульсами, что обусловлено в основном экстралингвистическими факторами (появлением новых реалий, изменением социально значимой оценки прежних реалий, изменением языковой ситуации и т.п.). Это приводит к тому, что семантическая "масса" этих слов увеличивается – появляются новые словозначения и лексико-семантические варианты, расширяется сочетаемость слов. Это характерно для оценочных прилагательных, а также существительных и глаголов, обозначающих новые реалии окружающей действительности. С законом И. Фодора можно согласиться, если сделать допущение, что бóльшая система благодаря значительному числу элементов располагает бóльшими возможностями видоизменения, а малая система ограничена в своих возможностях. Из истории индоевропейских языков известно, что супплетивные словообразовательные микросистемы оказались весьма устойчивыми благодаря своей ограниченности – они включают специализированные названия родственников, титулов, домашних животных, различающихся по признаку пола.

Лексический материал благодаря своей специфичности в большей степени согласуется с физическими явлениями микромира, в котором элементарные частицы подчиняются другим законам. Вероятность как принципиальный подход к природным явлениям в квантовой механике [Фейнман 1968: 53] соотносится с лингвистической гипотезой о вероятностном характере лексических закономерностей.

Физика элементарных частиц считается физикой высоких энергий вследствие сильных взаимодействий этих частиц, включающих субэлементарные частицы – кварки, которые невозможно выделить. Имеются два предположения, объясняющие этот феномен – либо масса кварков настолько велика, что энергия ускорителей не способна их расчленить, либо величина сильного взаимодействия возрастает с увеличением расстояния между кварками. Последнее объяснение кажется парадоксальным, но есть большое искушение указать на аналогичную зависимость в языковых единицах, называемых фразеологическими сращениями. В отличие от других типов фразеологизмов, в сращениях компонентами являются лексические единицы, между кото-

рыми большое "семантическое расстояние", то есть очень слабая смысловая связь или полное ее отсутствие, например: *чертова дюжина, тоска зеленая, дать дуба.* Вместе с тем, именно сращения составляют устойчивое единство, не допускающее замену компонентов.

Дискуссионная проблема о разграничении значения и словоупотребления имеет принципиальную важность для лексикологии и лексикографии. Имеются различные точки зрения по этому вопросу, но он до сих пор остается открытым. Как следует, например, определить статус смыслового компонента прилагательного в сочетании "крутая электроника"? Это значение "сверхсложный, первоклассный" или это всего лишь окказиональное словоупотребление, "мерцающий" лексико-семантический вариант, возникший по аналогии с другими вариантами данного прилагательного, активно употребляемого с положительной коннотацией? Или это одновременно и значение и словоупотребление? Эта двойственность языковых единиц была подмечена М.И. Стеблин-Каменским при рассмотрении проблемы фонемы. Он писал: "не случайно физики не могли обнаружить эту структуру, не смотря на самую совершенную технику и самую строгую и единую теорию, а лингвисты не могут дать вразумительного определения того, из чего состоит эта структура" [Стеблин-Каменский 1974: 114]. Фонемы не наблюдаемы непосредственно, они "представляют собой не физическую, а только функциональную реальность" [Там же]. В семантике слова есть такие элементарные компоненты, которые не выделимы как структурные единицы и идентифицируются лишь по своей функции. Эта двойственность смыслового компонента – функции находят подтверждение в физике микромира, где имеется понятие "частица–волна". Первоосновы материи представлены как частицы со свойством волн или волны со свойством частиц. На этом уровне разница между веществом и его проявлением стирается [Данин 1961: 217]. В развивающемся языке подобные случаи неизбежны. Значение как сематическая единица формируется постепенно за счет активного словоупотребления в определенной функции, которая стремится перейти от статуса функционального словоупотребления к статусу значения. Этот процесс обусловлен двумя взаимосвязанными свойствами слова – валентностью как его потенцией и сочетаемостью как его реализацией в речи.

Сложной проблемой в лексикологии является понимание соотнесенности семантического поля и его элементов. Существует несколько теорий семантического поля, но вопрос о "первичности" или доминировании факторов, формирующих поле, остается дискуссионным. В специальном исследовании микрополя "простота–сложность" на материале английского языка отмечается закономерность – "семантическое расстояние между членами микрополя тем меньше, а связь между словами тем больше, чем больше у них общих семантических компонентов" [Фролова 1984: 7]. Последнее условие существенно для понимания отмеченной выше обратной пропорциональности "массы" (количества семантических компонентов) субэлементарных частиц и семантического расстояния между ними. На основе выделенных семантических оппозиций делается вывод о том, что строение поля зависит от типов корреляции его членов. Наиболее сильный тип связи (непосредственный) отмечается в нулевом и привативном типах [Там же: 9–10]. Этот вывод согласуется с положением квантовой теории поля, которое утверждает, что "первичность" физических объектов по отношению к их взаимодействию не имеет абсолютного характера, "ибо здесь средства взаимодействия могут стать на место самостоятельных объектов, а средствами взаимодействия выступят первоначальные объекты" [Марков 1960: 173]. Это положение хорошо согласуется с упомянутыми выше физическими свойствами "частиц–волн" и их лингвистическими коррелятами – "значением–словоупотреблением".

Итак, каждая ступень познания – аксиомы, закономерности и гипотезы дополняют друг друга и с разной степенью глубины освещают лексикологические проблемы, которые находятся на разной стадии разработки. В данной статье затронуты лишь некоторые вопросы лексикологической проблематики. Недостаточно отражен ее наиболее сложный, функциональный аспект – ком-

муникативный, заслуживающий обстоятельной монографии. Безусловно, наблюдения, выводы и результаты частных исследований лексики могут быть по достоинству оценены лишь с позиций единой теории слова. Судя по дискуссионному характеру проблем, они связаны преимущественно с функциональной стороной лексики. По-видимому, одной из первоочередных задач лексикологии является обоснование функциональной теории слова на расширенной основе, с привлечением не только устоявшихся аксиом, но также убедительных закономерностей и новых гипотез.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Арапов М.В. 1988 – Квантитативная лингвистика. М., 1988.

Арутюнова Н.Д. 1988 – Типы языковых значений. М., 1988.

Балашов А.В. 1989 – Семантическая эволюция в современном французском языке за послевоенный период (на материале имени существительного): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1989.

Белая Г.Э. 1995 – Структурно-семантические и функциональные характеристики глагольных аналитических лексем в современном английском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1995.

Гак В.Г. 1977 – Сопоставительная лексикология. М., 1977.

Гак В.Г. 1989 – Сравнительная типология французского и русского языков. М., 1989.

Гаспаров Б.М. 1996 – Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования // Новое литературное обозрение. М., 1996.

Головин В.А. 1983 – Семантические особенности и сочетаемость прилагательных, выражающих понятие материального состояния в английском, немецком и шведском языках: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1983.

Данин Д.С. 1961 – Неизбежность странного мира. М., 1961.

Демин В.И. 1981 – Коллоквиальные неологизмы современного немецкого языка: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1981.

Жирмунский В.М. 1976 – Общие тенденции фонетического развития германских языков // Общее и германское языкознание. Л., 1976.

Ивлева Г.Г. 1984 – Вариантность слова и тенденции развития словарного состава в немецком языке: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 1984.

Караулов Ю.Н. 1987 – Русский язык и языковая личность. М., 1987.

Конецкая В.П. 1984 – О системности лексики // ВЯ. 1984. № 1.

Конецкая В.П. 1993 – Семантические типы слов (на материале английского языка) // ВЯ. 1993. № 6.

Кубрякова Е.С. 1966 – О путях изучения типологических особенностей языка в области словообразования (на материале современных германских языков) // Структурно-типологическое описание современных германских языков. М., 1966.

Кудреватых Л.П. 1996 – Семиологические основания семантических типов слов в современном английском языке: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 1996.

Ландау Л.Д., Румер Ю.Б. 1965 – Что такое теория относительности. М., 1975.

Маковский М.М. 1988 – Лингвистическая комбинаторика. М., 1988.

Маковский М.М. 1992 – Лингвистическая генетика. М., 1992.

Маргарян С.А. 1988 – Синонимия и антонимия в современном английском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1988.

Марков М.А. 1960 – О современной форме атомизма // ВФ. 1960. № 3.

Марчук М.В. 1996 – Динамика лексических значений многозначности слов: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 1996.

Никитин М.В. 1988 – Основы лингвистической теории значения. М., 1988.

Ольшанский И.Г. 1995 – О новых тенденциях в области семантических исследований // Лингвистика на исходе XX века: итоги и перспективы. Тезисы международной конференции. Т. II. М., 1995.

Петренко В.Ф. 1988 – Психосемантика сознания. М., 1988.

Постовалова В.И. 1980 – Гипотезы как форма научного знания // Гипотеза в современной лингвистике. М., 1980.

Расторгуева Т.А. 1980 – Варьирование и исторические изменения морфологической системы английского языка: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 1980.

Сводеш М. 1960 – К вопросу о повышении точности в лексико-статистическом датировании // Новое в лингвистике. I. М., 1960.

Селиверстова О.Н. 1980 – Некоторые типы семантических гипотез и их верификация // Гипотеза в современной лингвистике. М., 1980.

Стеблин-Каменский М.И. 1974 – Фонема–пучок РП? // Спорное в языкознании. Л., 1974.

Степанов Ю.С. 1977 – Номинация, семантика, семиология (виды семантических определений в современной лексикологии) // Номинация. Ч. I. М., 1977.

Тышлер И.С. 1966 – О проблемах омонимии в английском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1966.

Ульманн С. 1970 – Семантические универсалии // Новое в лингвистике. V. М., 1970.

Фейнман Р. 1968 – Характер физических законов. М., 1968.

Фролова Т.В. 1984 – Семантическая сочетаемость имен "простоты–сложности" и их системность (на материале современного английского языка): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Одесса, 1984.

Чейф У.Л. 1975 – Значение и структура языка. М., 1975.

Шайкевич А.Я. 1962 – Источники лексической омонимии в германских языках: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1962.

Шмелев Д.Н. 1973 – Проблемы семантического анализа лексики. М., 1973.

Шубина О.И. 1983 – Антонимические отношения прилагательных в современном английском языке: Автореф. дис. ... канд. филол. наук. Л., 1983.

Щур Г.С. 1971 – О типах лексических ассоциаций в языке // Семантическая структура слова. М., 1971.

Щур Г.С. 1974 – Теория поля в лингвистике. М., 1974.

*Якобсон Р.*1963 – Типологические исследования и их вклад в сравнительно-историческое языкознание // Новое в лингвистике. III. М., 1963.

Gowan H.K.J. 1959 – A note on statistical methods in comparative linguistics // Lingua. 1959. V. 8. № 3.

Fodor I. 1961 – The validity of glottochronology on the basis of the Slavonic languages // Studia Slavica. T. VII. Fasc. 4. 1961.

Fodor I. 1965. – The rate of linguistic Change. Limit of application of mathematical methods in linguistics. The Hague, 1965.

Halliday M.A.K. 1966 – General linguistics and its application to language teaching // A. McIntosh, M.A.K. Halliday. Patterns of language (Papers on general, descriptive and applied linguistics). London, 1966.

Vachek J. 1966 – On the integration of the peripheral elements into the system of language // TLP. 2. Prague, 1966.

Wierzbicka A. 1980 – Lingua mentalis. The semantics of natural language. Sydney; New York; London, 1980.

Zipf G.K. 1945 – The repetition of words. Time-perspective and semantic balance // The journal of general psychology. XXXII, 1945.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1998

© 1998 г. Ф. ХУНДСНУРШЕР

ОСНОВЫ, РАЗВИТИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ АНАЛИЗА ДИАЛОГА

1. ТЕРМИНОЛОГИЯ И НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ

При анализе диалога можно рассмотреть несколько различных аспектов и подходов, для которых имеются и различные наименования: анализ [теория дискурса; анализ разговора; конверсационный анализ; анализ (речевого) взаимодействия; теория коммуникации; грамматика диалога и др].

Можно выделить четыре главных дисциплины, в первую очередь занимающихся исследованием связанной речи: 1. этнометодология; 2. социальная психология; 3. литературоведение; 4. языкознание [Atkinson, Heritage (Ed.) 1984; Bergmann 1981; Coulthard 1992; Dascal 1992; Franke 1990; Fritz 1982; 1994; Fritz, Hundsnurscher 1994; Hundsnurscher 1976; 1980; 1986; 1991; 1994; 1995; Marten-Cleef 1991; Weigand 1976; Weingarten 1976].

В соответствии с разными интересами выработались и различные методологии:

1. Для характеристики социальных связей и иерархических отношений, бытующих в примитивных обществах, в ***этнометодологии*** рассматриваются ритуалы разговора в качестве центральной категории культуры. Главные исследуемые проблемы: Что является поводом для речевого общения людей? Какие формы при этом играют роль? Как распределяется право на реплику? В какой последовательности и в каком объеме используют это право общающиеся стороны? и т.п.

2. ***Социальная психология*** базируется на этнометодологии и использует аналогичные категории анализа, однако исследует не культурную жизнь и социальную организацию примитивных народов, а социальные установки в малых группах современных обществ, т.е. в семье, с узком кругу людей, в школе, на вечеринке, среди молодежи, в доме престарелых и т.д. Многие лингвисты участвуют в таком исследовании и характеризуют его как "анализ речевого взаимодействия". Общая направленность исследования – эмпирико-описательная, т.е. предпочтение отдается количественным критериям: количеству и формам речевого обмена репликами, длительности реплики, речевой ситуации. Главным структурным элементом является речевой вклад одного говорящего (turn), а в фокусе внимания находится регулирование обмена репликами. С точки зрения анализа диалога при этом подходе многое уязвимо, главное – неясность понятия "правило", недостаточное внимание к существенности содержания и целей беседы и тот факт, что интерпретация диалога слишком привязана к линейной смене реплик.

3. ***Литературоведение*** занимается текстами, преимущественно литературными. Поскольку коммуникативное отношение между автором (поэтом, писателем) и читательской аудиторией очень привязано к времени и конкретно, понятие дискурса в этой дисциплине трактуется очень своеобразно: "дискурс" означает, в различных концепциях, духовное взаимодействие по поводу определенных взглядов во времени (например, дискурс по поводу оправданности чего-либо, свободы, природы); литература с этой точки зрения – объемлющий полифонический обмен мыслями по поводу различных аспектов некоторой темы, лежащий в основе многосторонних интертекстуальных отношений. Центральными диалогическими формами текста в узком смысле поэтому считаются литературный диалог и тексты драматических произведений.

4. ***Языкознание*** занимается прежде всего описанием того, какими бывают связи в рамках разговора; при этом исследователи опираются на аутентичные диалоги. Иначе говоря, задача языкознания – эксплицировать то, как описываются беседы, что должно быть включено в такое описание – это ***описательная*** сторона; кроме того, оно занимается и объяснением, т.е. ***эксплицированием*** того, что составляет разговор, в результате чего устанавливаются связи между различными "вкладами" в беседу со стороны разных коммуникантов. Речь идет о том, чтобы применить и как-то адаптировать принципы обычного лингвистического исследования (скажем, в синтаксисе) к исследованию связей в рамках разговора.

Помимо этих четырех центральных дисциплин можно отметить еще и ***философский*** и ***риторический*** аспекты; однако следует иметь в виду, что язык в рамках этих двух последних дисциплин берется в довольно узком аспекте: в ***философии*** речь идет прежде всего о проблеме радикальной критики языка ("идеальный язык") и о некоторых проблемах констатации положений вещей ("истинные предложения") и логического вывода (логика); в центре внимания находится познающий субъект в его отношении к миру, а не достижение межличностного взаимопонимания в обыденном мире.

В ***риторике*** же, на фоне античной греко-римской традиции, занимаются публичной импровизацией речи в народном собрании (политическая речь), в суде (судебная речь) и при празднествах (торжественная речь). Здесь также главным предметом рассмотрения является монолог одного говорящего, а не коммуникативный обмен между несколькими говорящими. Конечно, философия и риторика должны всегда учитываться в теории и практике, однако они не указывают непосредственно методологического направления в научном исследовании разговора.

2. МЕТОДОЛОГИЯ

В основу общей стратегии языковедческого исследования (методологии) можно положить трехступенчатую модель Н. Хомского [Chomsky 1966]. Каждое научное исследование языка должно учитывать три уровня адекватности:

1. Уровень ***адекватности наблюдения*** (observatory adequacy), т.е. принятие во внимание существенных фактов конкретной области исследования;

2. уровень ***адекватности описания*** (descriptive adequacy), т.е. полный и систематичный охват фактов и представление их во внутренних взаимодействиях. Полнота, систематичность и правильное отражение связей возможны только на основе некоторой теории соответствующего предмета; без теории не бывает и адекватного описания;

3. уровень ***адекватности объяснения*** (explanatory adequacy), т.е. совместимость результатов описания с общими условиями и системами фактов относительно мира и человеческой природы, иначе говоря, выяснение вопросов типа: Как должна быть устроена когнитивная природа человека, ведущего беседу? Как приобретается способность вести беседу? Каково соотношение между различными видами беседы и другими формами практической деятельности? и т.п.

За всю историю человечества накоплено много идей по поводу языкового общения и его механики, сделано много важных и полезных наблюдений, впрочем, скорее в форме афоризмов, чем системы. Каждый человек, основываясь на своем собственном опыте, мог бы много к этому добавить и сам. Собирание и систематизация таких наблюдений могли бы привести к созданию интересной картины установок и практик коммуникативного поведения людей в конкретное время в различных ситуациях и в конкретных условиях. И в языкознании можно также констатировать, что мы охватили еще далеко не все факты и системы фактов, например, сколько существует видов беседы, чем они различаются, в чем заключаются их конституирующие признаки и т.п. А самое главное: факты разного рода охватываются далеко не равномерно, в основном только в частных аспектах, например, консультации, переговоры,

планирование, переубеждение, диалоги в торговле, наставления, споры. Сбор и транскрипция аутентичных бесед различной природы в наше время остается попрежнему весьма актуальным. Хотя для лингвиста должно быть естественным рассматривать процессы коммуникации в их непосредственном окружении, есть еще много исследователей, легкомысленно относящихся к сложности структур языкового общения и неспособных провести адекватный анализ, поскольку стандартное лингвистическое образование не дает для этого никакой поддержки: лингвистов не учат тому, на что следует обратить внимание в анализе беседы, как люди ведут беседу элегантным, приятным и действенным образом, как различаются виды беседы, как оцениваются ход и результаты беседы и т.п.

Однако нет никакого сомнения в том, что главной областью языковедческого исследования является описание и объяснение системы языкового общения. Поскольку же невозможно описание, в основе которого не лежит какая-нибудь теория, и невозможно объяснение вне рамок некоторой теории, необходимо прежде всего выявить, какие из существующих теорий речевого общения имеют наибольшую объяснительную силу. Лучшей теорией будет та, которая учитывает по возможности все наблюденные факты и как можно больше результатов предшествующего исследования речевой коммуникации в рамках целостной концепции. Для этой цели особенно подходят теории языкового действия, которые мы находим у Виттгенштейна (L. Wittgenstein), Остина (J.L. Austin) и Сёрля (J.R. Searle). Л. Виттгенштейн [Wittgenstein 1976] первым указал на правильный путь: он считал говорение человека участием в различных связанных между собой играх. По Виттгенштейну, имеется бесконечное количество языковых игр различной степени сложности – простые игры и очень сложные игры. Употребление языка зависит от вида игры. Дж.Л. Остин [Austin 1962] обратил внимание на различные аспекты языковой деятельности и выделил разные интегральные составные части речевого акта – локутивную, иллокутивную и перлокутивную составляющие речевого акта. На основе своего лексикологического исследования он предложил типологию языковых действий. Дж.Р. Сёрль [Searle 1969; 1992] описал типы и основные правила иллокутивного (под)акта.

Выражаясь словами Виттгенштейна, имеются игры, в которые можно играть одному, и такие, которые предполагают несколько участников. Сёрль же описал и исследовал главным образом короткие одиночные игры (монологическую речь), на основе чего развил ***теорию речевых актов.*** Однако для исследования беседы более оправданно основываться на языковых играх диалогической, а не монологической природы: различие между теорией речевых актов и анализом диалога можно охарактеризовать так: ***действовать в одиночестве*** (отдельно взятый говорящий) vs. ***действовать совместно*** (два и большее количество участников). В теннисе каждый играет за себя и даже может тренироваться один, сама же игра предполагает активно играющего противника, а каждый удар подчиняется правилам "удара, предполагаемого противника". То же верно и при ведении беседы – деятельности, ориентированной на партнера и обладающей по своей природе диалогической структурой. ***Монологическая теория речевых актов*** должна быть дополнена ***диалогической теорией речевого общения***: ведь мы добиваемся того, что нас понимают, не посредством отдельных речевых актов, а в результате последовательности взаимосоотнесенных речевых актов в рамках целостной беседы.

Речь осуществляется в различнейших ситуативных взаимосвязях, иногда в рамках регулируемого обмена репликами между двумя говорящими, иногда в одностороннем порядке, иногда в "мешанине" многоголосия собеседников. Чтобы выявить основные диалогические структуры, составляющие подоплеку беседы, было бы разумно исходить из некоторой, пусть и простой, модели, отражающей все существенные факторы беседы, а потом постепенно расширять эту простую модель, так чтобы она могла описывать и объяснять все формы беседы, встречаемые в реальной коммуникативной практике [Ehlich (Ed.) 1994; Goffmann 1981; Graffe 1990; Habermas 1981;

Henne, Rehbock 1982; Hindelang 1978; 1983; Hundsnurscher, Franke (Hrsg.) 1985; Kallmeyer, Schiitze 1976; Keller 1997; Kohl 1985; 1992; Kohl, Kranz 1992; Kallmeyer, Schiitze 1976; Levinson 1983; Rahm (Hrsg.) 1992; Rolf 1993; Sieveke (Hrsg.) 1995; Sudnow (Ed.) 1972].

3. МИНИМАЛЬНЫЕ ДИАЛОГИ

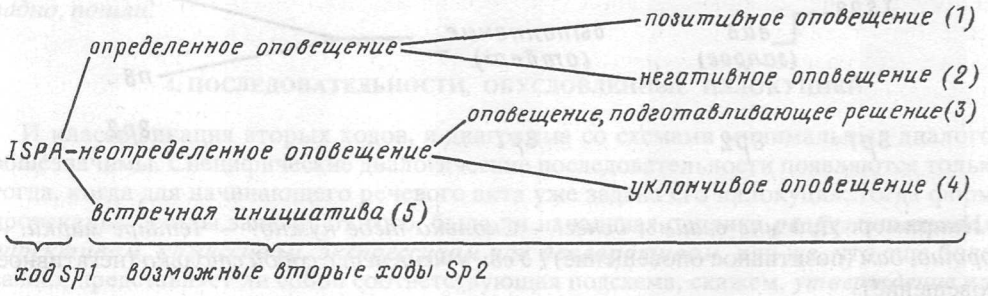
Именно такую простую модель и представляет собой теория правильно оформленного минимального диалога. Минимальный диалог охватывает по меньшей мере два взаимосвязанных речевых акта двух говорящих (Sp1 и Sp2); центральный вопрос затрагивает отношение между речевыми актами и говорящими. Отношение речевых актов друг к другу характеризуется как ***когерентность*** (связность, Kohärenz), отношение между говорящими – как ***коммуникативная связь*** (kommunikative Beziehung). Два речевых акта, непосредственно следующие друг за другом, могут быть когерентными или некогерентными. Когерентны они, если между ними имеется разумная соотнесенность, а некогерентны, если такой разумной соотнесенности между ними нет. Когерентность является предпосылкой для понимания; переспросы часто служат выяснению проблем когерентности в общении, для того чтобы распознать коммуникативную нить (kommunikativen Zusammenhang) сказанного. Например:

Sp1: Куда нам сегодня пойти на обед?

Sp2: Малиновка в Германии представлена тремя разновидностями.

Типовой реакцией Sp1 на такую некогерентность было бы: *Как это понимать?, Что это значит?, Что-то не пойму, к чему ты это.*

Чтобы функционировало языковое взаимопонимание, между речевыми актами должна существовать разумная связь. Как же эксплицировать эту связь? Мы исходим из того, что связь между речевыми актами имеет конвенциональную природу, т.е. для обоих коммуникантов вытекает из общей коммуникативной нити. Ходы, ожидаемые в ответ на инициативный, или начинающий речевой акт (ISPA, initialer Sprechakt) могут быть расклассифицированы следующим образом:



Эта классификация основана на главном предположении, что речевая деятельность, как и всякая деятельность, регулируется интересами; поскольку же это "совместная деятельность", при анализе необходимо принимать во внимание интересы как Sp1, так и Sp2. С помощью инициативного речевого акта (ISPA) Sp1 выражает интерес своего действия (т.е. свою коммуникативную цель), а именно, в связи с иллокуцией ISPA (т.е. с характеристикой действия, лежащего за первым ходом). В качестве ISPA выступают утверждения, побуждения (Aufforderung), оповещения о действии, выражения чувств. Выбор формы для ответной реакции соответствует текущему набору интересов у Sp2, а именно, сигнализирует о некотором речевом акте-реакции (о "реактивном речевом акте", reaktiver Sprechakt, ReSPA) в качестве:

– ***позитивного оповещения*** (positiver Bescheid, pB) о соответствии интересов – Sp1 и Sp2 (Sp2 согласен)

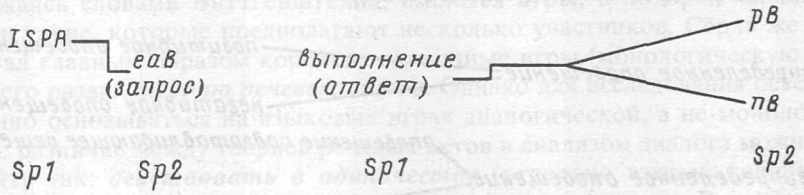
– ***негативного оповещения*** (negativer Bescheid, nB) – о противоположности интересов Sp1 и Sp2 (Sp2 не согласен).

Оповещение, подготавливающее решение (entscheidungsvorbereitender Bescheid), ставит констатацию Sp2 в зависимость от последующей информации (Sp2 запрашивает о чем-то); с помощью же ***уклончивого оповещания*** Sp2 пытается избежать недвусмысленной констатации, поскольку ни согласие, ни отклонение не входят в его интересы (Sp2 уклоняется от ответа); в результате же ***встречноинициативного хода*** (gegeninitiativer Zug) Sp2 дает понять, что интересы его действий обладают совершенно иной направленностью, что он хотел бы "делать" собственную игру. В свою очередь, каждая такая форма реакции со стороны Sp2 открывает для Sp1 соответствующие дальнейшие формы реакции (возможности встречного хода, Gegenzugsmöglichkeiten). И здесь при реконструкции последовательности речевых ходов следует учитывать конвенциональные, т.е. ожидаемые, формы:

– при ***позитивном оповещении*** со стороны Sp2 цель действия Sp1 достигнута; у него больше нет никакого повода для приложения дальнейшего коммуникативного усилия, однако ожидается, что Sp1 в свою очередь выразит опознаваемую реакцию на позитивную реакцию со стороны Sp2 – т.н. вознаграждение (Honorierung) – например, в случае побуждения, на которое отвечено согласием, таким "вознаграждением" является выражение удовлетворения или благодарности. Ср.: *Ты принесешь мне почтовые марки? – Да. – Спасибо.*

– при ***негативном оповещении*** со стороны Sp2 цель Sp1 не достигнута – он или она получает отказ. Для продолжения последовательности действий у Sp1 есть две главных возможности: либо отказаться от первоначальной своей цели действия, т.е. ***отречение от цели*** (Resignieren), либо же не отказываться от нее, т.е. ***настояние*** (Insistieren).

– при ***отсроченном оповещении*** (aufschiebender Bescheid, eaB) со стороны Sp2, Sp1 приходится сначала выполнить пожелания об информации со стороны Sp2 и только затем получить позитивное или негативное оповещение; в этом случае последовательность выглядит как петля (Schleife):



Например: *Дай мне взаймы денег! – Сколько тебе нужно? – Четыре марки. – Хорошо, дам* (позитивное оповещение) / *Увы, у меня нет с собой столько* (негативное оповещение).

– При ***уклончивом оповещении*** (entscheidungsvermeidender Bescheid) все зависит от того, учтет ли Sp1 сигнал от Sp2 не принимать пока никакого решения. Если целью действия Sp1 являлось ясное позитивное оповещение, он будет настаивать на таком решении, это случай настояния. Например: *Пойдем купаться? – Еще не знаю. – Так да или нет? Я хочу сейчас знать.*

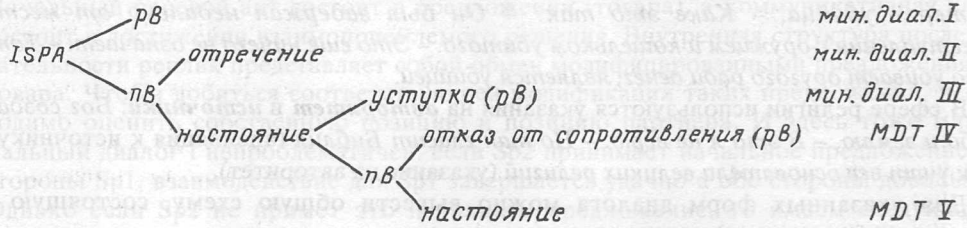
– В случае ***встречной инициативы*** со стороны Sp2 у Sp1 есть все возможности для второго хода – он тоже может принять или отвергнуть предложение Sp2, например: *Пойдем купаться? – Лучше давай готовиться к экзамену.*

Наиболее интересный и частый случай для формирования последовательности реплик в диалоге – тот, когда Sp1, вопреки негативному оповещению со стороны Sp2, на втором ходу пытается и дальше достичь цели своего действия. Это случай ***настояния.*** На основе набора альтернатив действия при настоянии можно получить

классификацию минимальных правильнооформленных схем диалога:

I ISPA — pB #
II ISPA — nB – ОТРЕЧЕНИЕ #
III ISPA — nB – НАСТОЯНИЕ – УСТУПКА #
IV ISPA — nB – НАСТОЯНИЕ – nB – ОТКАЗ ОТ СОПРОТИВЛЕНИЯ #
V ISPA — nB – НАСТОЯНИЕ – nB – НАСТОЯНИЕ ∞
Sp1 Sp2 Sp1 Sp2 Sp1

В случае отрицательного оповещения со стороны Sp2, когда Sp1 явно не сдается, мы имеем дело с открытой структурой. В большинстве социальных систем имеются границы приемлемости, для допустимого количества актов настояния Sp1 в последовательности действий; раньше или позже Sp1 наталкивается на явно выраженные механизмы блокировки. (*Ну хватит, не хочу больше об этом и слышать!*) Классификация правильнооформленных минимальных диалогов может быть представлена в виде следующей схемы:



Отметим, что каждую из последовательностей действий можно вывести из этой схемы путем подстановки в позицию второго хода, так чтобы образовалась петля.

Например: *Пойдем купаться? – Нет. – Ну пожалуйста, не будь занудой.* (НАСТОЯНИЕ) – *Куда ты хочешь пойти?* (ЗАПРОС) – *На озеро Клейнхессело. – Ну ладно, пошли.*

4. ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ, ОБУСЛОВЛЕННЫЕ ИЛЛОКУЦИЕЙ

И классификация вторых ходов, и диаграмма со схемами минимальных диалогов общезначимы. Специфические диалогические последовательности появляются только тогда, когда для начинающего речевого акта уже задана его иллокуция: тогда форма протекания беседы зависит от того, была ли начальная реплика ***репрезентативом, директивом, комиссивом, экспрессивом*** или ***декларативом,*** или же, что еще более важно, представляет ли собой соответствующая подсхема, скажем, ***утверждение*** или ***констатацию, просьбу*** или ***приказ, извещение о будущем действии*** или ***обещание,*** о ***радостном*** и о ***грустном,*** о ***решении*** или о ***суждении*** и т.п.

Учитывая, что каждая из глобальных иллокуций по Сёрлю имеет примерно тридцать подсхем реализации, мы должны заключить, что имеется очень много схем диалога, обусловленных иллокуцией, из которых только малая часть лингвистически охарактеризована и исследована.

Далее остановимся на трех видах анализа: аргументации; дисциплинировании; торге.

У ***аргументации*** ISPA состоит в утверждении (утверждаемый тезис). Коммуникативная цель утверждения состоит в том, чтобы Sp2 также признал утверждение как истинное и с ним поэтому согласился.

Минимальный тип I при позитивном оповещении, т.е. когда Sp2 сразу же соглашается, протекает беспроблемно: *Борис Беккер проиграл в Уимблдоне. – Да, верно.*

Негативное оповещение – когда утверждение оспоривается или вызывает сомнения. Как убедить кого-либо в истинности высказывания? По-разному, в зависимости от затронутой сферы жизни – в обыденной жизни, в науке, в суде, в вопросах религии и т.д.

Если в истинности высказывания ***сомневаются,*** Sp1 должен, если ему хочется, чтобы Sp2 согласился, привести хорошие доводы в пользу своего высказывания; а хорошие доводы – те, которые Sp2 примет в качестве подтверждения правильности. Это происходит в обыденной жизни в результате указания на ***вещественное доказательство*** (очевидность, Evidenz) или на ***опыт*** (Erfahrung): *Вчера ночью шел дождь. – Да не может быть. – Ну вот же, трава мокрая* (вещественное доказательство) *Я вчера поздно ночью шел домой и промок до нитки* (указание на личный опыт).

В науке этого же добиваются ***указанием на факты и закономерности***: *Магнит притягивает железо. – Ни за что не поверю. – Хорошо. Вот кусок железа. Если я его сейчас поднесу к магниту, его притянет. – Ну да. – Ведь магнетизм возникает при взаимном напряжении поля ионов. – Да.*

Аналогично в юриспруденции, когда указывают на правовые предопределения: *Петер – убийца. – Каке это так? – Он был задержан недалеко от места преступления с оружием и кошельком убитого. – Это еще ничего не означает. – Тот, кто убивает другого ради денег, является убийцей.*

В сфере религии используются указания на ***авторитет*** и ***источники***: *Бог создал небо и землю. – В это я не верю. – Но так гласит Библия* (апелляция к источнику). *Так учат все основатели великих религий* (указание на авторитет).

Для указанных форм диалога можно вывести общую схему, состоящую в развернутом виде из девяти шагов:

ISPA утверждение Sp1	–	выражается сомнение Sp2	–	приводятся факты Sp1
сомнение в доказательности Sp2	–	представление фактов как подтверждения правила Sp1	–	правила ставятся под сомнение Sp2
экспликация общего правила Sp1	–	указываются исключения Sp2	–	подтверждение уверенность в тезисе (возможно, с модификациями) Sp1

Дисциплинирование состоит в том, чтобы заставить кого-либо строго следовать побуждениям или исполнить принятые на себя обязательства. И в этом случае проблем с правильным протеканием диалога не возникает, если оповещение позитивно: *Сделай это. – Хорошо, сделаю. – Вот и хорошо.*

Проблемы начинаются, если оповещение со стороны Sp2 отрицательно. Как сделать так, чтобы тот, кто не хочет выполнять требуемое от него, все-таки это сделал? С помощью ISPA выражается желание Sp1, а коммуникативная цель побуждения состоит в том, чтобы Sp2 подчинился этому пожеланию и выполнил его; задача Sp1, желающего выполнения его воли, состоит в том, чтобы привести обоснования действия для Sp2. Хорошими обоснованиями для действия являются те, которые дают мотивацию для действия Sp2. В общем случае можно выделить четыре категории для обоснования действия:

1. Демонстрация власти (угроза санкций)

2. Апеллирование к предпочтительности (предлагается вознаграждение)
3. Указание на компетентность в чем-либо (на способность нечто сделать)
4. Осознание необходимости (указание на неотлагательность действия).

Если же Sp2 все-таки не хочет совершать требуемого действия, Sp1 может использовать при необходимости букет из всех четырех категорий, например:

– *Убери свою комнату.* – *Не хочу.*

– *Если твоя комната сегодня вечером не будет безукоризненно убрана, в выходные ты будешь сидеть под домашним арестом.*

– *Будь хорошим мальчиком. Если ты хорошенько уберешь комнату, получишь добавку к десерту.*

– *До полудня еще полчаса, а тебе все равно нечего делать.*

– *Порядок – важная вещь, у тебя же ничего нельзя сразу найти, а когда найдешь, бывает уже поздно. Этому хаосу нужно положить конец.*

Успех подобного дисциплинирования зависит от того, в состоянии ли Sp1 правильно оценить, чтó для Sp2 обычно бывает достаточно веским основанием для действия.

Торг (Aushandeln, англ. bargaining)

Торг состоит в урегулировании соотношения между двумя версиями цены. Начальный речевой акт состоит в предложении (товара), а коммуникативная цель состоит в достижении взаимоприемлемого решения. Внутренняя структура последовательности реплик представляет собой обмен модифицированными предложениями товара. Чтобы добиться соответствующей модификации таких предложений, необходимо оценить собственную позицию и позицию партнера. И здесь тоже минимальный диалог I непроблематичен: если Sp2 принимает начальное предложение со стороны Sp1, взаимодействие для Sp1 завершается удачно и обе стороны довольны. Однако если Sp2 не примет это начальное предложение, то имеем следующую структуру:

ISPA (начальное предложение): *Я заплачу тебе 100 марок за этот бинокль.* – (Наценка + контрпредложение) – *Этот бинокль с цейссовским стеклом; он стоит как минимум 300 марок.*

(Уценка + контрпредложение) *Но бинокль уже старый и подержанный. Он стоит самое большое 150 марок.* – (Контрпредложение + дополнительные достоинства) – *За 200 марок я отдам в придачу еще футляр и ремень.*

(Принятие предложения) *Ладно. Вот 200 марок.*

5. СЛОЖНЫЕ ДИАЛОГИ

Среди схем диалогических последовательностей, которые обусловлены иллокуцией и где доминирует Sp1, можно выделить такие правильно оформленные схемы, когда в результате достигается цель коммуникативного действия Sp1, а каждый из вкладов в разговор в том или ином отношении помогает достижению цели (это аспект связности).

Сложные диалоги состоят из нескольких схем последовательностей, обусловленных иллокуцией, поскольку достижение коммуникативных целей, стоящих перед ними, возможно не прямолинейно, а лишь поэтапно. Такие взаимосвязи можно продемонстрировать на четырех образцах анализа: 1. планирующий разговор; 2. консультация; 3. переубеждение; 4. купля-продажа.

1. Коммуникативная цель ***планирующего разговора*** состоит в нахождении некоторой общей идеи, схемы совместных действий (gemeinsames Handlungskonzept). Для выполнения же такой совместной схемы из общего множества выбираются альтернативные допустимые действия и составляется план, для приведения же этих действий в жизнь устанавливается исходная проблема, которую-то и необходимо решить в результате разговора. Для обычного планирующего разговора выявляются четыре промежуточные последовательности, из которых составляется общая схема:

(Мотивационная последовательность) – Установление проблемы – Развитие альтернатив действий – Оценка и выбор плана – Переговоры о кооперированности действий

В рамках смены реплик, называемой ***установление проблемы***, выясняется прежде всего, о плане для решения какой проблемы идет речь. Проблемы бывают простые и сложные, например:

– В погребе есть мыши. Как от них избавиться?

– У нас улетела канарейка, что делать?

– Неожиданно, как снег на голову, свалились гости, чем их угощать?

– Нам срочно нужно отдохнуть, где провести отпуск?

– Требования к языкознанию изменились, как нам реорганизовать наш институт?

Иногда условия планирующих переговоров бывают такими, что один собеседник, пока еще не понимающий, насколько важна проблема, должен быть введен в курс планирования; ему нужно сначала разъяснить, что решение этой проблемы касается и его, а потому он тоже должен принять участие в переговорах. Если условия именно таковы, необходимо введение предварительной ***мотивационной последовательности реплик***.

На этапе "***развитие альтернатив действий***" происходит мозговой штурм – предлагаются варианты решения для конкретной проблемы. Например: *В погребе есть мыши. Как от них избавиться?* В результате мозгового штурма могут быть получены, скажем, такие варианты решения:

A. Давайте расставим мышеловки.

B. Давайте достанем кошку.

C. Давайте вызовем крысолова.

D. Давайте везде рассыплем крысиный яд.

E. Давайте пришлепывать мышей мухоловкой из-за угла.

F. Давайте развесим в погребе картины с кошками.

G. Давайте переедем в другую квартиру.

В случае нескольких предложений исследуется их относительная пригодность и выбирается такое ***решение о действиях***, которое кажется наиболее подходящим. Этот выбор осуществляется на основе определенных критериев оценки:

1. Общие условия пригодности (разумно ли вообще такое предложение, т.е. можно ли так решить проблему?)

2. Условия компетентности (*Сможем ли мы это сделать?*)

3. Условие оправданности (*По нашим ли средствам взять на себя такие расходы?*)

4. Условия предпочтения (*А нам это действительно надо?*)

С помощью этих критериев отказываются от отдельных предложений; обычно остается одна или две возможности, пригодные, реализуемые, оправданные и предпочтительные. (Это результат рассмотрения поступивших предложений.)

Затем переговоры переходят к конкретным ***мерам*** и конкретным ***инструкциям о действиях***, например: *Завтра ты поезжай в город и купи две мышеловки. Я расставлю мышеловки, а Петер поможет. Ильза будет каждое утро смотреть, не попалась ли мышь, и будет отдавать пойманных мышей соседской кошке. – Или просто будем выбрасывать мышей в ведро с пищевыми отходами.*

2. ***Консультация*** (советование) обладает определенным сходством со взаимодействием по поводу планирования; в решении проблемы заинтересован прежде всего советующийся, в меньшей мере – советующий: *У меня трудности. Посоветуйте, что делать.*

Конкретная проблемная ситуация: *Мы с другом хотим съехаться, а наши родители против.*

И в этом случае советующему тоже нужно сначала составить по возможности ясное представление об обстоятельствах, прежде чем дать совет о том, какова, по

его мнению, наилучшая возможность действий для советующегося (*На вашем месте я бы...*). Советующийся рассмотрит пригодность совета и после этого сам решает, что делать.

Итак, в обоих случаях общая тема – "решение проблемы"; однако при планировании предпочтение затрагивает обе стороны, а при консультации – одну.

3. ***Переубеждение*** обладает в общем случае трехфазной структурой: с помощью наведения на мысль (Vorstellungen) и доводов увести кого-то от одного образа мыслей к другому, от одних привычных действий к другим.

Типичный случай – религиозное переубеждение:

Фаза 1. Расшатывание привычной картины мира (Weltbild)

Фаза 2. Сообщение об иной, новой картине мира

Фаза 3. Закрепление новой формы жизни (Lebensform).

Конкретные фазы реализуются с помощью соответствующих диалогических смен реплик.

Каждая религия (мировоззрение) обладает тремя содержательными компонентами:

1. В ней есть теория возникновения и устройства космоса (например, *Господь – создатель мира и человека; а ты веришь не в того Бога*).

2. Из этих космогонических представлений выводятся определенные жизненные принципы (мораль). (Например: *Поскольку все мы – твари господни, нам надо жить по заповедям господним – твоя же жизнь до сих пор была неправильной.*)

3. Новая форма жизни наполняет человека радостью и уверенностью; человек убежденно подчиняет свою жизнь новым принципам. (*Если ты обратишься в вере своей к нашему Богу и будешь жить по заповедям его, жизнь твоя будет вечной.*)

Соответственно, при переубеждении приходится разрушать старые формы жизни, обещать лучшую жизнь, чтобы вдохновить на новую форму жизни.

Вот еще несколько нерелигиозных примеров:

– обратить кого-либо в некурильщика,

– обратить кого-либо в вегетарианца,

– из сторонника коммунизма сделать сторонником рыночной экономики.

4. ***Купля-продажа***

Переговоры по поводу купли-продажи являются сложным взаимодействием; с лингвистической точки зрения в них можно выделить несколько функциональных фаз, связь которых (их когерентность) производна от главной цели – достичь взаимоприемлемого обмена "Товар – деньги". Начальная фаза ***выяснение потребностей***; по возможности глубоко изучается пожелание покупателя; сам покупатель может иметь об этом более или менее ясное представление; но ему нужна помощь и продавца.

Пример (в ювелирной лавке): *Добрый день. Чем могу служить? – Я хотел бы сделать подарок к дню рождения одной даме средних лет. Что можно было бы у вас найти?*

За установлением потребностей – спроса – следует, как правило, показ – ***презентация*** – наличных товаров, из которых клиент мог бы что-нибудь выбрать. Например: *Вот к примеру несколько замечательных ожерелий – или может быть, Вы бы хотели брошь? – или декоративные часы, к нам только что поступила партия недорогих часов.*

Вслед за этой презентацией товара обычно ***тематизируется цена***. В этом вопросе интересы продавца и покупателя обычно расходятся: покупателю чаще всего хочется поскорее и поточнее узнать цену, а для продавца важно дифференцированно представить соотношение между ценой и достоинствами, то есть он пытается разъяснить достоинства своего товара, прежде чем перейти к убедительному обоснованию цены, которая покупателя не должна отпугнуть. В рамках такой тематизации цены во многих случаях бывает и что-то вроде торга.

Когда о цене договорились, начинается ***передача*** товара (Transaktion): договариваются о способе оплаты, об упаковке, сроках доставки или получения.

Переговоры о купле-продаже демонстрируют особенно ярко зависимость формы реализации от сочетания условий соответствующего разговора. В этом отношении выделяются различные подсхемы переговоров о купле-продаже:

– ***Представительская продажа*** (Vertreterverkauf): сначала выявляется, готов ли человек купить, а каждая фаза планируется тщательным образом

– "***Пришел – купил и пошел***" (Abholkauf): клиент регулярно покупает товар, качество и цена которого ему известны, – например, сигареты в киоске

– ***Покупка с торгом***: покупатель сначала выясняет возможности продавца, а затем договаривается о цене

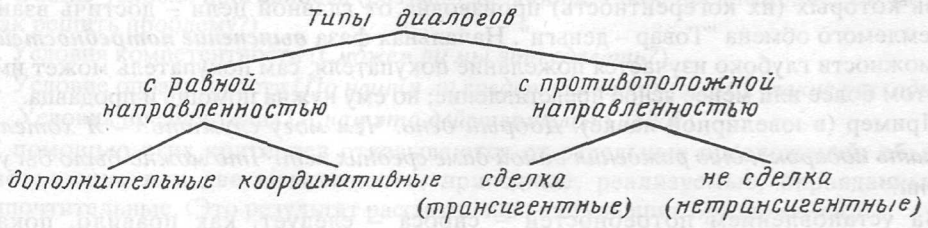
– ***Продажа в супермаркете***: здесь речевое взаимодействие в предельном случае сводится к нулю; потребность покупателя проявлена уже самим тем фактом, что он входит в супермаркет, презентация предложения и тематизация цены представлены на полках. Передача товара сведена к минимальному обмену "товар – деньги" у кассы.

Вышеупомянутые структуры представляют идеализованные исходные схемы. Аутентичные же процессы общения во многих случаях отклоняются от этих идеальных, однако существенные моменты всегда отрабатываются в диалоге.

6. ТИПОЛОГИЯ ДИАЛОГА

Каждая научная дисциплина непременно стремится всегда иметь перед глазами систематизацию положения дел в своей области. В нашем случае важным является установление того, сколько существует видов разговора и каковы они, по каким критериям они различаются и упорядочиваются в классы, а также как они соотносятся между собой.

Главенствующим критерием в анализе диалога является ***цель действия***: для чего люди разговаривают друг с другом? Наш ответ: для достижения определенных коммуникативных целей. Задача особой важности для анализа диалога состоит в реконструкции цели разговора в каждом конкретном случае. Следующий по важности критерий – ***условия действия***, для анализа этих условий важно установить соотношение интересов: О чем собеседники стремятся достичь взаимопонимания? Каковы конкретные интересы Sp1 и Sp2? На основе общих условий можно выделить четыре типа диалогов:



Типичным представителем дополнительных (комплементарных) разговоров являются диалоги типа "Как пройти / проехать?" (Wegauskunftsgespräche) и указания (Unterweisungsgespräche). В результате разговора заинтересована только одна сторона.

Типичные представители координативных разговоров: совместное планирование, совещания, научные дискуссии. Интерес к результату обсуждения обоюден.

Типичные представители разговоров о сделке: торг, мирные переговоры, переговоры о тарифах, аргументация; когда исходные интересы сторон различны, целью является сглаживание противоположностей.

Типичные представители разговоров не о сделке: дисциплинирующие беседы, переубеждение, споры (с подвидами: имущественный спор, претензии, выяснение отношений). Интерес одного собеседника наталкивается на противодействие другого.

Третьим критерием классификации разговоров является ***предмет разговора***. Этот

предмет может иметь разную природу, а соответственно, различны языковые формы его трактовки, например:

– когнитивно-теоретическая форма: поучение (Что такое электричество?)

– конкретно-практическая форма: инструкция (Как смастерить летающего змея?)

– эмоционально-психическая форма: подбадривание (Как мне преодолеть разочарование?)

Средством для достижения коммуникативной цели при заданных условиях является явный обмен уместными речевыми актами между Sp1 и Sp2.

Разговоры с многими участниками: протекание разговора усложняется наличием дополнительных собеседников (Sp3, Sp4 и т.д.). Так, например, сложная контроверза зачастую разрешается только с помощью третейского судьи – когда посредником между Sp1 и Sp2 в споре выступает третье лицо. Процессы общения при этом не такие же, как в случае двух собеседников. Аналогичное – в случае очной ставки, обсуждения на конференции и беседы за круглым столом.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ

Дальнейшее развитие анализа диалога я вижу в том, чтобы применить эту методологию к новой сложной области исследования, а именно, к формам целенаправленного речевого общения в обыденной жизни. Охватить многообразие форм языкового общения с помощью расширенного понятийного аппарата грамматики можно, но только если сначала будут описаны элементарные структуры с ясными и конкретными свойствами, и только затем постепенно эти структуры будут раскласcифицированы и модифицированы все более детально, – до тех пор, пока не будут адекватны аутентичным разговорам по сложности и многообразию.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Atkinson J.M., Heritage J. (Ed.) 1984 – Structures of social action // Studies in conversation analysis. Cambridge, 1984.

Austin J.L. 1962. – How to do things with words. Oxford, 1962.

Bergmann J.R. 1981 – Ethnomethodologische Konversationsanalyse // Schröder P., Steger H. (Hrsg.) Dialogforschung: Jahrbuch 1980 des Instituts für deutsche Sprache. Düsseldorf, 1981. S. 9–51.

Chomsky N. 1966 – Current issues im linguistic theory. The Hague, 1966.

Coulthard M. (Ed.) 1992 – Advances in spoken discourse analysis. London; New York, 1992.

Dascal M. 1992 – On the pragmatic structure of conversation // Searle J.R. et al. (Eds.) Searle on conversation. Amsterdam, 1992.

Ehlich K. (Hrsg.) 1994 – Diskursanalyse in Europa. Frankfurt-am-Main, 1994.

Franke W. 1990 – Elementare Dialogstrukturen. Darstellung, Analyse, Diskussion. Tübingen, 1990.

Fritz G. 1982 – Johärenz. Grundfragen der linguistischen Kommunikationsanalyse. Tübingen, 1982.

Fritz G., Hundsnurscher F. 1994 – Handbuch der Dialoganalyse. Tubingen, 1994.

Goffmann E. 1981 – Forms of talk. Oxford, 1981.

Graffe J. 1990 – Sich festlegen und verpflichten. Die Untertypen kommissiver Sprechakte und ihre sprachlichen Realisierungsformen. Münster; New York, 1990.

Habermas J. 1981 – Theorie des kommunikativen Handelns. Bd. 1: Handlungsrationalität und gesellscchftliche Rationalisierung. Franfkurt-am-Main, 1981.

Henne H., Rehbock H. 1982 – Einführung in die Gesprächsanalyse. 2., verbesserte und erweiterte. Aufl. Berlin, New York, 1982.

Hindelang G. 1978 – AUFFORDERN. Die Untertypen des Aufforderns und ihre sprachlichen Realisierungsformen. Göppingen, 1978.

Hindelang G. 1983 – Einführung in die Spreachakttheorie. Tübingen, 1983.

Hundsnurscher F. 1976 – Insistieren // Wirkendes Wort, 1976. Bd. 26.

Hundsnurscher F. 1980 – Konversationsanalyse versus Dialoggrammatik // Rupp H., Roloff H.-G. (Hgg.): Akten des VI. Interationalen Germanisten-Kongress. Basel 1980. Bd. 2. Tübingen, 1980.

Hundsnurscher F. 1986 – Dialogmuster und authentischer Text // Hundsnurscher F., Weigand E. (Hrsg.): Dialoganalyse. Referate der 1. Arbeitstagung Dialoganalyse. Tübingen, 1986.

Hundsnurscher F. 1991 – Zur dialogischen Grundstruktur von Mehr–Personen–Gesprächen // Stati S., Weigand E., Hundsnurscher F. (Hrsg.): Dialoganalyse III. Referate der 3. Arbeitstagung. Teil 1. Tübingen, 1991.
Hundsnurscher F. 1994 – Dialog–Typologie // Fritz G., Hundsnurscher F. (Hrsg.): Handbuch der Dialoganalyse. Tübingen, 1994.
Hundsnurscher F. 1995 Some remarks on the development of dialogue analysis // Hundsnurscher F., Weigand E. (Hrsg.): Future perspectives of dialogue analysis. Tübingen, 1995.
Hundsnurscher F., Franke W. (Hrsg.) 1985 – Das Verkaufs–Einkaufsgespräch. Stuttgart, 1985.
Kallmeyer W., Schütze F. 1976 – Konversationsanalyse // Studium Lingguistik 1976. Bd. 1.
Keller P. 1997 – Der innerbetriebliche Zielvereinbarungsdialog als ergebnisorientiertes Führungsinstrument. Eine linguistische Analyse. Münster, 1997.
Kohl M. 1985 – Skizze einer dialoggrammatische Analyse religiöser Bekehrungsgesparäse // Kürschner W., Vogt R. (Hrsg.): Sprachtheorie, Pragmatik, Interdisziplinäres. Tübingen, 1985.
Kohl M., Kranz B. 1992 – Untermuster globaler Typen illokutionärer Atke. Zur Untergliederung von Sprechaktklassen und ihrer Beschreibung // König P.–P., Wiegers, H. (Hrsg.): Sprechakttheorie. Münster, 1992.
Levinson S. 1983 – Pragmatics. Cambridge, 1983.
Marten–Cleef S. 1991 – Gefühle ausdrücken. Die expressiven Sprechakte. Göppingen, 1991.
Rahm H. (Hrsg.) 1995 – Quintilianus, Marcus Fabius: Ausbildung des Redners. Darmstadt, 1995.
Rolf E. 1983 – Sprachliche Informationshandlungen. Göppingen, 1983.
Searle J.R. 1969 – Speech acts. Cambridge, 1969.
Searle J.R. 1992 – Searle on conversation. Amsterdam, 1992.
Sieveke F.G. (Hrsg.) 1995 – Aristoteles Rhetorik. 5 unveränderte Aufl. München, 1995.
Sudnow D. (Ed.) 1972 – Studies in social interaction. New York, 1972.
Weigand E. 1989 – Sprache als Dialog. Sprechakttaxonomie und kommunikative Grammatik. Tübingen, 1989.
Weingarten E., Sack F., Schenkein J. (Hrsg.) 1976 – Ethnomethodologie: Beiträge zu einer Soziologie des Alltagshandelns. Frankfurt-am-Main, 1976.
Wittgenstein L. 1977 – Philosophische Untersuchungen. Frankfurt-am-Main, 1976.

Перевод с немецкого *В.З. Демьянкова*

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1998

© 1998 г. Р. МАРОЕВИЧ

ЭТЮДЫ ПО ГРАММАТИКЕ ДРЕВНЕРУССКОГО ЯЗЫКА. II
(Посессивы типа *Творимирьичь*)

1. О том, что от патронимов на *-ičь* первоначально образовывались притяжательные прилагательные (посессивы) с помощью суф. *-ь*, впервые было заявлено в нашем докладе к Киевскому съезду славистов (ср. [Маројевић 1982: 89–109]). Более подробно древнерусский материал был изложен и прокомментирован в разделе "Мужские патронимы: Посессивная форма" в монографии, посвященной посессивным производным в древнерусском языке [Маројевић 1985: 44–53]. Специальный вопрос – почему посессивы этого типа вытесняются родительным принадлежности, а не притяжательными прилагательными с суф. *-евъ* – был освещен в работе [Мароевич 1993: 108–109] (первоначально в [Маројевић 1983: 161–162]).

В откликах на наш доклад в Киеве (Ф.Славского в устной речи на съезде, Х. Бирнбаума [Бирнбаум 1987][1], И.М. Железняк [Железняк 1983][2]) не оспаривалось существование притяжательных прилагательных данного типа. Из посессивов типа *Творимирьичь* исходит, ссылаясь на нашу работу [Маројевић 1982], А.А. Зализняк при объяснении одной неясной формы в новгородских берестяных грамотах [Зализняк 1993][3]. Уже без ссылки на наше исследование, притяжательные прилагательные типа *Творимирьичь* упоминаются А.А. Зализняком также в монографии, посвященной древненовгородскому диалекту [Зализняк 1995][4]. Сербский лингвист М. Станич в специальной работе считает наше толкование загадочных сербских форм окончательным решением вопроса [Stanić 1987: 25–40].

---

[1]Ср.: "Р. Мароевич (M a r o j e v i c´ 1982) касается в своей работе судьбы особого подтипа общеславянских притяжательных прилагательных" [Бирнбаум 1987: 294].

[2]Ср. "Доклад Р. Мароевича (СФРЮ) рассматривает особую форму антропонимов в форме adjectiva possessiva. В живом употреблении такие прилагательные встречаются в старославянском языке, в древнерусских памятниках, где они наблюдаются вплоть до XIII в. Позднее эта форма притяжательных прилагательных стала восприниматься как родительный падеж принадлежности, чем объясняется раннее употребление посессивного генитива от патронимов без определения и приложения. Эта форма прилагательных сохранилась в старосербохорватском языке, на что указывают современные фамилии, топонимы и пр. Отдельные славянские языки имеют свои особенности в развитии этих форм прилагательных, но [они] восходят к одним и тем же формам" [Железняк 1983: 323].

[3]Ср.: "Структура примера *Ивана Хроушькин[ищ]-(шело)мъ и брънъи щитъ [и к](о)[п]ье* 332 остается не вполне ясной из-за обрыва: если в грамоте стояло *Хроушькиницѧ*, перед нами тип 3 [родительный принадлежности + родительный принадлежности – *Р.М.*]; если *Хроушькиниць* (или *-нищъ*) – тип 2 [родительный принадлежности + притяжательное прилагательное – *Р.М.*], с архаичным притяжательным прилагательным (*Хрушькиничь*), внешне совпадающим с исходным существительным (см. о таких прилагательных работу: Мароевич)" [Зализняк 1993: 274].

[4]Ср.: "Отметим, что в некоторых случаях по чисто фонетическим причинам основа притяжательного прилагательного с *-j-* оказывалась такой же, как у производящего имени. Таково было, в частности, положение с отчествами на *-ичь*, ср. *Творимиричь* 'принадлежащий Творимиричу' от *Творимиричь* 'Творимирич'. Из-за неудобства подобной омонимии такие прилагательные вышли из употребления довольно рано. Ср., например, *оу Несодщевее* 'у Несдичевой жены' Ст. Р. 22 (XII_1), где представлена уже более новая модель" [Зализняк 1995: 184].

Через десять лет после нашего доклада на съезде в Киеве в существовании притяжательных прилагательных типа *Творимирич* усомнился В.Б. Крысько, сначала в журнальной статье [Крысько 1993: 71–72], а потом и в монографии о категории одушевленности [Крысько 1994: 81–82]. Квалифицируя словосочетание **соужъдалъцъ Ходоутиничъ** в Свинцовой грамоте (...заожеричъ отрокъ лони крили соужъдалъцъ Ходоутиничъ...) "как родительный принадлежности (РП мн. ч.), обозначающий прежних владельцев холопа – семью суздальцев Ходутиничей", В.Б. Крысько данный текст сравнивает с фрагментом из Новгородской летописи: «домъ его всь розграбиша... та(к) же и Водовиковъ дворъ... и бра(т) его Михаля... и *Творимириць* ЛН, 112 – т.е. "двор Творимировичей"», а в сноске добавляет: «Заметим, что объяснение формы *Творимириць* как притяжательного прилагательного от отчества (Маројевић 1982, 92) представляется неоправданным, поскольку неоднократные новгородско-псковские примеры типа: оу *Прикоуповичь* двора ЛН, 134 об., подле *Колотиловичь* землю ПГ № 3 – однозначно показывают, что здесь мы имеем дело с РП мн. ч.; аналогично интерпретируются, как и полагал М. Стеванович, сербохорватские формы типа *Добриловића кућа* (см.: Маројевић 1982, 99). Совершенно произвольна адъективная трактовка формы: повелѣниемь Милятиномь *Лоукиницьмь* – из записи к "Милятину евангелию" (там же, 92); на самом деле в данном случае отражен анаколуф, как и в конструкциях: повелениемь *рабомь бїмь Ананиею черньцемь* Сийское евангелие 1340 г., 216; замышлениемь игоуменимь *Дмитриемь* Паренесис Ефрема Сирина 1377 г., 259 об. (Пергаменные рукописи 1976, 79, 167). Прочие примеры, толкуемые Р. Мароевичем (1982, 92–94) как притяжательные прилагательные от патронимов, являются формами РП ед.ч., кроме формы "съ строю" (НГБ № 487), которая при новом прочтении оказалась творительным падежом *сьстрою* (Зализняк 1986, 210)» [Крысько 1994: 82].

Левая сторона равенства, которое можно построить на основании рассуждений В.Б. Крысько – о том, что конструкцию **соужъдалъцъ Ходоутиничъ** "наиболее правдоподобно... квалифицировать... как родительный принадлежности (РП мн.ч.)" – была опровергнута нами в предыдущей статье этой серии [Мароевич 1996: 20]. В настоящей статье мы попытаемся усомниться в правильности правой стороны указанного равенства, а также прочих доводов В.Б. Крысько, за исключением примера из берестяной грамоты: **а возывахо тѧ съ строю ньвестокою** [ГрБ 1/2 XII, № 487] "а если бы позвали тебя, то с дядиной невесткой" [Арциховский, Янин 1978: 80]. Мы не знаем, насколько оправдано исправление А.А. Зализняка в палеографическом отношении: **сьстрою** вм. "съ строю" [Зализняк 1986: 210]; можем только добавить, что в лингвистическом отношении использование сочетания *сестра невѣстъка* в творительном падеже в роли косвенного дополнения при глаголе *възывати* кажется контекстуально необоснованным (что такое "сестра невестка"; почему вместо винительного и творительного падежей современного русского не был использован древнерусский двойной винительный?). Поскольку здесь речь идет о патронимических посессивных формах, вопрос о прочтении берестяной грамоты № 487 останется за пределами настоящей статьи.

2. Начнем с примера, который не рассматривался нами в докладе к Киевскому съезду славистов и на который В.Б. Крысько не ссылается (пример приведен и рассмотрен в монографии [Маројевић 1985: 48]): в то^ж^ лѣ^т^. приходи еп^с^пъ черниговьскыи Перфурии. ко Всеволоду Гюргевичю Володимерю мира прося у него. абы умирити его с Рязанци съ *Глѣбовичи*. занеже есть Рязань черниговьскыи еп^с^пъ [ЛЛ 1377, л. 137 (1187)][5].

[5]Материал, не подтвержденный специальной ссылкой на источник, приводится по данным Картотеки древнерусского языка XI–XIV вв. (примеры из памятников даются в упрощенной графике). Данные об источниках и их сокращениях см. в [СДЯ].

Словосочетание *с Рязанци съ Глѣбовичи* А.А. Потебня объясняет в скобках: "с рязанским князем Глѣбовичем" [Потебня 1977: 298]. Для такого толкования нет никаких формально-грамматических оснований, поэтому примечание А.А. Потебни следует считать не лингвистическим объяснением, а пояснением смысла текста с исторической точки зрения.

Мы же считаем, что в приведенном примере засвидетельствован посессив *Glěbovičь*, образованный с помощью суффикса *-ь* <*-'*ŏs* от патронима *Glěbovičь*, в форме творительного падежа мн.ч. мужского рода. В мужском (и среднем) роде посессив принадлежал к склонению древних *jŏ*-основ. Указанное словосочетание (с удвоенным предлогом *съ*, характерная черта древнерусского синтаксиса) мы семантизируем следующим образом: 'с Глебовичевыми рязанцами', т.е. с рязанцами Глебовича.

3. Другой пример, приводившийся нами [Marojević 1982: 92; 1985: 47–48] в качестве доказательства о существовании притяжательных прилагательных типа *Творимиричь:* въ голодьное лѣто написахъ еуанглие. и ап^с^лъ [...] а повелѣниемь. Милятиномь *Лукиницьмь* и крилъ обоѣ книгы [ЕвМилят 1215, л. 160 (запись)], имеет уже длительную историю толкования.

Л.А. Булаховский полагал, что в приведенном примере "от имени *Милята* образовано, как обычно, притяжательное прилагательное и ему ассимилировано также и отчество (в роли прилагательного)" [Булаховский 1953: 287 (сноска)]. Толкование Л.А. Булаховского принимает также Я.А. Спринчак в следующей формулировке: "обычной притяжательной форме *Милятином* ассимилировано и отчество, употребляемое здесь в роли определения" [Спринчак 1960: 120]. "Совершенно произвольна адъективная трактовка формы" (формы *Лукиницьмь*), – считает В.Б. Крысько. И продолжает: "на самом деле в данном случае отражен анаколуф" (как и в двух других конструкциях, о которых см. ниже) [Крысько 1994: 82 (сноска)].

Мы не знаем, в каком значении В.Б. Крысько употребляет слово *анаколуф*, поскольку это скорее не лингвистический (в [ЛингвЭС] он отсутствует), а литературоведческий термин: "синтаксич[еская] несогласованность частей или членов предложения (как небрежность или средство выразительности)" [ЛитЭС: 23]. Ср. и другое определение: "стилистическая фигура, состоящая в согласовании слов или соединений частей фразы по смыслу вопреки грамматическим нормам [...]; а[наколуф] в художественной литературе – средство разговорного оживления речи" [СИС: 35–36]. Мы бы, во всяком случае, по отношению к древнерусским писцам предпочли другую оценку: не преднамеренное использование той или иной стилистической фигуры, а неправильность, несогласованность в результате контаминации двух конструкций. Но сначала надо доказать, что фраза является неправильной, а ее части – несогласованными между собой.

В примере из Сийского евангелия (л. 216), которое датируется 1340 г. (в отличие от традиционной датировки 1339 г.), представлен творительный падеж субъекта: написано бы^с^ сиѥ ѥуа^г^ѥ въ градѣ Московѣ на Двину къ ст҃ѣи Бг҃и. повелениѥмь *рабомь бг҃мь Ананиѥю черньцемь* [ПР: 79] (запись писцов Мелентия и Прокоши). В первой половине XIV в. едва ли был возможен творительный субъекта при отглагольном существительном без выраженного родительного объекта, поэтому приходится исходить из контаминации двух конструкций: творительного субъекта (при страдательном причастии) **написано рабомь б[ожи]имь** и родительного субъекта (при отглагольном существительном) **повелениемь [раба божиꙗ],** тем более, что конструкция с родительным субъекта представлена в записи формой личного местоимения: **многимъ книгамъ написанымъ ѥго повелениѥмь** [ПР: 79].

Другого характера творительный падеж *игоуменимъ Дмитрiѥмь* в записи писца (дьꙗкъ Алексѣико нарѣцаѥмыи Владычька) к Паренесису Ефрема Сирина (л. 259): г҃и. помози рабоу Бг҃ю Владычкѣ написавшемоу книги сиꙗ ст҃му великомоу Николѣ. а

замышлениѥмъ *игоуменимъ Дмитрiѥмь* [ПР: 167] (памятник датируется 1377 г.). Здесь представлены согласуемые формы двух посессивов: притяжательного прилагательного *igumeńь*, образованного с помощью суф. *-jь от нарицательного существительного *igumenъ*, и притяжательного прилагательного *Dьmitrijь*, образованного с помощью суф. *-ь* от личного имени *Dьmitrijь*. Использование творительного падежа двух посессивов обусловлено синтаксической позицией определяемого слова (отглагольного существительного).

Сербский экклезионим *црква Димитрија* (вин. п. *цркву Димитрију*) показывает, что первоначальной посессивной формой личного имени *Dьmitrijь* был не посессив на *-evъ* **Dьmitrijevъ*, а посессив на *-ь* *Dьmitrijь* (ж.р. *Dьmitrija*, ср. р. *Dьmitrije*). В этом отношении можно сопоставить фрагмент из сербской народной песни "видиш нашу *цркву Димитрију*" с соответствующей формой в Лаврентьевской летописи: преяша *цр҃квь Дмитрия* Печеряне [ЛЛ 1377, л. 99 об. (1128)]. Употребление одиночного родительного принадлежности, без определения или приложения, для древнерусского языка первой половины XII в. было нехарактерным. Поэтому мы реконструируем первоначальный текст летописи с согласуемой формой [преѧша цьркъвь] **Дьмитрию** и предполагаем смешение графически весьма похожих букв ю и ѧ (более подробно см. [Маројевић 1987: 129–132]).

После всего вышеизложенного нет никакого сомнения в том, что в записи к Милятину евангелию представлен не анаколуф и не ассимиляция отчества притяжательному прилагательному от имени *Милята*, а параллельное употребление при отглагольном существительном в творительном падеже ед. ч. согласуемых форм двух посессивов: на *-inъ* от личного имени *Милята* и на *-ь* от патронима *Лукиничь*.

О том, что подобное параллельное употребление двух посессивов в субъектном значении при отглагольном существительном было обычным явлением, свидетельствует первая запись к Апостолу XIV в. (в Собрании А.И. Хлудова в Государственном историческом музее): г҃и помози рабу своему Кузмѣ даи бѣ҃ ему списати си с҃тая книгы бл҃гньемь *архимандричимъ Серапионовымъ* [Ап XIV (1), л. 1 (запись)]. Здесь представлены посессив на **-jь* от титула *архимандритъ* и посессив на *-ovъ* от его личного имени *Серапионъ*. Формы *архимадричимъ* и *игуменимъ* (см. выше) показывают вторичное получение посессивами членных форм.

4. Третий пример, в котором представлен посессив *Творимирич҃ь* (по которому данный тип притяжательных прилагательных получил название), засвидетельствован в Синодальном списке Новгородской первой летописи (датируется XIII веком), под 1230 г.: домъ его всь розграбиша [...] и Водовиковъ дворъ. и села. и бра҃т его. Михаля. и Даньсла҃в. и Борисовъ тысячьскаго. и *Творимирицъ*. иныхъ много дворовъ [ЛН XIII, л. 112 [1230)].

Словоформа *Творимирицъ*, на наш взгляд, представляет собой объектное определение при существительном *дворъ*, как и посессивы *Водовиковъ* и *Борисовъ*. Указанные антропонимические формы различаются по словообразовательному суффиксу и словообразующей основе: посессив *Творимиричь* (*č* ⟩ *c'* в результате цоканья) образован с помощью суф. *-ь* от патронимической основы, посессивы же *Водовиковъ* и *Борисовъ* – с помощью суф. *-ovъ* от основы личного имени.

Наше толкование формы *Творимирицъ* [Маројевић 1982: 92; 1985: 47] вызвало – с большим опозданием и попутно – резкое возражение В.Б. Крысько, считающего эту форму родительным падежом множественного числа [Крысько 1994: 82 (сноска)]. Свою версию прочтения указанного летописного фрагмента В.Б. Крысько аргументирует привлечением параллельных форм, засвидетельствованных в новгородско-псковских памятниках. Рассмотрим эти примеры.

Словоформы *соужъдалъцъ ходоутиничъ* в Свинцовой грамоте: заожеричъ отрокъ лони крили соужъдалъцъ ходоутиничъ възъми довѣ гривънѣ на намъ [Гр XI/XII (новг.)] не могут быть поняты как род. п. мн. ч. при существительном *отрокъ* потому,

что такое толкование выходит за пределы древнерусского синтаксиса: приименный или адноминальный генитив и есть приименный постольку, поскольку он занимал позицию при имени. Патроним *Ходутиничь*, согласно нашему толкованию, является подлежащим императивного предложения третьего лица единственного числа [Мароевич 1996].

В другом примере, которым В.Б. Крысько подтверждает свою гипотезу, также представлен не родительный падеж множественного числа патронима, а родительный падеж единственного числа топонима. Если бы в нашем распоряжении был только список около 1669 г. (оригинальная грамота относилась ко второй половине XIV в.), который цитирует В.Б. Крысько, можно было бы подумать, что в памятнике засвидетельствован родительный падеж топонима (plurale tantum) **Колотиловичи:* И досташа ся игумену святаго Спаса Алексию у сести мѣстъ первое мѣсто на Ригине горя [...] а пятое у Кривых же нивок. и шестое подле *Колотиловичь* землю [НПГ: 48]. Такой топоним в такой форме выглядел бы странным, во-первых, потому что для данной территории и в данный период вообще не характерны топонимы на *-ičі*, во-вторых, потому что во второй половине XIV в. патронимы на *-ič* в род.п. мн. ч. имели не нулевое окончание, а окончание *-ev*; ср.: се милостыня князя великого Васильева Михаиловича и его *братаничевъ*. княжа Всеволожа. княжа Михаилова. княжа Володимерова. княжа Андреева *Олександровичевъ* княжа Еремеева. княжа Семенова *Костянтиновичевъ* [Гр 1361–1365]. Но та же псковская грамота известна по списку 1680 г., в котором засвидетельствован в данном месте – род.п. ед. ч. микротопонима (или гидронима) *Колотиловица:* І досташа ся ігумену светаго Спаса Альксию у сести мѣстъ: первое мѣсто на Ригина гора [...] а пятои у Кривыхъ же нивъ і шестое подле *Колотиловицы* землю [ГВНП: 328]. Интересно, что в Указателе географических названий микротопоним идентифицируется неточно: *Колотиловица земля* [ГВНП: 380], вместо: *Земля подле Колотиловицы*[6].

У В.Б. Крысько, на наш взгляд, вызывают затруднения "капризы" древнерусских памятников и их списков и методологические проблемы реконструкции. Об этом свидетельствует и третий пример, которым автор пытается доказать существование в древнерусском языке посессивного генитива множественного числа: і лиши сѧ посадничьства Онаньꙗ. і взѧша миръ на всеі воли новгороⷣскои. і поіде кн҃зь в гороⷣ. і срѣте і архиепⷭпъ Далматъ со всѣмъ иерѣскымь чиⷩмь съ крⷭты. оу *Прикоуповичь* двора [ЛН 1/2 XIV, л. 134 об. (1255)]; цит по: [ЛН 1875: 268]. В Комиссионном списке (первая половина или середина XV в.) засвидетельствована форма род. п. ед. ч. мужского рода посессива, совпадающая с формой родительного принадлежности: И лиши ся посадничьства Онанья, и взяша миръ на всеи воли новгородчкои. И поиде в город, и срѣте и архиепископъ Далматъ съ всѣмъ иерѣискымъ чиномъ, съ кресты, у *Прикуповича* двора [ЛН 1950: 308]. Какую форму, (у) *Прикуповичь* (двора) или (у) *Прикуповича* (двора), следует считать первичной для русского языка середины XIII в.? И является ли словоформа *Прикуповичь* в словосочетании *у Прикуповичь двора* родительным падежом множественного числа?

---

[6] В.Б. Крысько, очевидно, солидаризируется с Л.М. Марасиновой, опубликовавшей список около 1669 г. и датировавшей протограф второй половиной XIV века [НПГ: 48]. В Хронологическом комментарии к указанной грамоте она пишет:"В той же грамоте упоминается земля Колотиловичей. Псковские бояре с этим именем известны по летописям: в 1341 г. упоминается боярин Власей Колотилович" [НПГ: 88]. В Строевском списке Псковской 3-ей летописи, писанном в 60-х годах XVI в., упоминается (под 1341 годом), что немцы убили пять псковских послов, среди них и *Власиа* (в Архивском 2-ом списке: *Власия*) *Колотиловича* [ПЛ: 92]. Патроним *Колотилович* не имеет никакого отношения к тексту рассматриваемой грамоты, в которой упоминается не "земля Колотиловичей", а земля (в вин. п.) *подле Колотиловицы*. В списке около 1669 г. отражен обратный эффект цоканья и не дописана вторая часть буквы "ы": **подле Колотиловичь[і] землю**. Можно только утверждать, что и патроним (*Колотилович*), и микротопоним (*Колотиловица*) образованы от одной и той же словообразующей основы (личное имя *Колотило*).

В протографе как Синодального, так и Комиссионного списков Новгородской первой летописи находилось, несомненно, обстоятельство места *u Prikupoviča dvora.* В 1255 году, о событиях которого повествует летописец в рассматриваемом фрагменте, форма *Prikupoviča* осознавалась как согласуемая форма посессива на *-ь* (родительный падеж единственного числа мужского рода). Эта форма без изменения сохранилась в Комиссионном списке первой половины или середины XV века, но она в это время, когда в живом употреблении уже не было посессивов указанного типа, осознавалась по-другому: как родительный принадлежности патронима. Синодальный список (данный фрагмент которого датируется первой половиной XIV века) отражает период утраты посессивов типа *Творимиричь* из живого языкового сознания носителей древнерусского языка (первая половина XIV века). Несклоняемость посессивных форм на *-ičь* была одним из результатов (и показателей) этой утраты не только в древнерусском языке; ср. несклоняемые чешские посессивные формы типа *Novákovic* и несклоняемость форм на *-ić* в сербских топонимах типа *Николић-поток, Коњевић-поље* и форм на *-ića* в сербских антропонимах (женские фамилии) типа (*Коса*) *Смиљанића* [Маројевић 1982]. Это и есть ответ на первый вопрос.

Нетрудно ответить и на второй вопрос. Форма *Прикуповичь* в словосочетании *у Прикуповичь двора* не могла осознаваться как родительный падеж множественного числа ("у двора Прикуповичей"), по двум соображениям. Экстралингвистическое соображение: при слове *дворъ*, как показывают древнерусские памятники письменности, употреблялось притяжательное прилагательное (чаще) или родительный принадлежности в единственном числе (в определенных синтаксических условиях), указывающие на индивидуального владельца. Здесь двор якобы принадлежит не одному Прикуповичу, и даже не двум сыновьям Прикупа, а трем или более Прикуповичам! Лингвистическое соображение: нормальной для род.п. мн.ч. является постпозиция по отношению к определяемому слову; ср.: а кн҃зь погони ся по нихъ съ своимь дворомь. и би я подъ Зижьчемь. и не упусти ихъ ни мужа. и ту изби избытокъ *княжичь* [ЛН 1/2 XIV, л. 131 об. (1245)][7].

На основании всего вышеизложенного можно с полной определенностью подтвердить посессивное толкование формы *Творимиричь* в Новгородской летописи: (розграбиша) и *Творимириць* [дворъ], т.е. 'Творимиричев двор'. Помимо приведенных аргументов (неправомерность указания на трех или более владельцев двора, отсутствие аналогичных конструкций в других памятниках и т.д.), здесь следует добавить еще один: затруднительность употребления адноминального родительного падежа при отсутствии определяемого существительного *дворъ* (оно вычленяется из более широкого контекста).

5. Прочие примеры, толкуемые нами как притяжательные прилагательные от патронимов, В.Б. Крысько отмечает как формы родительного падежа единственного числа [Крысько 1994: 82 (сноска)].

Среди примеров, приведенных нами [Маројевић 1982: 92], особенно показателен следующий: Володимиръ же Мьстиславичь бѣ в Полонѣмъ. слышавъ же оже Андрѣевичь Володимиръ умерлъ. и иде к Дорогобужю дружина же *Андрѣевича* не пустиша его в городъ [ЛИ ок. 1425, л. 195 (1171)]. В монографии, посвященной посессивным производным в древнерусском языке [Маројевић 1985: 48], данный пример сопровождался следующими комментариями: "Форму *Андрѣевича* можно было бы толковать и как родительный принадлежности, но думается, что для древнерусского

[7]Хотя и допускает возможность считать форму *княжичь* родительным падежом мн.ч. ('остаток княжеских сыновей'), С.В. Фролова отдает предпочтение трактовке, согласно которой *княжичь* – "притяжательное прилагательное, находящееся в согласовании с определяемым словом" [Фролова 1959: 241]. Для нас *княжичь* форма родительного падежа мн. ч., как и форма *княжиць* (с отражением цоканья) в части текста, которая непосредственно предшествует приведенному фрагменту: а *княжиць* исѣѣ. или боле. й. и ѿтолѣ Новгородци въспятиша. [ЛН 1/2 XIV, л. 131 об. (1245)].

языка невероятной представляется употребление адноминального генитива, отделенного частицей *же* от определяемого существительного". Теперь мы могли бы высказаться более определенно: дистантное расположение беспредложного родительного (посессивного генитива) в древнерусском языке, да и не только в древнерусском – было грамматически невозможным.

6. Особо следует выделить случаи омонимии древнерусских согласуемых посессивных форм и синтаксических категорий современного русского языка:

а) именительный падеж ед. числа женского рода посессива на *-ь*: а се чара кня Володимирова *Давыдовча* кто из нее пь тому на здоровье [Надп XII (до 1151)]; он же помысли и ре^ч^ собѣ в ср^д^ци се ми хочеть быти *Ярославича* смрть. и помоли ся к бу̃. и виня мечь свои [ЛЛ 1377, л. 108–108 об. (1149)]; ср. этот же фрагмент в [ЛИ ок. 1425, л. 142 (1149)];

б) родительный падеж ед. числа среднего рода посессива на *-ь*: начало княжения. Ярославля. *Изяславича* [ЛИ ок. 1425, л. 204 об. (1174)].

Если исходить из современного (русского) языкового сознания, как это делает В.Б. Крысько, во всех этих примерах можно видеть родительный принадлежности. Но здесь речь идет о древнерусском языке XII в., с ограниченными возможностями употребления посессивного генитива (условия его употребления описаны подробно в другой нашей монографии, посвященной посессивным категориям в истории русского языка [Маројевић 1983: 13, 50–56]). Первый достоверный пример использования родительного принадлежности в конструкциях, выражающих принадлежность лицу, причем с указанием личного имени и патронима, относится к последней четверти XIII века: судъ Ярославль. *Володимирица* [РПр 1280, л. 615 об.а]. Первый случай употребления одиночного патронима в форме приименного родительного падежа ед. ч. засвидетельствован в летописном списке последней четверти XIV века: здумаша боляре. *Володимерковича*. и рѣша князю своему [ЛЛ 1377, л. 113 об. (1153)].

7. С примерами, в которых засвидетельствованы достоверные случаи употребления притяжательных прилагательных на *-ь* в формальном и семантическом отношениях (п. 2–5), а также с теми, в которых посессивы на *-ь* семантически реконструируются (п. 6), доказательную силу имеют случаи, в которых посессивы типа *Творимиричь* нужно реконструировать и формально, и семантически. Речь идет о случаях сокращения падежных окончаний патронимов в древнерусских памятниках, в которых современное (русское) языковое сознание вычленяет родительный принадлежности, а древнерусская грамматика допускает только согласуемую посессивную форму:

а) форма винительного падежа ед. числа мужского рода посессива на *-ь* (*королевичь* 'принадлежащий королевичу') реконструируется в примере: Василковъ полкъ. гнаше Угры до становъ. и стягъ *королеви^ч^* подътяли бѣаху [ЛИ ок. 1425, л. 260 (1232)];

б) форма винительного падежа ед. числа среднего рода посессива на *-ь* (*Гюргевиче* 'принадлежащее Гюргевичу') реконструируется в примере: а на Володимире племя. на *Гюргеви^ч^* не можемъ рукы подъяти [ЛИ ок. 1425, л. 130 об. (1147)];

в) форма именительного падежа мн. числа мужского рода посессива на *-ь* (*Андрѣевичи* 'принадлежащие Андреевичу/Андреевичам') можно реконструировать в следующем фрагменте: придоша стрѣлци [...] Андрѣеви и Володимери *Андрѣеви^ч^* на берегъ [ЛИ ок. 1425, л. 149 об. (1150)].

8. Подводя итоги сказанному, можно утверждать, что посессивы типа *Творимиричь* защитили себя: нет никаких оснований сомневаться в том, что они находились в живом употреблении в древнерусском языке вплоть до середины XIII века. В других славянских языках обнаруживаются их многочисленные следы в топонимии и антропонимии, но этот аспект может быть темой специального исследования.

Посессивы типа *Творимиричь* представляют собой только один словообразовательный тип более широкой категории притяжательных прилагательных с суф. *-ь*. С точки

зрения морфологической базы (типа словообразующей основы, от которой они образовывались), посессивы на *-ь* подразделяются на четыре типа:

а) патронимы с суф. *-ичь* < **-itĭŏs*. Посессивы на *-ь* от них в живом употреблении засвидетельствованы только в древнерусском языке XII – первой половины XIII века (примеры см. выше).

б) nomina agentis с суф. *-тель*. Посессив **ТОМИТЕЛЬ** [СС: 699], образованный суф. *-ь* от нарицательного существительного **томитель**, засвидетельствован в Супрасльской рукописи: **и въпалъ кси въ рѫцѣ томители**. В древнерусских памятниках засвидетельствован посессив *иконоразбитель* (в Ефремовской кормчей): да ѿвьржено будеть равьно *иконоразбителе* безумие [Срезневский 1912: 128].

в) nomina composita со вторым компонентом *-дѣи*. Посессив **ЛЮБОДѢИ** [СС: 316] засвидетельствован в Зографском и Мариинском евангелиях в следующем контексте: **родъ лѫкавъ · і любодѣи**. В старославянских памятниках (в Зографском, Мариинском и Ассеманиевом евангелиях) представлен также посессив **ПРѢЛЮБОДѢИ** [СС: 545] в следующем контексте: **въ родѣ семь прѣлюбодѣімь · и грѣшьнѣмь**. Посессив *любодѣи* засвидетельствован и в древнерусском памятнике: вьсе житие мое блудьно. душа же ми *любодѣя*. тѣло же вьсе сквьрньно и умъ же мои нечистъ [Стих 1156–1163, л. 105–105 об.].

г) nomina agentis с суф. *-арь*. В исконных славянских производных на *-арь* посессивы на *-ь* не засвидетельствованы. Исход раннего заимствования *цѣсарь* в результате фонетической и словообразовательной адаптации совпал с суф. *-арь*. Посессив **ЦѢСАРЬ** [СС: 774], образованный суф. *-ь* от нарицательного существительного *цѣсарь*, представлен многочисленными примерами в старославянских памятниках – в свободном употреблении: **повелѣ привести и съ всѣкоѭ чьстиѭ въ полаты цѣсарѧ** (пример из Супрасльской рукописи); в составе устойчивого словосочетания **ц ѣ с а р ь м ѫ ж ь** "царедворец, придворный, приближенный властелина": **г⟨лаго⟩ла къ немоу ц⟨ѣса⟩рь мѫжь** (в Зографском, Мариинском и Ассеманиевом евангелиях, в двух контекстах); в составе ойконима **ц ѣ с а р ь г р а д ъ** "Царьград (*Константинополь*)": **мітрофана арх⟨иепископоу⟩па ц⟨ѣса⟩рѣ града** (пример из Ассеманиева евангелия). Посессив *цѣсарь* встречается и в древнерусских списках старославянских памятников, например в Остромировом евангелии: бѣ нѣкыи *цесарь* мужь (л. 18 об.), а также в славянских названиях Константинополя [Фролова 1959, 259–260].

За пределами указанной классификации остаются: посессив *Dьmitrijь* "Дмитриев", выражающий (как и все предыдущие) значение принадлежности (см. выше), и посессив *tъnogovojь* "имеющий много воинов", выражающий значение обладания: и видѣ Улияна *многовоя* [Маројевић 1985: 124].

Словообразовательную структуру старославянских притяжательных прилагательных типа **томитель** с диахронической точки зрения описал Р. Бошкович: он убедительно показал, почему следует исходить не из суф. **-jь*, а из суф. *-ь* ⟨**-'ŏs* как словообразовательного форманта [Бошковић 1978: 383].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Арциховский А.В., Янин В.Л. 1978 – Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1962–1976 гг.). М., 1978.

Бирнбаум Х. 1987 – Праславянский язык: достижения и проблемы в его реконструкции. М., 1987.

Бошковић Р. 1978 – Одабрани чланци и расправе. Титоград, 1978.

Булаховский Л.А. 1953 – Курс русского литературного языка. Т. 2: Исторический комментарий. Киев, 1953.

ГВНП – Грамоты Великого Новгорода и Пскова / Под ред. Валка С.Н. М.; Л., 1949.

Железняк И.М. 1983 – Основные аспекты изучения славянской ономастики последних лет (IX Международный съезд славистов) // Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования 1983. М., 1988.

Зализняк А.А. 1986 – Новгородские берестяные грамоты с лингвистической точки зрения // *Янин В.Л., Зализняк А.А.* Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977–1983 гг.). Комментарии и словоуказатель к берестяным грамотам (из раскопок 1951–1983 гг.). М., 1986.

Зализняк А.А. 1993 – К изучению языка берестяных грамот // *Янин В.Л., Зализняк А.А.* Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1984–1989 гг.). М., 1993.

Зализняк А.А. 1995 – Древненовгородский диалект. М., 1995.

Крысько В.Б. 1993 – Категория одушевленности в древненовгородском диалекте // Славяноведение. 1993. № 3.

Крысько З.Б. 1994 – Развитие категории одушевленности в истории русского языка. М., 1994.

ЛингвЭС – Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. Ярцева В.Н. М., 1990.

ЛитЭС – *Гаспаров М.Л.* Анаколуф // Литературный энциклопедический словарь / Под общей ред. Кожевникова В.М., Николаева П.А. М., 1987.

ЛН 1875 – Новгородская летопись по Синодальному харатейному списку. Изд. Археографической комиссии. СПб., 1875.

ЛН 1950 – Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов / Под ред. Насонова А.Н. М.; Л., 1950.

Мароевич Р. 1993 – Патронимы в системе категорий принадлежности древнерусского языка // Общеславянский лнгвистический атлас. Материалы и исследования 1988–1990. Сборник научных трудов. М., 1993.

Мароевич Р. 1996 – Этюды по грамматике древнерусского языка. I (К прочтению Свинцовой грамоты) // ВЯ. 1996. № 3.

Маројевић Р. 1982 – Прасловенска adiectiva possessiva типа *Tvorimiřič* (од патронима типа *Tvorimiřičь*), њихова судбина и трагови у словенским језицима // Јужнословенски филолог. 1982. Књ. XXXVIII.

Маројевић Р. 1983 – Посесивне категорије у руском језику (у своме историјском развитку и данас). Београд, 1983.

Маројевић Р. 1985 – Посесивне изведенице у староруском језику. Антропонимски систем. Топонимија. "Слово о полку Игореве". Београд, 1985.

Маројевић Р. 1987 – О постанку топонима *црква Димитрија* // Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. Нови Сад, 1987. Књ. XXX/1.

НПГ – *Марасинова Л.М.* Новые псковские грамоты XIV–XV веков. М., 1966.

ПЛ – Псковские летописи. Вып. 2 / Под ред. Насонова А.Н. М., 1955.

Потебня А.А. 1977 – Из записок по русской грамматике. Т. IV. Вып. 2: Глагол. М., 1977.

ПР – Пергаменные рукописи Библиотеки Академии наук СССР. Описание русских и славянских рукописей XI–XVI веков. Л., 1976.

СДЯ – Словарь древнерусского языка (XI–XIV вв.) / Гл. ред. Аванесов Р.И. Т. 1. М., 1988.

СИС – Словарь иностранных слов. Изд. 18-е. М., 1989.

Спринчак Я.А. 1960 – Очерк русского исторического синтаксиса. Простое предложение. Киев, 1960.

Срезневский И.И. 1912 – Материалы для Словаря древне-русского языка по письменным памятникам. Дополнения. СПб., 1912.

СС – Старославянский словарь (по рукописям X–XI веков) / Под ред. Цейтлин Р.М., Вечерки Р., Благовой Э. М., 1994.

Фролова С.В. 1959 – История притяжательно-относительных прилагательных с суффиксом *-j, -ьj* по древнерусским письменным памятникам XI–XVII вв. // Уч. зап. Куйбыш. пед. ин-та. 1959. Т. 27.

Stanić M. 1987 – Još o sintagmi "majka Jugovića" // Књижевност и језик. 1987. Бр. 1–2.

ПРИМЕЧАНИЕ К ПРЕДЫДУЩЕЙ СТАТЬЕ Р. МАРОЕВИЧА(ВЯ. 1997. № 3):

стр.	строка	написано	следует читать
78	4 снизу	*Стефанъ*	*Стефань*
80	20 снизу	*Воин*	*Воинь*
80	6 снизу	*Воинъ*	*Воинь*
81	24 снизу	Ѳргощъ	Ѳргощь
83	23 снизу	Ζαργάτα	Ζαρνάτα
87	12 снизу	*Мароевич Р.* 1985	*Мароевич Р.* 1995

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1998

© 1998 г. Р.Н. КРИВКО

ДРЕВНЕРУССКАЯ ОРФОГРАФИЯ XI – НАЧАЛА XII ВЕКА В СВЕТЕ СУПЕРСЕГМЕНТНЫХ ТЕМБРОВЫХ ОППОЗИЦИЙ*

Одной из важнейших характеристик общеславянской фонологической системы были противопоставления по тембру, или тональности. Более высокий, диезный, характер звучания гласного или согласного образуется за счет дополнительной артикуляции спинки языка в области твердого нёба, в результате чего сокращается объем ротового резонатора и происходит повышение тона звучания. Так образуются палатализованные, диезные, звуки, которым противопоставляются звуки бемольные, с более низким тембром звучания. При их образовании объем ротового резонатора увеличивается или за счет лабиализации, или в результате сдвига массы языка назад, в область мягкого нёба, что и способствует понижению тона. В случае артикуляции языка назад происходит рефлекторное напряжение небной занавески (лат. velum), поэтому такие бемольные звуки называются веляризованными. В истории русского языка тембровые различия согласных звуков по признаку диезности – недиезности легли в основу корреляции по мягкости – твердости, которая охватывает почти весь консонантизм и определяет характер русской фонологической системы.

В древнерусской орфографии тембровые противопоставления обозначались во многом за счет особых закономерностей употребления букв **а, ꙗ; є, ѥ; ѹ, ю; ѫ, ѭ** после согласных, кроме тех, которые обозначали шипящие и аффрикаты: последние не имели в праславянском и древнерусском языках фонетических пар по твердости – мягкости. Как известно, в южнославянских рукописях буквы **ѧ** или **ꙗ** (**ѣ**) после **ш, ж, щ, ч, ц** встречаются крайне редко (см. статистические данные в: [Зубова 1975: 20–21]), поскольку тональность в слоге с шипящими и [ц] выражалась с помощью самих согласных букв, а значит, не было необходимости обозначать диезность дополнительно с помощью гласных [Lunt 1949:37; Kulbakin 1929:188–206], однако распространенные в древнерусских памятниках написания букв **ѧ, ꙗ** после шипящих и аффрикат встречались часто, что может "доказывать сохранение мягкого (палатального? – *Р.К.*) признака этих согласных" [Древнерусская грамматика 1995:67]. После тех же согласных **ш, ж, щ, ч, ц** в старославянских памятниках последовательно пишется буква **ю**, а в Синайском требнике также **ѭ**, а не **ѫ**. Из "классических" памятников старославянского языка исключение составляют Киевские листки, где нет буквы **ѭ** и после буквы **ш** пишутся **ѫ** и **ѧ** [Ван-Вейк 1957:129–131, 185; Зубова 1975:20–21]. Восточнославянские данные позволяют судить, что в древнерусских рукописях XI–XIV веков особой нормы относительно употребления букв **ѹ, ю** после шипящих не существовало [Зубова 1976:33–36].

---

* За советы и помощь при подготовке статьи автор обязан И.Г. Добродомову. За внимание, проявленное к готовящемуся материалу, и за содействие в знакомстве с некоторыми труднодоступными даже в московских библиотеках изданиями автор благодарен В.К. Журавлеву, В.В. Колесову и Т.Л. Мироновой. Ценные критические замечания о первом варианте статьи были высказаны В.М. Живовым и с благодарностью учтены автором.

Закономерности употребления букв ꙗ, ѧ; є, ѥ после согласных, кроме шипящих и аффрикат, в древнерусских памятниках XI–XII веков с фонологической точки зрения до сих пор объяснялись в основном только с позиций изложенной во многих, но не всех, академических исследованиях и вузовских грамматиках теории праславянской полумягкости согласных и вторичного смягчения полумягких [Древнерусская грамматика 1995:30–31; Иванов 1983:93; Калнынь 1956:120–150; Калнынь 1961:8 и далее; Бернштейн 1961:238–239][1]. Полумягкость определяется как "незначительная степень палатальности" [Громова 1981:20]: считается, что хотя в праславянском языке артикуляция согласного перед гласными переднего ряда "менялась, но согласные не получали той йотовой артикуляции, которая характерна для мягких, то есть при их произношении в меньшей степени поднималась спинка языка к твердому нёбу" [Иванов 1983:93].

Функция йотированных букв в древних славянских письменных памятниках определяется так же, как и в современных восточнославянских языках, где буквы **е, ю, я** обозначают мягкость предшествующего согласного. Начиная с известной статьи Л.Л. Васильева, ставшей орфографическим обоснованием для теории А.А. Шахматова о полумягкости и вторичном смягчении праславянских полумягких согласных [Васильев 1913:181–206], считается, что в рукописях, в которых обозначалась мягкость согласных, йотированные гласные буквы последовательно употреблялись после букв р, л, н, с, з, обозначавших так называемые исконно мягкие согласные, возникшие в результате палатализаций заднеязычных и йотовой палатализации сонорных. Так, в Остромировом евангелии известно в общей сложности 43 написания с ꙗ, ѩ после р, л, н, с, з, обозначавших мягкие согласные (в остальных случаях пишется ѧ), например, **хоулꙗахъ** (л. 179 об.), **вс́ꙗкого** (л. 2), **поустыньѧ** (л. 98 об). В Изборнике 1073 г. подобные примеры также находятся в большом количестве [**мнꙗше** (л. 5г), **срамлꙗи сѧ** (л. 48в), **хранꙗштиимъ** (л. 8б), **прикмлꙗ** (л. 84г) и т.д.], причем после л, н (из **lj*, **ni*) в Изборнике 1073 г. могли употребляться одновременно и йотированные, и "крюк" над предшествующим согласным: **ꙗвлꙗѥть сѧ** (л. 9б), **осрамлꙗющаго** (л. 5б), **оставлꙗти** (л. 6б) и так далее. Большой материал дают также сборник 13-ти слов Григория Богослова (XI в.), Пандекты Антиоха, Синайский патерик, Чудовская псалтырь, Житие Кондрата, Евгениевская псалтырь, Архангельское евангелие, Новгородская служебная минея 1097 года, отдельные примеры содержатся в Путятиной минее, новгородской служебной минее 1096 года и в рукописях XII века, таких, как Добрилово евангелие (1164 г.), Сборник поучений, Монастырский устав, подробно разобранных с этой точки зрения Л.Э. Калнынь [Калнынь 1956:138–145]. Буква ꙗ часто пишется после "мягких" л, н третьим писцом мало пока изученной Бычковско-Синайской псалтыри (конец XI – нач. XII века)[2]: **землꙗ** (nom. sg., лл. 43, 58 об., 60), **землꙗ** (gen. sg., лл. 52, 56 об.), **нꙗ** (лл. 63, 102), **вышьнꙗаго** (л. 69 об.), **нꙗковлꙗ** (л. 68 об.), **орлꙗ** (л. 91 об.), **изгонꙗхъ** (л. 89), **гн҃ꙗ** (л. 46 об.), **оудалꙗющии сѧ** (л. 55), **идамлꙗ** (acc. plur. fem., л. 5б об.), всего 35 однотипных примеров, 1 раз встретилось написание буквы ѩ после л: **(въ) землѩ** (л. 134 об.). Мягкость л, н, а также р, могла передаваться и с помощью особой диакритики, наиболее подробно описанной В.С. Голышенко [Голышенко 1987: 20–22].

---

[1] Ср.: [Бурмистрович 1995; Живов 1996:178–202].

[2] Часть рукописи известна под названием Бычковской псалтыри и хранится в Петербурге (ГНБ, Q. п. I.73), два других отрывка находятся в рукописном собрании монастыря Св. Екатерины на Синае (Sin. Slav. 6/0 и Sin. Slav. 6/N). История изучения памятника кратко описана: [Кривко 1996:30–34]. Примеры, взятые из большей (135 лл.) синайской части рукописи (Sin. Slav. 6/0), приводятся по фототипическому изданию: [Altbauer, Lunt (ed.) 1978]. Шифр большей синайской части здесь и далее в статье не указывается. Меньшая синайская часть (Sin. Slav. 6/N, 17 лл.) цитируется также по фототипическому изданию: [Tarnanidis 1988:249–281].

Длительное время считалось, что только с конца XI века, за редкими исключениями, йотированные буквы начинают использоваться после букв, обозначавших праславянские полумягкие, что объясняется происшедшим во второй половине XI века вторичным смягчением полумягких и появлением силлабем, как их понимал Р.И. Аванесов [Аванесов 1970: 278–299], который, в отличие от автора термина, Р.О. Якобсона, не относил начало периода силлабем к праславянской эпохе.

Материал большого количества источников показывает, что закономерности употребления йотированных букв в древнерусских памятниках XI–XII веков сложнее, чем полагал Л.Л. Васильев: прежде всего, не только йотированные буквы, но и буквы **ѧ, є** могли употребляться после **л, н** (из **lj, *nj*) и **с, з (ѕ)** (из праславянских сочетаний **χ, *g* с гласными переднего ряда) как в памятниках, передающих мягкость **л, н** (из **lj, *nj*), а иногда **р** и даже **жд**, с помощью "крюка", так и в тех рукописях, где особая диакритика для выражения мягких согласных не использовалась. Как правило, в древнерусских источниках XI–XII веков мягкость согласных передавалась не везде одинаково последовательно, причем ее обозначение "проведено более последовательно в памятниках, употребляющих в качестве знака ' или исключительно крюк или крюк наряду с йотированными буквами... В памятниках с крюками редки случаи написания йотированных букв после согласных, не имевших исконной мягкости. В памятниках, передающих мягкость с помощью йотированных букв, обозначение мягкости проведено менее последовательно. Здесь шире известно употребление йотированных букв после согласных, не имевших исконной мягкости" [Калнынь 1956:138–145]. В рукописях, где передается исконная мягкость согласных, ее обозначение проведено часто, но не везде.

Среди памятников XI–XII веков есть и такие, в которых исконная мягкость вообще не обозначается: после согласных в соответствии со звуком [а] в рефлексах сочетаний **Cja* и **Cję* пишется **ѧ**, в соответствии со звуком [е] в рефлексах сочетаний **Cje* – **є** (где *C* – всякий согласный), а буквы **ꙗ, ѥ** употребляются лишь для обозначения соответствующих йотированных гласных. К таким рукописям относятся Изборник 1076 года, Постная триодь XI века, мартовская служебная минея XI века, третий почерк Синайского патерика, один из почерков июльской служебной минеи XI–XII веков, Служба Иерофею Афонскому (XI–XII вв.), Юрьевское евангелие 1120 года, Стихирарь праздничный 1163 года [Калнынь 1956:145; Голышенко 1987:57], а также части Бычковско-Синайской псалтыри, написанные ее первым и вторым писцами: **сътрѧсеть** (л. 4), **гн҃ѧ** (gen. sg., л. 1 об.), **избавлѧꙗ** (л. 11), **хранѧщаѧ** (л. 5 об.), **творѧщими** (л. 3), **творѧщаѧ** (л. 10), **вьсѧ** (л. 2), **ст҃ынѧ** (gen. sg., л. 4 об.), **вьсѧкъ** (л. 7), **землѧ** (nom. sg., л. 25 об.), **гн҃ѧ** (nom. sg., Sin. Slav. 6/N, л. 5), **посрамлѧють сѧ** (л. 10 об.) и так далее (первый писец); **тьрпѧщии** (л. 13 об.), **обрѧщеши** (л. 13 об.), **наслѣдѧть** (лл. 13 об., 14 об.), **насладѧть сѧ** (л. 14) и так далее (второй писец). Г. Лант вслед за Н.Н. Дурново считал эту тенденцию основной для славянских памятников [Lunt 1949:82–93; Lunt 1955:20–22], а по замечанию самого Н.Н. Дурново, основополагающее для теории полумягкости предположение Л.Л. Васильева, "что в произношении некоторых писцов согласные перед **ѧ** не были мягки, основано на ошибочном толковании правописания памятников" [Дурново 1924б:89].

Во многих рукописях XI века, передающих мягкость **л, н, р, с, з (ѕ)** с помощью йотации, встречаются случаи написания йотированных букв не только после "исконно мягких" **л, н, р, с, з (ѕ)**, но и после согласных букв, обозначающих так называемые полумягкие. В датированных рукописях середины XI века такие написания, как правило, единичны: так, в Изборнике 1073 года лишь дважды употребляются йотированные гласные не после **л, н, р, с, з**: **оумножитє, глоумꙗшта сѧ**; в Остромировом евангелии – шесть таких примеров: **бꙗахѫ** ("fuerunt", лл. 3 об., 11), **хотꙗаше** (л. 18), **идꙗаше** (л. 4 об.), **идꙗста** (л. 5 об.), **видꙗахоу** (л. 16); в недатированной точно

рукописи 13-ти слов Григория Богослова (XI в.), известен лишь 1 пример: **вѥликыихъ** (л. 204 а).

Значительно больше таких написаний в Новгородской служебной минее 1097 года: **сътѩжахомъ** (л. 280), **тѩ** (л. 280), **памѩть** (л. 281), **сподобѩ сѧ** (л. 281), **съвѩжеша** (л. 275), всего более 20 примеров [Калнынь 1956:145; Колесов 1980:86], которые уже нельзя считать единичными исключениями, свойственными рукописям второй половины XI века[3]. Более того, среди памятников XI века выделяется целая группа источников, в которых йотированные буквы часто используются не после **л, н, р** (из **lj, *nj, *rj*) и **с, з (ѕ)** из **χ, *g* после гласных переднего ряда. В Архангельском евангелии, наряду с последовательным обозначением **л, н** (из **lj, *nj*) (**римлѩнынѧ** (л. 137), **крстѣлѩ** (л. 82 об.), **нижньнѩаго** (л. 119) и в других случаях [Калнынь 1956:140]), написания типа **мѩ, времѩ, имѩ** являются обычными, кроме того, исследователями отмечены такие примеры, как **блоудѩ** (л. 17), **идьѧста** (л. 83), **оцьтьѧно** (л. 114), **беремѩ** (л. 139), **исходьѧаше** (л. 150), **мѩккы** (л. 154), **по пенѩзю** (л. 159) [Калнынь 1956:142; Дурново 1923–1924:601, 603].

Более показательны примеры из Путятиной минеи: **въ пелкнаахъ** (л. 97), **въсплкскаша** (л. 12), **колксе** (л. 12 об.), **плктоша** (л. 23), **апостолк** (лл. 31, 35), **клкноу** (л. 87 об.), **дѣлксемь** (л. 37), всего 13 примеров [Калнынь 1956:145]. По мнению В.В. Колесова, эти примеры отражают вторичное смягчение полумягкого [l'], которое предшествовало смягчению остальных полумягких, так как, наряду с [r'], [n'], [s'], [z'], у этого звука была мягкая пара [Колесов 1982:85]. Однако и до конца XI века йотированные буквы могли писаться не только после согласных, имевших мягкую пару. В Минее Дубровского йотация является обычным способом обозначения всякого диезного согласного, кроме шипящих и аффрикат [Колесов 1982:84], всего в этой рукописи встречается 40 подобных написаний: **оуѩзвѩкмъ** (л. 4б), **изѩщтьне** (л. 7а), **прозѩве** (л. 9а–б), **клѩтвьнок** (л. 9б), **памѩть** (л. 13а), **просѩштинмъ** (л. 4б), **плодѩштиѩ** (л. 7а), **д҃шегоуѩште** (л. 10б), **хвалѩштаѩ** (л. 14б), **сѩ** (12 раз), **тѩ** (8 раз), **мѩ** (л. 8б), **дрѥвоу** (л. 4а), **прѥострами** (л. 4а), **непрѥборимъ** (л. 4а), **потрѥбителю** (л. 4б), **прѥстоиши** (л. 6а), **прѥславьне** (л. 8б), **прѥмоудро** (л. 9б), **прѥходить** (л. 9б), **нѥпорочьнаѩ** (л. 11а–б), **вѥлиѩ** (л. 4б), **чудѥсьми** (л. 4б), **прѥблаженѥ** (лл. 4б, 9б), **зѥмлю** (л. 14а), **зѥмли** (л. 15б), **принесѥ** (л. 7б), **прѥвъзидѥ** (л. 14б). Убедительные примеры встречаются также в Житии Феклы [**идѩахоу** (л. 1б), **живѩаше** (лл. 2б), **ѣдѩаше** (л. 2б)) и в Листке Викторова (**хо(?)тѩаху** (л. 1б)] [Тот 1985:95, 157, 159–160]. Йотированные буквы в большом количестве употребляются в Пандектах Антиоха, но определить какие-либо закономерности в их написании после определенных согласных букв невозможно, так как все пять писцов этой рукописи[4] допускали значительные колебания в использовании йотации. Особенно это касается второго писца, написавшего большую часть рукописи (198 лл.), орфография которого варьируется значительнее, чем у остальных четырех писцов [Popovskij 1989:48–50, 93–96]. Так, на написанных вторым писцом Пандектов Антиоха листах 18 об.–29, 32–64 отсутствует йотация букв **є, ѫ**, а на лл. 123–164 буквы **ѥ, є** и **ѩ, ѫ** хотя и употребляются, но без каких-либо закономерностей [Popovskij 1989:50–51]. Буква **ѩ**, согласно примерам И.Х. Тота, только на лл. 18 об. – 26 об. (в так называемой одноеровой части рукописи) 76 раз написана после букв согласных, причем не только

---

[3] Наиболее распространено мнение, принятое и в новейшей академической грамматике древнерусского языка, что вторичное смягчение полумягких произошло во второй половине XI века. См.: [Древнерусская грамматика 1995:30–31; Иванов 1983:93; Калнынь 1956:120–151].

[4] Количество почерков установлено Й. Поповским в его монографии, посвященной этой рукописи [Popovskij 1989:45].

после р, л, н, с, з: сьтѧжите (лл. 18б, 24а), присвѧноухь (л. 19б), дрѧселоуѧ (л. 29б), дрѧхлобльшьн • (л. 20б), вѧжѧ (л. 21а), сьтѧживь (л. 23а), проклѧть (л. 23а), грѧдоуштинхь (л. 24а), сьтѧжите (л. 25а), вьзѧтие (л. 25б), хотѧштен (л. 25а), хотѧштоумоу (л. 23б), любѧи (л. 26а), насытѧть (л. 22б), вьстѧгновлениѧ (л. 21а) и так далее [Тот 1985:80–81, 149–150; Калнынь 1956:142]. Ранее неоднократно высказывались предположения, что Пандекты Антиоха переписаны с глаголического оригинала [Амфилохий (архимандрит) 1895:92; Дурново 1924а:80], искусствоведы отмечают сходства в оформлении Пандектов Антиоха и глаголических Мариинского и Ассеманиевого кодексов [Пуцко 1987:50], наличие глаголического протографа для Пандектов Антиоха доказывал Й. Поповский [Popovskij 1989], а как известно, в глаголице не было буквы, соответствовавшей кириллической ѧ[5]. Поэтому йотация в Пандектах Антиоха никак не может быть объяснена влиянием протографа, а является яркой чертой "индивидуального подхода" [Popovskij 1989:93] писцов рукописи к выражению на письме тембровых характеристик древнерусской фонологической системы.

Интерпретация фонологического значения йотированных гласных с позиций теории полумягкости согласных, хотя и неоднократно применялась в лингвистическом описании отдельных рукописей (например, [Зубова 1975:13–25]), уже давно вызывала сомнения у исследователей (например [Булаховський 1965:62–63]), поскольку "очевидно, что опубликованные в печати сведения относительно различения писцами рукописей XI–XII вв. исконной мягкости и полумягкости согласных не являются надежной основой для определенных выводов" [Малкова 1980:81]. Понимая это, автор теории праславянской полумягкости А.А. Шахматов не опирался на данные письменных источников и относил вторичное смягчение к праславянской эпохе [Шахматов 1915:125–127], а В.В. Иванов, учитывая сложность вопроса и непоследовательность письменных данных, попытался освободить нижнюю грань относительной датировки явления от зависимости от письменных данных, полагая, что "полумягкие приобрели полную степень мягкости... приблизительно к середине XI в." [Иванов 1968:192]. Известно, что для того, чтобы языковое явление нашло себе место на страницах рукописей, то есть получило бы право на существование в книжном языке хотя бы на правах о ш и б к и – отклонения от нормы, оно должно какое-то время прожить в разговорном языке. Поэтому единичные, но все же убедительные примеры употребления йотированных букв после согласных букв д, т, м, б только лишь в Остромировом евангелии и Изборнике 1073 года должны были бы свидетельствовать о более раннем, чем вторая половина XI века, начале периода силлабем, как их толковал Р.И. Аванесов.

Письменные источники ясно показывают, что йотация в древних славянских памятниках никак не может быть последовательно связана с теорией вторичного смягчения полумягких. В.С. Голышенко, исследовав на монографическом уровне материал большого количества рукописей, пришла к выводу, что "вторичное смягчение согласных произошло раньше того времени, от которого дошли до нас древнейшие письменные источники" [Голышенко 1987:132]. Этому утверждению противоречат материалы Галичского евангелия 1144 года [Блохина 1976:21] и третьего почерка Бычковско-Синайской псалтыри, где йотированные буквы последовательно и без исключений употребляются после "мягких" л, н (из **lj, *nj*), а это заставляет предполагать, что различие между позиционными вариантами твердых согласных перед гласными переднéго ряда и так называемыми исконно мягкими согласными сохранялось даже в XII веке, а по мнению В.М. Живова, такое различие имело место вплоть до падения редуцированных [Живов 1966:185–186][6].

---

[5] Как писал Й. Поповский, в первоначальной форме (ursplünglichen Form) глаголицы не было знака для прейотации [Popovskij 1989:93].

[6] Ср. приводимое В.М. Живовым наблюдение С.Л. Николаева, что в псковских говорах прояснение **ь* перед мягкими сонантами (из **lj, *nj* и новых йотованных) происходило иначе, чем перед теми же сонантами, но не исконно мягкими: [Николаев 1988:121, 125].

Чтобы объяснить фонетическое и фонологическое значение йотированных букв, необходимо проследить историю и причины их возникновения. В глаголице не было особой системы йотации как средства для выражения на письме тембровой характеристики звука. Несмотря на то, что глаголическая азбука содержала три буквенных знака для одного звука [i], ни один из этих знаков не использовался для письменного обозначения палатального приступа в произношении носовых звуков [ʲę], [ǫ], которым в кириллице соответствовали буквы ѧ, ѫ[7]. Отсутствие в глаголической азбуке йотированных букв и появление в кириллице знака ѥ связывается с двумя лингвистическими ареалами, в которых по-разному проявились результаты йотовой палатализации *l и *n: в Западной Болгарии произошло полное слияние йота с плавными, на востоке же Болгарии, на родине кириллицы[8], мягкость плавных выделилась в особую артикуляцию [Трубачев 1992:500–501; Пенкова 1969:404–407; Lunt 1955:25–27][9]. Строго говоря, оказывается, что палатализация произошла только в западном ареале, а на востоке *l и *n пережили йотацию, то есть отчетливое выделение неслогового глайда [Дюрен 1977:74–82], что и явилось одной из внутренних языковых причин для введения в кириллическое письмо знака ѥ в Преславе. Обозначение в кириллических памятниках палатального плавного с помощью диакритических знаков крюка (в буквах ѧ, ѩ) или заимствованной из глаголицы каморы, закрепленных за согласными, основано на западно-болгарском и македонском произношении, которое легло в основу глаголического письма, тогда как на востоке южнославянского ареала, в преславских памятниках, для обозначения палатальности по образцу греческой йоты (ι) стали писать знак ѥ[10]. Поэтому И. Гылыбов справедливо считал, что употребление йотированных букв является характерной чертой преславской книжной школы, по его классификации, одной из четырех древнеболгарских книжных школ [Гълъбов 1968: 141; Гълъбов 1980:21–33]. Известные в славянских памятниках случаи раздельного написания славянского (ı) с буквой гласного [Каринский 1925:13] не только лишний раз указывают на алфавит – источник кириллицы, но и убедительно передают произношение, господствовавшее среди книжников Восточной Болгарии [Трубачев 1992: 501].

Необходимо учитывать, что из глаголических рукописей только Зографское евангелие последовательно передает палатальность [l'], [ń] [Shevelov 1979:178] с помощью каморы [Lunt 1955:22], редко и менее последовательно палатальные [l'], [ń] обозначены в Мариинском евангелии [Shevelov 1979:178]. Хотя кириллическое письмо обладало, кроме йотированных букв, широким набором диакритических знаков для

---

[7] Структура и функции глаголических букв для носовых [ʲę], [ǫ] рассмотрены в [Гълъбов 1986:197; Колесов 1973:171–174], а также [Marti 1984]. Работа Р. Марти, на которую автору указал В.М. Живов, опубликована в издании, недоступном в московских библиотеках.

[8] Вопрос о более раннем происхождении глаголицы по сравнению с кириллицей и о месте возникновения последней на сегодняшний день, в целом, решен, хотя до сих пор высказываются серьезные мнения, отличные от приведенного в настоящей работе. См. обзор и литературу: [Хабургаев 1994:109–112 и др.; Подскальски 1996:105, 112].

[9] Теория о разных исходах йотовой палатализации в этих лингвистических ареалах подтверждается данными современных говоров Македонии, Западной и Восточной Болгарии: [Тотоманова 1992:3]. Типологические параллели прослеживаются в современных словацких *viek, vjerití*, лужицких *vjasoly, svjaty*. В спаловском говоре моравско-словацкого ареала характерно произношение *mńilý, mńisto*, на юго-западе Чехии и в юго-западной части чешско-моравской переходной зоны часто отмечается показательное для данного случая произношение $m^{ňlj}$, например, *mňaso/mjaso* и тому подобное. См.: [Чекман 1979:76]. Сюда же относятся украинские *п'ять, м'ясо, дев'ять* и др.

[10] В целом ряде исследований неоднократно доказывалось, что первый славянский кириллический алфавит из йотированных букв содержал только ю [Селищев 1951:39, 56; Карский 1979:168; Лавров 1914:7; Дурново 1933:57; Тот 1985:146, 170; Голышенко 1987:22–25], происхождение которой, в отличие от других йотированных букв, неясно [Голышенко 1987:22–26, 30]. Многие исследователи указывают, что функционально буква ю отличалась от появившихся позднее других йотированных букв, так как она могла обозначать особый звук [ü] безотносительно к обозначению мягкости [Фортунатов 1919:17; Щепкин 1967:28; Ван-Вейк 1957:68, 116, 128, 129; Голышенко 1987:28].

обозначения тембра звука, параллельное существование безъйотового глаголического письма, где палатальность в границах слога обозначалась с помощью каморы (факультативно в большинстве памятников), оказывало ощутимое влияние на орфографию кириллических рукописей[11], в том числе восточнославянских. Именно отсутствием буквенного способа для обозначения тембровых характеристик звуков объясняются следующие написания Реймсского евангелия, не знающего йотированных букв, кроме ѥ и два раза встречающейся ю: **сьблоудаше** (л. 9в), **лоуди** (л. 4в), **лѫдии** (л. 7а), **сьблѫдаше** (л. 5б), **поклонѫ сѧ** (л. 7б), **на нѫ** (л. 15б), **землоу** (л. 15а), **изгоноу** (л. 11б), **всѫдоу** (л. 31), **вьсѫ** (л. 9в), **поустъіноу** (л. 16а) и так далее [Тот 1985:107, 148; Миронова 1996:38, 42, 78]. Аналогичные написания встречаются в Златоструе Бычкова [**вьса** (л. 2а), **вьсакъ** (л. 12а)] и в Чудовской псалтыри (**вьсѫ** (л. 14б) [Миронова 1996:37, 38, 42–43]. Такие написания встречаются и в упоминавшейся выше Бычковско-Синайской псалтыри: у первого писца – **млстъіноу** (л. 8), **лоутъ** (л. 20); у второго писца – **изла** (л. 67), **кънѧзꙋ** (конец строки[12], Sin. Slav. 6/N, л. 15об.). В.В. Колесов обнаружил схожие примеры в Толстовской псалтыри: **приравнѫть** (л. 3), **приравьнаѥть сѧ** (л. 153об.), **помъішлааше** (л. 179) – и в Изборнике 1073 года: **до недѣла, землоу, на ноу, прѣмъішлаи** [Колесов 1980:90–91]. А.А. Зализняк признал, что убедительного объяснения таким написаниям пока еще не существует и поэтому оставил отмеченные им в новгородских грамотах аналогичные примеры без толкования: **послоу** (№ 421), **соуждалоу** (№ 675), **пецалоу сѧ** (№ 717), **присълоу** (Смол. 12) [Зализняк 1995:64]. Примеры, подобные приведенным выше, известны и в южнославянской письменности: **в'са, в'сакъ, пѣнѧзоу** (Саввина книга); **вьса, неклоучимъ** (Супрасльская рукопись) [Ван-Вейк 1957:130–133, 181]. Влияние безъйотовой орфографии, основанной на западных говорах южнославянского ареала, скорее всего, сказалось и на орфографии бытовой берестяной письменности. Очевидно, именно поэтому в новгородских грамотах ранних веков буквы ꙗ нет, а вместо нее везде используется ѧ[13] вплоть до конца XIII века – в буквальном смысле единичные исключения содержатся в грамотах № 400 и Пск. 6. То же относится и к употреблению буквы ѥ, которая во всей новгородской берестяной письменности до середины XIII века встречается всего в восьми грамотах, в каждой по разу, причем в трех из них – наряду с є [Зализняк 1995:26–27].

Нормализация употребления йотированных букв после палатальных согласных связана с восточноболгарским языковым ареалом, где зародилась преславская книжная традиция. При восприятии этой традиции в древнерусских рукописях йотация получила иное фонетическое содержание, чем в восточной Болгарии. Последовательное употребление йотированных букв после л, н, р, с, з (ѕ), обозначавших праславянские палатальные *l', *ń, *r', *ś, *ź, связано с тем, что у этих звуков, как у "более мягких", глайд, в соответствии с законами общей фонетики, был выражен отчетливее, чем в сочетании других согласных с передними гласными [Зиндер 1979:132], а употребление

---

[11] Интересна также статистика, приводимая И.Х. Тотом относительно употребления йотированных букв в сохранившихся южнославянских кириллических рукописях, ни одна из которых не содержит в своей графике все четыре возможных йотированных буквы (ꙗ, ѥ, ѩ, ѭ). Надо думать, это должно объясняться прежде всего частичной сохранностью самих рукописей, чего И.Х. Тот не учел. Однако показательно, что древнерусские памятники с четырьмя йотированными буквами все же сохранились, и в относительно немалом количестве: из наиболее ранних это Остромирово евангелие, Изборник 1073 года и Изборник 1076 года, Новгородские (или Куприяновские) листки, Евгениевская псалтырь и Туровские листки (статистика в: [Тот 1985:144]).

[12] В основном тексте (то есть не в гадательных приписках) Бычковско-Синайской псалтыри буква ꙋ используется как сокращенный вариант диграфа оу в конце строки и над строкой в случаях пропуска букв или слогов.

[13] Наблюдение О.Н. Трубачева [Трубачев 1992:500] (Там же указана литература: [Палеографический... 1955:68–69; Янин, Зализняк 1986:97]).

в древнерусских памятниках йотированных букв после любых согласных указывает, строго говоря, на неверное использование графического приема преславской школы: у восточных славян йотовая палатализация прошла иначе, чем на востоке южнославянских говоров, поэтому многие восточнославянские писцы нашли другое применение для йотации. Она стала выражать аккомодацию согласного последующему гласному переднего ряда, которая состоит в том, что между согласным и гласным возникает глайд различной степени напряженности. Возможно также, что знак ꙗ обозначал диезное звучание гласного в целом, как бы он ни произносился, [ü] или [ˈu], [ä] или [ˈa] [Голышенко 1987:31].

Такой взгляд на фонетическое значение йотированных букв позволяет объяснить известное в древнерусских рукописях одностороннюю замену ѣ буквой ѥ и дать этому факту возможное фонологическое объяснение. Внутристрочный элемент ꙗ, передававший палатальный приступ в произношении гласного звука, был графическим знаком для обозначения диезного аллофона древнерусской гласной фонемы. Следовательно, йотированная буква ѥ в таком случае обозначала гласный звук переднего ряда с более *сильной палатальной артикуляцией, чем обычное* [е] *среднего подъема. Поэтому* древнерусский звук [ě] или дифтонг [i͡e], обычно обозначавшиеся на письме буквой ѣ, после палатальных согласных и в позиции начала слога, то есть после [j], могли передаваться с помощью буквы ѥ, становившейся в этой позиции равнозначной букве ѣ. Такая односторонняя мена ѣ на ѥ была невозможна в древнеболгарских рукописях, где ѣ обозначал звук [ä], но зато в древнерусских памятниках она представлена широко, например, у первого писца Бычковско-Синайской псалтыри: **ѥстъ** (supinum, л. 38), **ѥмь** (**мѧса**) (л. 29 об.). В последнем случае начальное ѥ написано без йотации, что представляет собой отголосок "безъйотовой" орфографической традиции, как в рукописи 13-ти слов Григоря Богослова (XI век): **ѣдь** (л. 96 в) [Дурново 1926–1927 (Кнь VI): 41–42]. Похожие примеры, во множестве описанные Н.Н. Дурново, встречаются в Остромировом евангелии, Туровских листках, Изборнике 1073 года, Синайском патерике, Чудовской псалтыри, Пандектах Антиоха, втором почерке Архангельского евангелия, новгородских служебных минеях 1095–1097 годов [Дурново 1926–1927: 41–42]. Графической дублетностью букв в позиции начала слога и после палатальных согласных можно объяснить одностороннюю мену ѣ на ѥ/є в неполногласных сочетаниях **прѥ-/дрѥ**, встречаемую довольно часто, например, в Минее Дубровского (если предположить, что в языке писца совпали "исконно мягкое" и "смягченное" [г]) и в написаниях типа **ѿ братиѥ** (Мстиславово евангелие), **пленениє** (Минея 1096 г), **ицелении** (Минея 1096 г), **довълєєть** (Ефремовская кормчая XII века) и в различных *надписях новгородского происхождения* [*Филин 1972: 166, 169–170*], а также, например, в Выголексинском сборнике, где буква ѥ употребляется почти исключительно на месте ѣ в позиции после букв, обозначавших палатальные плавные [Гальченко 1996: 289]. Даже в тех новгородских "грамотах, где в прочих позициях ѣ всегда пишется этимологически правильно, сочетание [jê] (то есть [е] после палатального – *Р.К.*) может быть передано через ѥ или є... По-видимому, в позиции после [j] противопоставление фонем /е/ и /ê/ могло нейтрализовываться в пользу /е/" [Зализняк 1995: 23].

Ф.П. Филин считал, что эти написания отражают параллельную мену, или аллофонное варьирование, различных оттенков фонемы /ě/ [Филин 1972: 166, 169–170], то есть явление строго фонетическое, не отражающее системных реалий. Однако приведенный материал показывает, что односторонняя мена буквы ѣ на ѥ отражает перекрестную мену двух фонем, совпадение комбинаторного оттенка фонемы /е/ с основным вариантом фонемы /ě/. Иначе говоря, здесь наблюдается нейтрализация оппозиции по подъему двух гласных фонем в позиции после палатального согласного или в начале слога после палатального глайда [j]. В результате такого совпадения

буква ѥ, ее вариант є и буква ѣ становились частичными дублетами графико-орфографической системы[14].

Таким образом, оказывается, что особенности употребления букв ꙗ, ѥ, ѧ, є в древнерусских памятниках не было связано со вторичным смягчением полумягких согласных. В то же время, по наблюдениям В.В. Колесова, варьирование комбинаторных оттенков фонемы не отражается на письме [Колесов 1982: 4], орфографическое воплощение получают только те процессы, которые отражают отношения на фонологическом, реляционном уровне. Поэтому йотированные буквы, в графической системе обозначая аллофон гласной фонемы, на уровне орфографии, которая всегда связана с различными типами фонемных отношений [Колесов 1982: 56–57], служили для выражения особых фонологических оппозиций. Чтобы установить эти отношения и объяснить принцип использования в древней славянской письменности йотированных букв, нужна особая теоретическая модель общеславянской фонологической системы, не использующая понятий полумягкости и вторичного смягчения.

Вместо терминов "мягкость" и "полумягкость" предлагалось использовать более корректные с фонетической точки зрения понятия "фонетическая" и "фонематическая мягкость" [Калнынь 1961: 18 и далее]. Действительно, типологическое поле варьирования согласных перед гласными переднего ряда велико, от невеляризованных твердых до заднепалатальных заднеязычных типа русских и украинских диалектных [к′], [г′], русских диалектных [cˣ′], [зˠ′] и польских диалектных аффрикат [c′], [z′] и фрикативных [s′], [z′][15]. В сравнительных исследованиях указывалось, что русские палатализованные звучат мягче, чем болгарские [Громова 1981: 39–40]. Типологической моделью праславянского консонантизма с частично палатализованными могли бы быть украинские согласные, имеющие три степени смягчения в зависимости от качества самого согласного и последующего гласного [Сучасна... мова 1969: 178–179, 182]. Г.Ф. Шило характеризовал палатализованность украинских заднеязычных перед [і] как н а п і в п о м ’ я к ш е н н і с т ь [Шило 1948: 230] – п о л у м я г к о с т ь, однако все эти различия имеют чисто фонетический, позиционный характер [Сучасна... мова 1969: 224, 239]. Богатый материал представляет также литовский язык, где один и тот же согласный, в зависимости от следующего гласного, может иметь две степени палатализации: "Мягкость литовских согласных... на акустическом уровне определяется качеством следующего гласного... В случае ассимилятивного смягчения согласного степень его палатализации возрастает от позиции перед более задним гласным к позиции перед более передним... В тех же случаях, когда мягкость согласного является его собственным качеством, признаки палатализации ярче выражаются в слогах с более задними гласными, восприятие мягкости определяется выраженностью слоговых контрастов" [Балшайтите 1987: 16; ср.: Грамматика... 1985: 34–35; Otrębski 1958: 120, 309]. Подобно украинскому языку, в литовском языке различие в реализации признака палатализованности не является фонематически релевантным, а определяется полем рассеивания, вариативностью одного и того же дифференциального признака – палатализованности, или мягкости, которая противопоставляется твердости, имеющей в литовском языке, как и в русском, артикуляционную базу – веляризацию [Гирденис 1983: 2–3, 26, 42; Грамматика... 1985: 30, 39; Otrębski 1958: 119]. Таким образом, степень выраженности признака не может служить основой для

---

[14] Ср. аналогичные выводы о дублетности букв ѥ (є) и ѣ: [Гальченко 1996: 297]. Основанием для такой дублетности стали не только процессы, связанные с падением редуцированных и развитием нового ѣ, но и графическое неразличение букв ѥ и ѣ после букв палатальных сонантов л, н. По словам А.А. Зализняка, для новгородской бытовой письменности "...следует предполагать... что уже с XI века для фонемы /ê/ существовало два способа письменной передачи – ѣ (основной способ) и є (допустимый дополнительный способ)" [Зализняк 1995: 24].

[15] Подробный обзор и литература в: [Чекман 1979: 47–49]. См. также: [Кузнецова 1977: 68–69; Пауфошима 1961: 74–77; Czekman, Smułkowa 1988: 261–263].

его фонематизации[16], а именно это неоднократно предлагалось для праславянской фонетики в виде теории полумягкости и мягкости, или фонетической и фонематической мягкости. Фонемное различие между так называемыми полумягкими и исконно мягкими не было обусловлено степенью выраженности признака мягкости.

Дело в том, что в результате праславянских переходных смягчений заднеязычных и после йотовой палатализации во всех славянских диалектах возник палатальный ряд: *č′, *d͡ž′, *š′, *ś, *ž′, *ć, *d͡z′, *t′ (*tˢʲ или *t͡ŝ в разных диалектах), *d′ (*d′ž′ или *d′ź), *rj, *l′, *ń, *pl′, *bl′, *ml′, *vl′ (или *lʲ, *nʲ, *pʲ, bʲ, *mʲ, *vʲ в Восточной Болгарии, где йотовая палатализация прошла иначе, чем у других славян) [Калнынь 1961: 7; Чекман 1973: 35–39]. У палатальных согласных их йотовая артикуляция является основной, а не дополнительной, как у палатализованных, поэтому палатальные согласные являются нейтральными по признаку тональности [Журавлев 1961: 40–42; 1963: 18] и образуют особый локальный ряд, находясь со своими непалатальными оппонентами в одномерных эквиполентных оппозициях [Трубецкой 1960: 144–146] и не составляя тембровую корреляцию [Horálek 1959: 57][17]. М. Комарек считал, что палатальные потому сохранились в чешском языке, утратившем после XIII века корреляцию согласных по твердости – мягкости, что они находились вне этой корреляции [Komarek 1954: 98]. Неразличение структурных особенностей палатальных и непалатальных согласных, о недопустимости которого писал еще Н. Ван-Вейк [Ван-Вейк 1950: 304–305], стало основой представления о полумягкости, отличающейся от эталонной, "полной", мягкости палатальных.

Палатальный ряд составили согласные, с которыми должны были бы совпасть праславянские полумягкие, однако, например, в большинстве диалектов русского языка произошло как раз обратное, то есть палатальные утратили свою основную артикуляцию и совпали с палатализованными, вступив в итоге в корреляцию по твердости – мягкости. Вместе с тем частичное сохранение архаического палатального ряда в белорусском и польском языках и даже в некоторых украинских и русских говорах [Чекман 1973: 8; Чэкман 1970: 14–15] не противоречит корреляции по твердости – мягкости, хотя и сокращает естественным образом количество входящих в нее оппозиций. Если праславянские согласные перед гласными переднего ряда были на самом деле палатализованными, то остается неясным, почему только после совпадения с ними палатальных возникли силлабемы, то есть произошла фонологизация признака мягкости внутри слога. Тогда начало периода силлабем – сочетаний согласного с гласным, нечленимых по признаку мягкость – твердость, – следует относить к более раннему, чем считал Р.И. Аванесов, периоду, как это делал Р.О. Якобсон [Jakobson 1929: 31–32]. Правда, недостаток теории Р.О. Якобсона заключается в том, что действие закона с л о г о в о г о сингармонизма, на котором была построена предложенная им модель, не объясняет механизм йотовых палатализаций. Именно это слабое место теории Р.О. Якобсона вызвало справедливую критику Н. Ван-Вейка [Wijk van 1941: 41–48]: развившиеся в результате ассимиляции с йотом согласные были нейтральными по признаку тональности, поэтому оказывалось, что праславянский сингармонизм, строго говоря, не был слоговым.

Непротиворечивая модель праславянской фонологической системы и взаимодействия палатальных и так называемых "полумягких" фонем была построена В.К. Жу-

---

[16] Обратная связь возможна. По данным общей фонетики, ярче выражен тот признак звука, который имеет фонематический статус: [Зиндер 1979: 132].

[17] Мысль о трех тембровых типах согласных – диезных, недиезных и палатальные – принадлежит Е. Петровичу, которого поддержал Р.О. Якобсон [Якобсон 1962]. Ср. иной взгляд на проблему: [Калнынь 1961: 9–11 и далее; Толстая 1977]. Как показал В.В. Иванов, мнение, что палатальные и непалатальные согласные могут образовывать тембровую корреляцию, основано на широком и неопределенном толковании понятия корреляции А.А. Реформатским: «"Коррелятивные оппозиции основаны на совпадении... признаков, кроме одного, который и служит дифференциальной диакритикой"... Однако такое расширенное понимание корреляции логически требует отрицания нейтрализации» [Иванов 1968: 150–151], важнейшего интегрирующего фактора фонологической системы (см. [Журавлев 1987: 19, 124–125]).

равлевым в его теории о трех типах праславянских группофонем [Журавлев 1961; 1963; 1967]. Суперсегментное решение задачи о различительной роли тембра в праславянском языке неизбежно, так как для фонологической системы того периода, по образному выражению литовского фонолога А.-С.А. Гирдениса, "нельзя обнаружить фокус излучения" [Гирденис 1983: 43] исследуемого дифференциального признака в сочетании согласного с гласным, которое было нечленимым по признаку тембра. Хотя этот признак и был смыслоразличительным, однако он не мог быть отнесен отдельно ни к гласному, ни к согласному. Для праславянской фонологической системы невозможно также принять третий вариант описания, а именно выделение в качестве самостоятельной фонетической или даже фонематической единицы палатального глайда, ^{j}, при котором сегментация сочетания согласного с гласным будет следующей: C + ^{j} + V [Дукельский 1962: 29; Вийтсо 1963: 405–409; Гирденис 1983: 42]. В принципе допустимый в качестве объяснительной модели, этот вариант неприменим для праславянского языка, где палатальный глайд ^{j} всегда был позиционно обусловлен.

В праславянском языке после йотовой палатализации возникло три типа группофонем, в зависимости от качества согласного.

1. Первый тип образовывали группофонемы с твердым, или лабиовеляризованным, согласным перед непередним гласным [Журавлев 1963: 18–20 и далее], который можно назвать б е м о л ь н ы м типом.

2. Второй тип образовывали группофонемы с палатальным согласным, возникшим в результате праславянских палатализаций, этот тип В.К. Журавлев назвал н е й т р а л ь н ы м, в соответствии со структурой дифференциальных признаков согласного.

3. Третий тип составляли группофонемы, в которые входили согласные, пережившие в более раннюю праславянскую эпоху позиционное изменение перед гласными переднего ряда[18], хотя качество этого изменения до сих пор остается неопределенным.

Ссылаясь на результаты праславянских палатализаций заднеязычных, непосредственной причиной которых была аккомодация согласных гласным переднего ряда, многие исследователи полагают, что остальные согласные при этом стали палатализованными[19], однако недоказанность этой палатализации стала объектом критики в адрес теории В.К. Журавлева, основывающегося на том, что согласный перед передним гласным в праславянском языке был палатализованным[20].

Наиболее обширный материал в доказательство существования праславянских палатализованных собрала Л.Э. Калнынь, ссылаясь на те процессы в области вокализма, которые прошли в разных славянских языках под влиянием мягких согласных, как, например, в полабском языке перед согласными, за которыми в прошлом следовал

---

[18] В.К. Журавлев считает, что в результате такого взаимодействия в праславянском языке возникли палатализованные согласные: [Журавлев 1961; 1963; 1967].

[19] См., например: [Мейе 1951: 71–83; Ван-Вейк 1950: 304–305; Граматика 1991: 77–78; Vaillant 1950: 45–61]. Н. Ван-Вейк и вслед за ним К. Горалек считали, что после изменения **ě* в **a* в результате первой палатализации, а также после перехода [ě] в [a] в суффиксе восточнославянского имперфекта в праславянском языке сложилась корреляция по твердости – мягкости: [Wijk van 1937: 26; Wijk van 1934: 32–64; Horálek 1959: 53–57].

[20] Ф. Мареш отрицал наличие праславянских палатализованных, считая, что тембровые оппозиции фонологической системы общеславянского языка образовывались за счет гласных, и поэтому не мог согласиться с теорией В.К. Журавлева. См. особо выступление Ф. Мареша по поводу теории группофонем: [Phonologie 1967: 154]. Ср. схожие точки зрения, основанные на том, что действию определенной закономерности могут подвергаться в языке не все согласные, а только часть из них: [Koschmider 1958: 6–7; Lunt 1956: 310–311]. Х. Бирнбаум считает, что палатализованность праславянских согласных перед передними гласными не может быть доказана, равно как и опровергнута: ([Бирнбаум 1986: 104], см. там же литературу). Р.А. Крайчович обходит вопрос о качестве праславянских согласных перед гласными переднего ряда, но априорно утверждает, что смыслоразличительную роль по признаку тембра выполняли гласные [Krajčovič 1975: 55–58]. Г. Шевелов предполагал, что на юге восточнославянского ареала палатализованные были только перед [ä] из [ę] и перед [ě] [Shevelov 1979: 72–76].

слабый [ь], [ь] переходил в [ä], а [е] в [i] перед мягким согласным: *vǎs* ← **vьsь*, *gribinь* ← **grebenь*. Аналогичные явления исследователь показывает на примере кашубского, польского, чешского, лужицких языков [Калнынь 1961: 23–24][21]. Однако невозможно опровергнуть мнение, что эти процессы представляют из себя нейтрализацию двух группофонем, связанную с межслоговым тембровым взаимодействием: так, старочешское изменение [ä] в [а] и полабские переходы [ę] в [ą], [ě] через [а] в [о] могут быть объяснены как ассимиляции бемольному слогу, где качество согласного на самом деле не имело значения, а главную роль играла тембровая характеристика целого сочетания. Подобное ассимилятивное объяснение перехода *е* в *о*, типологически однородного упомянутым западнославянским изменениям, было впервые предложено Е.Д. Поливановым [Поливанов 1923], развито впоследствии И.Г. Добродомовым [Добродомов 1968; 1972], а относительно недавно многочисленные явления восточнославянского вокализма, связанные с действием межслогового сингармонизма, были специально рассмотрены в подготовленной под руководством И.Г. Добродомова диссертации И.А. Изместьевой [Изместьева 1995: 6 и далее]. В.К. Журавлев показал, рассматривая различные типы восточнославянского яканья, что они, хотя и развились гораздо позднее, обладают тем же типологическим сходством с описанными явлениями м е ж с л о г о в о г о взаимодействия. Само яканье обусловлено наличием в языке фонетически неделимых сочетаний согласного с гласным, что на фонологическом уровне может привести к взаимодействию между вокалическими и консонантными нейтрализациями [Журавлев 1987: 117].

Сравнительно-исторический метод представляет одну, пока не использованную, возможность в решении проблемы о качестве праславянских согласных перед гласными переднего ряда. Сторонники теории праславянского смягчения всех согласных недостаточно учитывают такую важную консонантную характеристику, как веляризованность, один из главных факторов бемольной тональности звука. Если существование праславянских палатализованных до сих пор не нашло убедительного подтверждения, то исконная веляризованность праславянских согласных пока никем не оспаривалась, ее следы обнаруживаются в современных славянских диалектах [Калнынь 1994: 75–76]. Коррелятом веляризованности в области вокализма является так называемая *ы*-образная артикуляция (по аналогии с й о т о в о й артикуляцией) непередних гласных. Бемольный сингармонизм в истории праславянского языка предшествовал диезному [Журавлев 1961: 33–40], что может быть показано на примере закона Педерсена, когда **s* переходило в **χ* только перед бемольными гласными, а перед диезными оставалось на стадии палатального **š'* [Collinge 1985: 144; Мейе 1951: 29–30, 80]. Наряду с лабиальной протезой перед бемольными гласными, которая развивалась в эпоху генерализации группофонем и развития бемольности как суперсегментного признака [Журавлев 1965], в восточнославянских языках и диалектах перед гласными заднего ряда – коррелятами веляризованных согласных – возникала фарингальная протеза *h* [Филин 1972: 296–299 (см. там же литературу); Shevelov 1979: 450–456].

Внимательное отношение к веляризованности согласных, а значит, к функциональной значимости бемольной тональности заставляет считать, что в основе праславянского изменения **k*, **g*, **χ* в свистящие и аффрикаты лежала скорее не п а л а т а л и з а ц и я, которая типологически вполне совместима с заднеязычной, или велярной, артикуляцией, а д е в е л я р и з а ц и я всех праславянских согласных перед гласными переднего ряда, которая и вызвала переход **k*, **g*, **χ* из велярного в палатальный локальный ряд. В таком случае верно мнение В.Н. Чекмана, что праславянская "полумягкость", а равно и неполное смягчение согласных, отмечаемое диалектологами в современных славянских диалектах, есть не что иное, как невеляри-

[21] После выхода работы Л.Э. Калнынь Э. Кошмидер, противник теории праславянских палатализованных, готов был согласиться с тем, что палатализованные были в праславянском языке позднего периода, или в "прамакедоноболгарском" [Koschmider 1966: 433–438].

зованность. Этот вывод подтвердился непосредственными наблюдениями над белорусскими, великорусскими и болгарскими говорами [Чекман 1979: 45–46].

Невеляризованность праславянских согласных и передний ряд гласных оказались взаимообусловленными признаками, и поэтому всякий невеляризованный согласный, возможный только перед диезным гласным, вошел в состав неразложимого по признаку тембра сочетания, то есть образовал с последующим гласным группофонему, которую можно назвать н е б е м о л ь н о й, поскольку она являлась оппонентом б е м о л ь н о й группофонеме с веляризованным согласным и гласным непереднего ряда. На фонетическом уровне признак небемольности имел широкое поле вариативности у согласных, от твердого невеляризованного до палатализованного, причем возможно, что позиционная палатализованность развивалась в тех диалектах, которые развили впоследствии корреляцию по твердости – мягкости, создавая на физическом уровне почву для последующих реляционных изменений. Следовательно, палатализация, как результат слогового сингармонизма, развивалась в славянских языках через ступень невеляризованности. В таком случае необходимо уточнить устоявшееся мнение относительно возникновения палатализованных согласных в румынском языке, которое считается результатом славянороманского языкового взаимодействия, начавшегося приблизительно с VI века, и даже иногда приводится в качестве типологической параллели для доказательства праславянской палатализации [Чекман 1979: 111–112; Патруць 1968: 23–29; Петрович 1958: 5–38; 1959: 12–19; Rosetti 1973: 9, 65, 85–86; Shevelov 1965: 159–161]. Поскольку палатализованность славянских согласных того периода не может быть доказана, а веляризованность как интегральный признак румынских согласных в выше перечисленных исследованиях не учитывается, то необходимо признать, что реальным результатом славяно-румынской интерференции стал слоговой сингармонизм по признаку тембра, а появление палатализованных в румынском языке было обусловлено отсутствием веляризации, что значительно ограничивало поле рассеивания тембрового признака диезности: она могла реализовываться только за счет палатализации. Такая ситуация не может считаться надежной типологической параллелью для праславянского языка, в диалектах которого предполагается возможное сосуществование фонематически равнозначных – диезных – палатализованных и невеляризованных согласных. Следовательно, румынскую палатализацию нельзя считать убедительным доказательством того, что к концу второй половины первого тысячелетия "позиционное смягчение согласных в славянских говорах Дакии было уже совершившимся фактом", как писал В.Н. Чекман [Чекман 1979: 112].

Признак тональности не был смыслоразличительным на фонемном уровне, поэтому в системе восточнославянского вокализма после утраты носовых не был дифференциальным признак ряда. Следовательно, праславянская оппозиция /ę/–/a/ не сохранилась в древнерусском языке после утраты ринезма даже в виде /ä/–/a/, то есть произошла конвергенция двух фонем /ę/ и /a/. Этот факт имеет решающее значение для фонологической интерпретации букв ѧ, ꙗ в древнерусской орфографии.

В восточнославянских памятниках эти буквы никогда не обозначали самостоятельных фонем. В то же время средствами письма, построенного на фонемном принципе [Дурново 1933: 56][22], было невозможно передать суперсегментные характеристики слова, поэтому для таких целей стали использовать дублетные буквы и диакритические знаки, к которым относится и знак ꙗ[23]. Показательно, что над перекладиной знака ꙗ могла ставиться также точка, обозначавшая диезность сочетания

---

[22] Хотя ни один алфавит, как тип буквенного письма, не может быть построен строго в соответствии с фонемным составом системы [Миклас 1993: 4, 7; Гельб 1982: 185, 191, 193; Miklas 1988: 52–65]. Этим и объясняется возможное изначальное наличие в кириллице буквы ю и специальных знаков в глаголице, соответствующим кириллическим ѩ, ѭ, которые не обозначали самостоятельные фонемы.

[23] Как известно, диакритические знаки могут писаться над строкой, под строкой и, реже всего, внутри строки, как, например, в буквах ł (Ł), Ø, Đ [Лингвистический... 1990: 132].

[Карский 1979: 168]. Параллелизм в использовании йотации и диакритических знаков точки и запятой, которая могла ставиться и над согласной, и над гласной буквами, а также использоваться одновременно с йотацией, показан в исследовании И.Х. Тота [Тот 1985: 177–206], его наблюдения подтверждаются примерами многих рукописей, в частности, той же Бычковско-Синайской псалтыри в почерке первого писца: **своѥго** (L., л. 3об.), **възвѣщаѥть** (L., л. 2); в почерке второго писца: **твою** (л. 56 об.), **землꙗ** (л. 58 об.), **моꙗ** (л. 61), **силою** (л. 56 об.), **ѥго** (л. 124 об.); в почерке третьего писца: **твою** (л. 13 об.), **ꙗ** (лл. 15 об., 16), **ливаньскъꙗ** (л. 15 об.), **ꙗко** (л. 15 об.), **моꙗ** (л. 16 об), **въздыханиꙗ** (16 об.).

В древнерусских памятниках буквы **ѧ**, **ꙗ** обозначали диезный аллофон фонемы /а/, чем и объясняются их вариативность и правила распределения: в большинстве древнейших памятников буква **ꙗ** употребляется в начале слога и после **л**, **н**, обозначавших рефлексы **lj*, **nj*, то есть в тех случаях, где элемент **ı** буквы **ꙗ** наиболее удачно передавал глайдовый участок слога. Схожая ситуация сложилась в древнеболгарских памятниках, где вместо **ꙗ** часто писали **ѣ**. Причиной этого было не только графическое влияние глаголических протографов, где для этих двух букв было одно соответствие, **ⰰ**, но еще и то, что были близки звук, обозначавшийся буквой **ѣ**, и диезный аллофон фонемы /а/: "подобный гласный... представляют современные говоры к востоку от Солунского края" [Селищев 1951: 21].

Употребление кириллических **ѧ** (или **ѣ** у южных славян), **ꙗ**, **а** было основано не на фонетическом принципе, при котором графическое обозначение аллофона какой-либо фонемы не служит вместе с тем для выражения смыслового различия [Зиндер 1987: 91; Щерба 1983: 87]. Для передачи смыслового противопоставления на суперсегментном уровне в древней славянской орфографии, помимо диакритики, использовались особые буквенные знаки, выражавшие сами по себе диезные или бемольные аллофоны нейтральных по признаку тональности гласных фонем. Подобно этому в современной русской орфографии буквы **я**, **е** (**ё**), **ю** обозначают диезные аллофоны гласных фонем, однако их написание регулируется ф о н е м н ы м принципом, так как на письме они обозначают дифференциальный признак мягкости согласного, то есть служат для различения оппозиций согласных ф о н е м по признаку твердости – мягкости.

В славянских диалектах до падения редуцированных признак тембра был суперсегментной характеристикой, так как различал единицы, по протяженности превышающие фонему. Фонетически диезное или бемольное звучание было близко к просодической характеристике восходящей или нисходящей тональности, но все же принципиально отличалось от нее функционально. Поэтому праславянские группофонемы должны считаться непросодическими суперсегментными единицами, объединенными ингерентным признаком тембра[24]. Исходя из этого необходимо определять один из принципов древней славянской орфографии, касающийся употребления парных, йотированных и нейотированных, букв. А.Н. Гвоздев писал, что в основе русской графики лежит слоговой, или силлабический, принцип, определяющий написание букв **е**, **э**, **я**, **ю**, **и**, **ы** после согласных, так как "в качестве единицы письма и чтения в таких случаях выступает слог" [Гвоздев 1953: 42, 43–49]. До падения редуцированных в славянских диалектах смыслоразличительной единицей по тембру была группофонема. Автор термина, В.К. Журавлев, хотел в нем показать, что общеславянский сингармонизм не был слоговым изначально, что, казалось бы, подразумевает термин с и л -

---

[24] См. обоснование терминологии: [Гирденис 1983: 42].

л а б е м а, до В.К. Журавлева уже дважды использованный в разных значениях Р.О. Якобсоном и Р.И. Аванесовым. Однако лингвистические термины, производные с аффиксом *-ем*, помимо указания на смысловое наполнение означаемого, имеют важный, легко уловимый семантический оттенок, а именно н е ч т о с у щ е с т в е н н о е, н е р а в н о е с м ы с л о в о м у с о д е р ж а н и ю в с е г о п р е д м е т а, н а к о т о р ы й у к а з ы в а е т п р о и з в о д я щ е е с л о в о: так, фонема есть не просто звук, но самое существенное в этом звуке, а силлабема не равна слогу и не есть весь слог, но является его смыслоразличительной частью. Следовательно, в согласии с установившейся традицией употребления термина с и л л а б е м а, с учетом смысла, придаваемого В.К. Журавлевым понятию г р у п п о ф о н е м а, принцип употребления в древней славянской орфографии йотированных букв, равно как и диакритических знаков, передающих смыслоразличительные тембровые характеристики, может быть определен как с и л л а б е м н ы й.

Проведенное исследование позволяет сделать следующие выводы.

Теория праславянской полумягкости согласных и их последующего вторичного смягчения не подтверждается данными письменных памятников. Возникновение и функционирование в кириллице йотированных букв связано с различными результатами йотовой палатализации в языковых ареалах древней Болгарии и Македонии: изначально йотация обозначала палатальный глайд после сонорного плавного, возникшего из сочетания с йотом, а впоследствии она стала выражать переходный глайдовый участок между согласным и гласным переднего ряда, так, как обозначается диезность слога в алфавитах, основанных на латинице – в польском, румынском, литовском языках. В в е д е н и е в н у т р и с т р о ч н о г о э л е м е н т а ѥ в к и р и л л и ч е с к о е п и с ь м о с в и д е т е л ь с т в у е т не о стремлении приблизить письменную речь к звучащей, как иногда считалось, а о р а з в и т и и б у к в е н н ы х с р е д с т в с л а в я н с к о г о п и с ь м а в с т о р о н у р а с ш и р е н и я и х ф о н о л о г и ч е с к и х ф у н к ц и й н а с у п е р с е г м е н т н о м, с и л л а б е м н о м, у р о в н е.

На уровне графики, устанавливающем соответствие между звуком, безотносительно к его смыслоразличительной роли, и буквой, йотированные буквы и буква ѧ в восточнославянских памятниках обозначали диезные аллофоны гласных фонем. Однако орфография как нормализованное письмо обусловлена языковой системой[25], и поэтому всякое явление, получающее выражение на письме, есть результат определенных системных отношений. Следовательно, функция йотированных букв и буквы ѧ не могла состоять лишь в том, чтобы обозначать только комбинаторные оттенки фонем и полнее передавать на письме звучащую речь. Дело здесь не в том, имели ли древние книжники представление о существовании фонологической системы: для уяснения уровня представлений ученых писцов о смыслоразличительной роли звуков историку письма понадобилось монографическое исследование [Miller 1994]. Бесспорно одно: если фонологические отношения и сама фонема – не отвлеченный научный вымысел, a b s t r a c t i o n a l f i c t i o u s u n i t в терминах Б. Тводдела [Реформатский 1970: 227–228], а "положительная и вполне специфическая реальность" [Лосев 1989: 88], то лингвистическое описание орфографического явления не только может, но должно состоять в том, чтобы выявить принцип отношения между буквенным знаком и фонологическими отношениями, дающими о себе знать независимо от воли писца.

---

[25] Р.А. Будагов, опираясь на мысль Б. Гавранека, писал, что понятие нормы шире понятия кодификации, «которая может осуществляться средствами школьной грамматики, предписывая "дозволенное и недозволенное". С нормой оказывается иначе. Она должна опираться на живое тело языка... Ее внесистемность (если бы она наблюдалась) обусловила бы соответствующую внесистемность литературного языка» [Будагов 1967: 28, 30]. Древняя славянская орфография как нормализованное письмо не было кодифицированным в силу отсутствия устанавливающих правила письма грамматик. Представление об орфографической норме – правильном письме – формировалось под воздействием книжного узуса, который был довольно гибким и допускал значительную вариативность под воздействием "живого тела языка".

Теория полумягкости и вторичного смягчения полумягких не в состоянии объяснить принцип употребления йотированных букв и буквы ѧ в восточнославянских рукописях. Типологические параллели из славянских и неславянских языков свидетельствуют, что степень выраженности признака не может быть основой для его фонематизации. Сравнительно-исторические исследования показывают, что так называемыми "исконно мягкими согласными" в праславянском языке были палатальные звуки, часть из которых до сих пор сохраняется в литературных языках и диалектах на протяжении всего славянского языкового ареала. Праславянские палатальные противопоставлялись твердым веляризованным, бемольным, и небемольным звукам, причем последние могли быть или палатализованными, или невеляризованными непалатализованными. Три типа согласных звуков, – бемольные, небемольные, или диезные, и нейтральные, – были взаимообусловлены тембром последующего гласного, следовательно, тембр не был смыслоразличительным признаком на уровне фонем.

Три типа согласных звуков праславянского языка являются основой для выделения трех типов группофонем, или силлабем, – суперсегментных непросодических смыслоразличительных единиц, представляющих из себя неделимое по признаку тембра сочетание согласного с последующим гласным. Следовательно, написание букв, обозначавших диезные аллофоны гласных фонем, а также употребление диакритики, служившей для передачи на письме тембра в силлабеме, было основано не на фонетическом и не на фонемном принципах: для передачи смыслоразличительных суперсегментных тембровых различий славянские книжники руководствовались силлабемным принципом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Аванесов Р.И. 1970 – Звуки *і* и *у* в истории русского языка // Реформатский А.И. Из истории отечественной фонологии. М., 1970.

Амфилохий (архимандрит) 1895 – Исследование о Пандектах Антиоха Черноризца. М., 1895.

Балшайтите Д.А. 1987 – Дифференциальный признак твердости – мягкости согласных в родственных языках. (Акустические характеристики и восприятие): Экспериментально-фонетическое исследование на материале литовского и русского языков: Автореф. ... канд. филологич. наук. Л., 1987.

Бернштейн С.Б. 1961 – Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961.

Бирнбаум Х. 1986 – Праславянский язык: Достижения и проблемы в его реконструкции. М., 1986.

Блохина Э.Д. 1976 – Отражение мягкости согласных в Галицком евангелии 1144 г. // История русского языка. Древнерусский период. Вып. 1. Л., 1976.

Будагов Р.А. 1967 – Литературные языки и языковые стили. М., 1967.

Булаховський Л.А. 1965 – Питання походження української мови. Київ, 1965.

Бурмистрович Ю.Я. 1995 – Домашние задания по практическим занятиям по курсу "Историческая фонемология цепочки славянских языков от протославянского до русского". Абакан, 1995.

Ван-Вейк Н. 1950 – К истории фонологической системы в общеславянском языке позднего периода // Slavia. 1950. Roč. XIX. Seš. 3–4.

Ван-Вейк Н. 1957 – История старославянского языка. М., 1957.

Васильев Л.Л. 1913 – С каким звуком могла ассоциироваться буква "нейотированный юс малый" ѧ в сознании писцов некоторых древнейших русских памятников? // Русский филологический вестник. Варшава, 1913. Т. 69. № 1–2.

Вийтсо Т.-Р. 1963 – Об одной возможности описания фонологии русского языка // Уч. зап. Тартуского ун-та. Вып. 139. Труды по русской и славянской филологии. 1963. № 6.

Гальченко М.Г. 1996 – О написаниях с є вместо ѣ в югозападных рукописях XII–XIV вв. // Русистика. Славистика. Индоевропеистика: Сборник к 60-летию Андрея Анатольевича Зализняка. М., 1996.

Гвоздев А.Н. 1953 – Основы русской орфографии. Минск, 1953.

Гельб И.Е. 1982 – Опыт изучения письма: Основы грамматологии. М., 1982.

Гирденис А.-С.А. 1983 – Теоретические основы литовской фонологии: Автореф. ... докт. филологич. наук. Вильнюс, 1983.

Гольшенко В.С. 1987 – Мягкость согласных в языке восточных славян XI–XII вв. М., 1987.

Граматика 1991 – Граматика на старобългарския език. София, 1991.

Грамматика 1985 – Грамматика литовского языка. Вильнюс, 1985.

Громова А.П. 1981 – Сравнительная фонетика славянских языков. Часть IV. Консонантизм. Свердловск, 1981.

Гълъбов И. 1968 – Ранни школи на старобългарски книжовен език // БЕ. 1968. № 2–3.
Гълъбов И. 1980 – Старобългарски език с увод в славянското езикознание. Ч. 1. София, 1980.
Гълъбов И. 1986 – Писмени и звукови системи в старобългарски // Избрани трудове по езикознание. София, 1986.
Добродомов И.Г. 1968 – К вопросу об условиях перехода *е* в *о* в древнерусском языке // Фонологический сборник. Материалы межвузовской конференции. Вып. II. Донецк, 1968.
Добродомов И.Г. 1972 – О переходах *е* в *о* в русском языке // Проблемы общего и русского языкознания. М., 1972.
Древнерусская грамматика 1995 – Древнерусская грамматика XII–XIII вв. М., 1995.
Дукельский Н.И. 1962 – Принципы сегментации речевого потока. М.; Л., 1962.
Дурново Н.Н. 1923–1924 – К истории звуков русского языка. II. Старославянские смягченные согласные в Архангельском евангелии // Slavia. 1923–1924. Roč. 3. Seš. 4.
Дурново Н.Н. 1924а – Русские рукописи XI–XII вв. как памятники старославянского языка // JФ. 1924. Кнь. II.
Дурново Н.Н. 1924б – Русские рукописи XI–XII вв. как памятники старославянского языка // JФ. 1924. Кнь. IV.
Дурново Н.Н. 1926–1927 – Русские рукописи XI–XII вв. как памятники старославянского языка // JФ. 1926–1927. Кнь. VI.
Дурново Н.Н. 1933 – Славянское правописание XI–XII вв. // Slavia. 1933. Roč. 12. Seš. 1–2.
Дюрен Ж. 1977 – Мягкость, твердость, йотированность // ВЯ. 1977. № 2.
Живов В.М. 1996 – Палатальные сонорные у восточных славян: данные рукописей и историческая фонетика // Русистика. Славистика. Индоевропеистика: Сборник к 60-летию Андрея Анатольевича Зализняка. М., 1996.
Журавлев В.К. 1961 – Формирование группового сингармонизма в праславянском языке // ВЯ. 1961. № 4.
Журавлев В.К. 1965 – Генезис протезов в славянских языках // ВЯ. 1965. № 4.
Журавлев В.К. 1967 – Опыт фонологической интерпретации праславянских группофонем: К проблеме языков силлабемного типа // Phonologie der Gegenwart. Vorträge und Discussionen anläβlich der Internationalen Phonologie-Tagung in Wien. Graz; Wien; Köln, 1967.
Журавлев В.К. 1969 – Развитие группового сингармонизма в праславянском языке. Минск, 1969.
Журавлев В.К. 1987 – Диахроническая фонология. М., 1987.
Зализняк А.А. 1995 – Древненовгородский диалект. М., 1995.
Зиндер Л.Р. 1979 – Общая фонетика. М., 1979.
Зиндер Л.Р. 1987 – Очерк общей теории письма. М., 1987.
Зубова Л.В. 1975 – Орфографический сдвиг как результат фонемного изменения // Исследования и материалы по русской и древнеславянской языковой истории. Межвузовский сборник. Вып. 1. Горький, 1975.
Зубова Л.В. 1976 – К вопросу о времени отвердения шипящих в русском языке // История русского языка. Древнерусский период. Вып. 1. Л., 1976.
Иванов В.В. 1968 – Историческая фонология русского языка: Развитие фонологической системы древнерусского языка в X–XII вв. М., 1968.
Иванов В.В. 1983 – Историческая грамматика русского языка. М., 1983.
Изместьева И.А. 1996 – Межслоговой сингармонизм в истории русского языка: Автореф. ... канд. филологич. наук. М., 1996.
Калнынь Л.Э. 1956 – Развитие категории твердости – мягкости согласных в русском языке // Уч. зап. ин-та славяноведения. М., 1956. Т. 13.
Калнынь Л.Э. 1961 – Развитие корреляции твердых и мягких согласных фонем в славянских языках. М., 1961.
Калнынь Л.Э. 1994 – Отражение праславянской лабиовеляризации согласных в нижнелужицком диалекте // Славяноведение. 1994. № 5.
Каринский Н.М. 1925 – Образцы письма древнейшего периода русской книги. Л., 1925.
Карский Е.Ф. 1979 – Славянская кирилловская палеография. Л., 1979.
Колесов В.В. 1973 – Праславянская фонема /Ǫ/ в ранних преобразованиях славянских вокалических систем // Славянское языкознание. VII Международный съезд славистов. Варшава, 1973 г. Доклады советской делегации. М., 1973.
Колесов В.В. 1980 – Историческая фонетика русского языка. М., 1980.
Колесов В.В. 1982 – Введение в историческую фонологию. Л., 1982.
Кривко Р.Н. 1996 – Бычковско-Синайская псалтырь как источник по истории славянской Псалтыри // Религия и церковь в культурно-историческом развитии русского Севера. (К 450-летию преподобного Трифона, Вятского Чудотворца): Материалы Международной конференции. Киров, 1996.

Лавров П.А. 1914 – Палеографическое обозрение кирилловского письма // Энциклопедия славянской филологии. Вып. 4/1. Пг., 1914.
Лингвистический... 1990: Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
Лосев А.Ф. 1989 – В поисках построения общего языкознания как диалектической системы // Теория и методология языкознания: Методы исследования языка. М., 1989.
Малкова О.В. 1980 – Имело ли место вторичное смягчение согласных перед [е], [и] в диалектах южной зоны древнерусского языка? // ВЯ. 1980. № 6.
Мейе А. 1951 – Общеславянский язык. М., 1951.
Миклас Х. 1993 – От Преславския събор до Преславската школа. Въпроси на графематиката // Palaeobulgarica = Старобългаристика. 1993. № 3.
Миронова Т.Л. 1996 – Графика и орфография рукописных книг киевского скриптория Ярослава Мудрого. М., 1996.
Николаев С.Л. 1988 – Следы особенностей восточнославянских племенных диалектов в современных великорусских говорах. I. Кривичи // Балто-славянские исследования, 1986. М., 1988.
Палеографический... 1955 – Палеографический и лингвистический анализ новгородских берестяных грамот. М., 1955.
Патруць И. 1968 – Относительно древности славянского влияния на румынский язык // Romanoslavica. 1968. № XVI.
Пауфошима Р.Ф. 1961 – Согласные неполного смягчения перед гласными переднего образования в говорах Харовского района Вологодской области // Материалы и исследования по русской диалектологии. Вып. 2. М., 1961.
Пенкова П. 1969 – Диакритичният "знак за мекост" в Зографското евангелие // Константин-Кирил Философ. Юбилеен сборник по случай 1100-годишната от смъртта на му. София, 1969.
Петрович Е. 1958 – Явление сингармонизма в исторической фонетике румынского языка – следствие славяно-румынской языковой интерференции // Romanoslavica. 1958. № II.
Петрович Е. 1959 – О некоторых сходствах между румынской и славянской фонематическими системами // Slavia. 1959. Roč. XXVIII. Seš. 1.
Подскальски Г. 1996 – Христианство и богословская литература в Киевской Руси (988–1237 гг.). СПб., 1996.
Поливанов Е.Д. 1923 – Причины появления umlauta // Сборник Туркестанского Восточного института в честь профессора А.Э. Шмидта. Ташкент, 1923.
Пуцко В.Г. 1987 – Пандекты Антиоха Черноризца. Художественное оформление кириллической рукописи XI в. // Cyrillometodianum. 1987. № XI.
Реформатский А.А. 1970 – Проблемы фонемы в американской лингвистике // Реформатский А.А. Из истории отечественной фонологии. М., 1970.
Селищев А.И. 1951 – Старославянский язык. Т. I. М., 1951.
Сучасна... мова 1969 – Сучасна українська літературна мова. [Т. 1]. Вступ. Фонетика. Київ, 1969.
Толстая С.М. 1977 – К типологической характеристике категории палатальности в славянских языках // СС. 1977. № 1.
Тот И.Х. 1985 – Русская редакция древнеболгарского языка в конце XI – начале XII вв. София, 1985.
Тотоманова А.-М. 1992 – Из българската историческа фонетика: Явления, свързани с изграждането на категорията мякост – твердост на съгласните в българския език. София, 1992.
Трубачев О.Н. 1992 – Из смоленских мотивов: "Гнёздово", "горуня" // Slavia. 1992. Roč. 61. Seš. 4.
Трубецкой Н.С. 1960 – Основы фонологии. М., 1960.
Филин Ф.П. 1972 – Происхождение русского, украинского и белорусского языков: Историко-диалектологический очерк. Л., 1972.
Фортунатов Ф.Ф. 1919 – Лекции по фонетике старославянского (церковнославянского) языка. Пг., 1919.
Хабургаев Г.А. 1994 – Первые столетия славянской письменной культуры: Истоки древнерусской книжности. М., 1994.
Чекман В.Н. 1973 – Генезис и эволюция палатального ряда в праславянском языке. Минск, 1973.
Чекман В.Н. 1979 – Исследования по исторической фонетике праславянского языка. Минск, 1979.
Чэкман В.М. 1970 – Гісторыя проціпастаўленняў па цвёрдасці – мяккасці ў беларускай мове. Минск, 1970.
Шахматов А.А. 1915 – Очерк древнейшего периода истории русского языка // Энциклопедия славянской филологии. Вып. 11/1. Пг., 1915.
Шило Г.Ф. 1948 – Палатограми українських звуків і система фонем української мови // Вопросы славянского языкознания. Кн. I. Львов, 1948.
Щепкин В.Н. 1967 – Русская палеография. М., 1967.
Щерба Л.В. 1983 – Теория русского письма. Л., 1983.
Якобсон Р.О. 1962 – [Выступление] // IV Международный съезд славистов. Материалы дискуссии. Т. 2: Проблемы славянского языкознания. М., 1962.
Янин В.Л., Зализняк А.А. 1986 – Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1977–1983 гг.). М., 1986.

Altbauer M., Lunt H.G. (ed.) 1978 – An early Slavonic psalter from Rus'. Harvard, 1978.
Collinge N.E. 1985 – The laws of Indo-European. Amsterdam (Philadelphia), 1985.
Czekman W., Smułkowa E. 1988 – Fonetyka i fonologia języka białoruskiego z elementami fonetyki i fonologii ogólnej. Warszawa, 1988.
Horálek K. 1950 – Ke otacze palatálních souhlásek v bulgarštině // Slavia. 1950. Roč. XX. Seš. I.
Horálek K. 1959 – K vývoji měkkostní korelace souhlaskové v praslovanštině a v češtině // Slavica Pragensia. Acta Universitatis Pragensia, Philologica Supplementum. 1959. № I.
Jakobson R. 1929 – Remarques sur l'évolution phonologique du russe compareé à celle des autres langues slaves. Prague, 1929.
Komarek M. 1954 – Ke fonetické povaze staročeského ě // Studie a práce linguistické. 1954. № I.
Koschmider F. 1958 – Die Palatalitätskorrelation im Slavischen. Heidelberg, 1958.
Koschmider E. 1966 – Die sogennanten leicht palatalisieren Konsonnanten des Urslavischen // Orbis Scriptus. Dmitrij Tschizevskij zum 70 Geburstag. München, 1966.
Krajčovič R.A. 1975 – Historical phonology of the Slovac language. Heidelberg, 1975.
Kulbakin S. 1929 – Le vieux slave. Paris, 1929.
Lunt H.G. 1949 – The orthography of eleventh century Russian manuscripts. Ann Arbor, 1949.
Lunt G.H. 1955 – Old Church Slavonic grammar. (Mouton), 1955.
Lunt G.H. 1956 – On the origins of phonemic palatalization in Slavic // For Roman Jakobson. The Hague, 1956.
Marti R. 1984 – Old Church Slavonic nasal vowels: V̨ or VN? // New Zealand Slavonic journal. 1984.
Miklas H. 1988 – Zur Struktur des kirillisch-altkirchenslavishen (altbulgariscnhen) Schriftsystems // Palaeobulgarica = Старобългаристика. 1988. № 3.
Miller D.G. 1994 – Ancient scripts and phonological knowledge. Amsterdam, 1994.
Otrębski J. 1958 – Grammatyka języka litewskego. T. 1. Wiadomości wstępne. Nauka o głoskach. Warszawa, 1958.
Phonologie 1967 – Phonologie der Gegenwart. Vorträge und Discussionen anläßlich der Internationalen Phonologie-Tagung in Wien. Graz; Wien; Köln, 1967.
Popovskij J. 1989 – Die Pandekten des Antiochus Monachus: slavische Übersetzung und Überlieferung. Amsterdam, 1989.
Rosetti A. 1973 – Brève histoire de la langue roumaine des origines à nos jours. The Hague; Paris, 1973.
Shevelov G.Y. 1965 – A prehistory of Slavic: the historical phonology of Common Slavic. New York, 1965.
Shevelov G.Y. 1979 – Historical phonology of the Ukranian language. Heidelberg, 1979.
Tarnanidis I.C. 1988 – The Slavonic manuscripts discovered in 1975 at S. Catherine's monastery on mount Sinai. Thessalonici, 1988.
Vaillant A. 1950 – Grammaire comparée des langues slaves. V. I. Paris, 1950.
Wijk N. van 1934 – Das altrussische Imperfekt und die russische Konsonanteuerweichung // Indogermanische Forschungen. 1934. V. LII.
Wijk N. van 1937 – La génèse de la mouilliere des consonnes dans les langues slaves // Slavia. 1937. Roč. XV. Seš. 1.
Wijk N. van 1941 – Zum urslavischen sogenanten Synharmonismus der Silben // Lingvistica Slovaca. 1941. № 3.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1998

© 1998 г. М.В. ИВАНОВА

ДРЕВНЕРУССКАЯ АГИОГРАФИЯ КОНЦА XIV–XV В. КАК ИСТОЧНИК ИСТОРИИ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА

Одной из главных задач современной историко-лингвистической науки является создание полной истории русского литературного языка. Однако решить ее невозможно без изучения языковой ситуации во всех литературных жанрах в разные периоды их истории.

Наименее изученными в истории русского литературного языка оказываются древнерусские агиографические тексты, хотя в схеме иерархии жанров древних славянских литератур, предложенной Н.И. Толстым [Толстой 1988: 168], агиографии отводится важное ключевое место в древнерусской словесности: житийный жанр располагается на стыке конфессионально-литургической и национальной литератур, т.е. на границе между воспроизводимыми и оригинальными текстами. Кроме того, в средневековье жития выполняли функцию "массовой литературы" [Аверинцев, Андреев, Гаспаров, Гринцер, Михайлов 1994: 18].

В Древней Руси жанр агиографии был чрезвычайно популярен. Он представлен многочисленными переводными произведениями и великолепными оригинальными, являющимися общепризнанными литературными шедеврами.

Объяснить сложившуюся в истории русского литературного языка ситуацию, при которой язык древнерусских оригинальных житий не был предметом специального лингвистического исследования[1], можно тем, что лингвистов всегда больше интересовали тексты, отражающие живые процессы в языковом развитии. Такая традиция изучения прежде всего живых процессов, живой речи идет еще, как известно, от младограмматиков. Но живые языковые процессы, по давно утвердившемуся в науке мнению, в текстах различных жанров отражаются с разной степенью интенсивности. Так, в памятники, фиксирующие повседневную жизнь (деловая письменность, частная переписка, определенные фрагменты летописей и под.), новообразования, появляющиеся в устной речи, проникают легче. А памятники церковно-книжного характера менее восприимчивы к новообразованиям. Потому деловая письменность (в широком смысле), а не конфессиональные и агиографические тексты, привлекала лингвистов, стремящихся зафиксировать новые элементы языковой системы для восстановления строя древнерусского языка и его функционирования. При этом также считается, что, как и конфессиональные, агиографические произведения, утверждавшие высокий нравственный христианский идеал, были текстами "идеальной" формы, каноническими и образцовыми с точки зрения их литературно-языковой эстетики, не допускающей широкого проникновения в язык житий народно-литературных, не говоря уже о разговорных, элементов.

---

[1]Существуют лишь единичные исследования языковых черт того или иного оригинального жития, например, статья В.В. Виноградова "О задачах стилистики. Наблюдения над стилем Жития протопопа Аввакума" (1922 г.) [Виноградов 1980: 3–41], а также упоминания некоторых агиографических произведений в курсах лекций и учебниках по истории русского литературного языка (например, [Ларин 1975; Мещерский 1981]) и словники некоторых житий [Герд 1990].

Таково традиционное представление о языковой ситуации в жанре агиографии.

Сказанное о неизученности древнерусских житий относится и к оригинальным текстам, созданным в конце XIV–XV вв., одной из сложнейших эпох в истории русского языка, которой завершается древнерусский и начинается старорусский этапы. И потому изучение состава и функционирования языковых единиц именно в эту эпоху конкуренции и становления норм литературного языка представляется весьма важным. Что же касается агиографии, то именно в этот период житийная литература переживала полосу своего расцвета: она значительно увеличилась (количественно), и в ней наиболее выразительно и завершенно проявился экспрессивно-эмоциональный, украшенный стиль. Кроме того, именно в конце XIV и в XV вв. создают свои житийные произведения два выдающихся агиографа Древней Руси – монах Троицкого монастыря Епифаний Премудрый (2-я пол. XIV в. – до 1422 г.) и монах с Афона, серб Пахомий Логофет (10-е г. XV в. – после 1484 г.).

Исследование рукописей житий, созданных в конце XIV и в XV веках: "Жития Стефана Пермского" (1396–1398 гг.), написанного Епифанием Премудрым, двух житий, написанных Пахомием Логофетом – "Жития Кирилла Белозерского" (1462 г.) и "Жития Алексея митрополита" (ок. 1450 г.), "Жития Сергия Радонежского" (1417–1418 гг.), созданного Епифанием Премудрым, позже отредактированного Пахомием Логофетом, а также анонимной Первой редакции "Жития Михаила Клопского" (1478–1479 гг.)[2] – позволило реконструировать языковую специфику произведений житийного жанра этого периода, а также прояснить спорные проблемы и пересмотреть некоторые утвердившиеся в науке положения, касающиеся как общих представлений о языковых особенностях агиографических текстов, так и частных вопросов различного характера.

Для изучения языковых средств и характера их функционирования в этих текстах подробному анализу были подвергнуты морфология, лексика и синтаксис житий с целью установления сходств и различий в их языковой организации, а также эволюции языка агиографии в общем русле развития русского литературного языка.

Анализ морфологии житий показал, что в них не только устойчиво сохраняются многие архаичные для конца XIV–XV вв. особенности морфологической системы древнерусского языка и ее реализации в тексте, но вместе с тем ярко проявляются черты морфологии живого языка того времени. Изменения в морфологической системе регулярно, хотя в каждом тексте с разной степенью интенсивности, фиксируются в исследованных памятниках. Тексты отражают утрату двойственного числа; изменения в склонении существительных и унификацию падежных окончаний; выравнивание основ на задненебные; изменения в системе форм времени глагола, ведущие к становлению единой формы прошедшего времени, восходящей к древнерусскому перфекту, и другие процессы.

Так, на утрату в текстах житий двойственного числа указывают примеры[3]: **прє^А родителми своими** (ЖСтП 340об)[4], **ѡбоє сгараше** (ЖСтП 279), **двѣма члк҃ѡ^м** (ЖКБ 397об), **свѧзанъ рѫками иже и ногами** (ЖКБ 439), **на свои^х нога^х** (ЖКБ 442об; ЖАМ 134об), **прїи^Аоша два брата** (ЖКБ 398об), **левъ и агнець вкꙋпѣ почиють** (ЖАМ 129), **бꙋдеши без рꙋкъ и без ногъ** (ЖМК 347) и др.

Унификация склонений прослеживается в словоформах с новыми падежными окончаниями: **(не ѡставлю) слова** (ЖСтП 339), **(въ ставленїе) тѣлꙋ** (ЖСтП 313об), **(при) корени** (ЖСтП 339об), **ѡчи** (ЖСтП 313), **оуши** (ЖСтП 331),

[2]Исследование каждого жития проводилось по нескольким спискам; в настоящей статье цитаты даются лишь по одному из них.

[3]Ограниченность объема статьи не позволяет привести обширный фактический материал, который представлен в житиях. Поэтому в качестве иллюстраций приводятся лишь по 2–3 примера из каждого исследованного текста.

[4]В скобках при цитировании указывается сокращенное название жития и номер листа рукописи по пагинации, сделанной в XIX в. в верхнем правом углу каждого листа.

(дѣлателѧ) виноградоу (ЖСтП 322), (противꙋ) грѣхꙋ (ЖСтП 330), ликове (ЖСТП 334об), врачеве (ЖСтП 337об), (ѿ) ра^{з}вратниковъ (ЖСтП 317), окомъ (ЖКБ 410об), тѣлѡмъ (ЖКБ 388об), церковь (И п. ед.ч.) (ЖКБ 437), мꙋжеви (ЖКБ 420), (въ) вертьпа^{х} (М п. мн.ч.) (ЖКБ 379), (во имѧ) матери (ЖАМ 125), сыноу (Д п.) (ЖКБ 427; ЖАМ 129) и др.

Разрушение древней системы глагольных времен проявляется в образовании форм аориста и имперфекта как от приставочных глаголов: прїидохъ (ЖСтП 251об), изволи^{х} (ЖСтП 251об), насытишѧ^{с} (ЖКБ 415об), поволѣ (ЖКБ 424об); протолковаше (ЖСтП 256), соводворѧшесѧ (ЖСтП 256), посылахꙋ (ЖКБ 416об), възвышаахꙋ^{х} (ЖКБ 418), так и бесприставочных: видѣхъ (ЖСтП 252), явѝ^{х}сѧ (ЖСтП 339об), начѧшѧ (ЖКБ 415об), слыша^{х} (ЖКБ 417); дивлѧхѫсѧ (ЖСтП 256об), гадаше (ЖСтП 299), ношахꙋ (ЖКБ 442об), творѧше (ЖКБ 417об) и под.; в наличии форм аориста и имперфекта, образованных от глаголов несовершенного вида: бесѣдова^{х} (ЖСтП 252); творѧхꙋ (ЖСтП 275об) и от глаголов совершенного вида: створи (ЖСтП 338об); оувидѧхѫ (ЖСтП 275об) и под.; в неразличении аориста, имперфекта и перфекта по семантике и одновременном их употреблении в одной фразе: и ѡ се^{м} ѕѣло съжалиси рабъ Бжии и велми печеловаше^{с} ѡ и^{х} прелще^{ч}и (ЖСтП 257об), си оубо грѧдоуцїа оустремленїе^{м} имѧше прѧмо ꙗко оугѫ свои^{м} оустїе^{м} вниде в Во^{л}гꙋ (ЖСтП 258), Феѡ^{д}ѳрь стѧжа велїю вѣроу кѡ стомꙋ и не ꙗко члк^{а} имѧше его (ЖКБ 402об), стыи же ꙗко оуслыша скоро въста и...течѧше (ЖКБ 418), захотѣлъ кꙋны взѧти и взѧша конъ воронъ (ЖМК 351) и под.; в неправильном употреблении числовых форм аориста и имперфекта: едїнаго по^{л}хлѣба доволна быша (ЖКБ 416) вм. бысть, ветхаѧ мимоидоша и се быша новаѧ (ЖКБ 438об) вм. бысть, кнѧзь...и всѣ...кнѧзи и болѧре...цѣловаста стое его тѣло (ЖАМ 133) вм. цѣловаша, ѡни^{ж} повѣдаше (ЖАМ 121-121об) вм. повѣдахꙋ, и сътвори игоуменъ и Михаило млтвꙋ и покопа мало (ЖМК 346) вм. покопаста и под.; в употреблении перфектных форм в аористном значении: не мы бо тебе избрахо^{м} но ты на^{с} избралъ еси (ЖСтП 323об), бы^{л} на^{м} законодаве^{ц} (ЖСтП 321об), землѧ долго времѧ стоѧла некрщена (ЖСтП 305об), пꙋть преидѡ^{х} и ѡбитель стго достигъ (ЖКБ 379об), иже въ сты^{х} Ѿець нашь Алексѣе добрѣ стадо пасъ (ЖАМ 128об) и под.; в приобретении перфектом значения плюсквамперфекта: въспрѧнѫвъ^{ж} члкъ тъи ѡбрѣте себе з^{д}рава и абїе скоро течѧше с ра^{до}стїю къ блжнномѫ Кирилѫ...не вѣдѧше^{ж} ꙗко стыи преставилъсѧ е^{с} (ЖКБ 431), и, наоборот, в приобретении плюсквамперфектом иных значений -- перфектного: бѣ бо възбрани^{л} прп^{д}бныи оученико^{м} сїи и отроко^{м} свои^{м} слꙋжащи^{м} емꙋ не повелѣ ни Ѿинꙋ^{д} взѧти что ѿ кꙋмирниць (ЖСтП 279об), аористного: боꙗринъ же нѣкыи Романъ имене^{м} Алексан^{д}ровичь далече ѡбители стго жилище имѣѧ стго же не видалъ бѧше...но токмо слышалъ бѧше великаѧ о не^{м} (ЖКБ 419об) и под., а также в других языковых фактах, фиксирующих разрушение древней морфологической системы.

Анализ языка житий дает возможность проследить историю отдельных морфологических явлений литературного языка, не отмеченных историческими грамматиками, например, становление и оформление в этот период у деепричастия синтаксической функции вторичной предикативности.

Как известно, генетически деепричастия восходят к кратким причастиям настоящего и прошедшего времени, утратившим категории рода, числа, падежа и превратившимся в неизменяемые формы. Это дает основания характеризовать их как "смешанную часть речи", объединяющую свойства глагола и наречия [Пешковский 1956: 128], или определять их как "гибридную наречно-глагольную категорию" [Вино-

градов 1947: 384–392], или как "атрибутивную форму глагола, в которой совмещаются значения двух частей речи: глагола и наречия" [РГ 1980: 672]. В исторической морфологии становление и развитие деепричастия не рассматриваются (например, [Кузьмина, Немченко 1982; ДРГ XII–XIII 1995]), и истории деепричастий в истории русского языка не существует. Поэтому возникла некоторая иллюзия отсутствия деепричастия как особого класса слов в древнерусском языке.

По-видимому, такая ситуация в исторической русистике сложилась из-за отсутствия достаточного материала, позволяющего создать полную и достоверную картину эволюции древнерусских деепричастий (безусловно, грамоты здесь исчерпывающего материала не дают).

Не претендуя на всестороннее рассмотрение истории деепричастий в русском языке, можно многое прояснить в этой нерешенной до сих пор проблеме, опираясь на оригинальные тексты древнерусских житий конца XIV–XV вв.

Любая часть речи формируется через употребление в синтаксисе. Когда в предложении у причастия появляется новая, самостоятельная функция, отличная от определительной, т.е. оно отрывается от имени и прикрепляется к глаголу, а отнесенность к глаголу выражается через функцию дополнительного сказуемого или позже даже обстоятельства, тогда морфологизируется новая синтаксическая функция деепричастия.

Конечно, деепричастие начинает занимать свою синтаксическую нишу и формироваться через функциональное перераспределение обозначения действия. Когда же возле деепричастия образуется определенная конструкция – деепричастный оборот, обособление с главным компонентом – деепричастием, тогда уже не вызывает никаких сомнений выделение деепричастий как класса слов языка с его едиными синтаксическими и семантическими свойствами. К сожалению, исторический синтаксис русского языка не располагает историей деепричастных оборотов[5].

Текст "Жития Стефана Пермского" дает интересный материал для изучения становления деепричастий. Примеры употребления этого класса слов могут быть разделены на три группы.

I. "Будущие" деепричастия выступают в роли сказуемого, т.е. не представляют собой сложившейся грамматической категории и функционируют как причастия: **не праз^нен же пр^но пребываа но дѣлаше ржкама своима** (256 об), **сице оубо и сїи ѿ ветхы^х и новы^х книгъ ѿ ветхаго и новаго завѣта износѧ словеса наоучаа вразоумлѧѧ наказаа ѡбращаа пекысѧ ѡ люде^х заблоу^жши^х хотѧ и^х ѿрѣшити ѿ соузъ дїаво^скыа и ѿ прелести идольскыа** (276).

II. Деепричастия претендуют на самостоятельную роль в предложении: они перестают обладать определительной функцией и не выступают в роли сказуемого. При этом значение сопутствующего действия выражено не слишком ярко: **оукрашенъ бѣ ѡтро^к тои поспѣваа възрасто^м въ стра^х Бжии и страхо^м Бжнимъ оумиливсѧ** (255), **подвизаше ѥѡ сѧ днь ѿ дне ꙗко землѧ доброплоа^на разжмныа браз^ы прогонѧа и многоразличныа плоды блгоизволенїа прїносѧ Бгж** (256 об).

III. Деепричастия относятся к глаголу и обладают функцией вторичной предикативности. Более того, они образуют возле себя определенную синтаксическую конструкцию -- оборот: **Млю^с емоу е^ж просѧ оу него слова потребна** (252 об), **и Бгъ тебе прославить возмез^ие подаꙗ тебе противоу троу^а твои^х** (336), **сїа всѧ сыскавъ и собравъ сокровищь себе створи^х** (332), **сїи влъхвъ чародѣевы коудесни^к зѣло възгордѣвсѧ на раба Бжїа и на Бга хоулныа глы въспоущаа оукоржше же и уничижаше вѣроу кр^стїанскоую** (285 об).

По этим трем группам примеров можно судить о становлении деепричастий. Первая

[5]Недавно появилась монография, часть которой посвящена рассмотрению деепричастных оборотов в русском литературном языке первой половины XVIII в [Hüttl-Folter 1996].

группа – это начальная ступень, когда деепричастие формально выражено, но по функциям не отделено от причастий. Вторая – это переходная ступень, когда наметилось перераспределение функций в составе предложения. Третья группа – это заключительная ступень формирования деепричастия как грамматически самостоятельной категории, отличной от причастия. Деепричастие выступает в роли дополнительного сказуемого или обстоятельства. Эти функции сопутствуют обозначению действия.

Таким образом, текст "Жития Стефана Пермского" отчетливо отражает процесс становления деепричастия в конце XIV в. как самостоятельного класса слов и деепричастного оборота как синтаксической конструкции, отличной от оборота причастного.

В житиях XV в. деепричастия выступает уже только как таксисные формы (термин Р.Якобсона), например: **съи оубо мнѡжае начат ми гл҃ати нѣчто ѡ ст҃ѣмъ написати...велїю вѣрѫ имѣѧ кѡ бл҃женному Кирилѫ** (ЖКБ 380), **посылаетъ царь Амуратъ к великому кнѧзю Дмитрею Иванович молѧ его ꙗко да послеть члка҃** (ЖАМ 125-125об), **и сїѧ ре҃к хотѧ изити ѿ ни҃х** (ЖСР 213об), **старець сѣдѧ пише҃т** (ЖМК 344), что позволяет сделать вывод об укреплении этой грамматической категории в русском литературном языке в этот период.

Морфология житий, отражающая постепенное усиление влияния живого языка на книжный с конца XIV к концу XV вв., в целом с одинаковой степенью демонстрирует такое усиление, чего нельзя сказать о лексике и синтаксисе житийных произведений.

Так, в лексике жития, созданного в конце XIV в. Епифанием Премудрым, на фоне основного ее массива, образуемого общеупотребительными и нейтральными словами, выделяются два больших маркированных, полярных по отношению друг к другу пласта.

Первый – это бытовая лексика, причем под ней понимаются не только слова, обозначающие явления и предметы действительности, которые составляли условия повседневной бытовой жизни людей, но и которые были широко распространены в живой речи и не распространены в книжном языке, т.е. те слова, которые фиксируются историческими словарями в деловой письменности и не фиксируются в памятниках книжно-славянского типа литературного языка. В "Житии Стефана Пермского" эта группа представлена такими лексемами: **лишенникъ** (336 об), **оушкуиникъ** (320 об), **догадка** (268 об), **соснѧгъ** (288), **ѡслопъ** (266 об), **накастити** (296), **навещати** (316 об), **пригожии** (299 об) и др. [Иванова 1995: 180–187].

Второй, противоположный лексический пласт – это новые сложные, сугубо книжные слова, составленные самим Епифанием по греческой специфически книжной словообразовательной модели и часто являющиеся кальками. Всего в тексте "Жития Стефана Пермского" обнаружено около 250 сложных слов; среди них наиболее интересными являются те, которые зафиксированы словарями лишь с единственной ссылкой на это житие или вовсе не учтены словарями: **добролѣтныи** (261 об) (εὐετία = = εὐετηρία "добролетье"), **кумиротребнаѧ** (280 об) (εἰδωλόθυτον), **лѣповидець** (293), **невѣстокраситель** (324 об) (νυμφοστόλος "невестокрасительница"), **прѧмоуличныи** (270 об) (εὔστοχος), **скудопамѧтство** (337 об) (δυσμνημόνευτος "с трудом удерживающий в памяти") и др. [Иванова 1994: 60–71].

В словарном составе "Жития Кирилла Белозерского", созданного в середине XV в. Пахомием Логофетом, нет ни сниженно-бытовых, ни нарочито книжных элементов. Конечно, в этих текстах присутствуют как слова, обозначающие предметы и явления быта и обихода, напр., **неводъ** (423), **трава** (434), **ребро** (403 об), **оудица** (423), так и слова-composita, напр., **благодать** (380), **длъготръпѣнїе** (450 об), **живоначалнаѧ** (426), но и те и другие имели широкое распространение в памятниках различной временно́й, жанровой и территориальной принадлежности. Лексика житий Пахомия Логофета в основном нейтральна и общеупотребительна.

Однако в "Житии Кирилла Белозерского" обращают на себя внимание слова, составляющие довольно большую группу, которые фиксируются словарями также в памятниках разных жанров, но лишь с XV, XVI и даже с XVII веков: **ердань** "прорубь" (422), **начальство** (392 об), **нераденїе** (451), **пѧтловыи** "петушиный" (439), **разсѫдительныи** (436), **кротѣти** (445), **ѿвнѣ** (387 об) и др.

Неточность и неполнота словарей известны. Но общие тенденции развития словарного состава языка отражаются в словарях достаточно четко. Поскольку употребленные в тексте жития Пахомия Логофета лексемы, не отмеченные словарями для этого периода, представлены не единичными примерами, а составляют достаточно объемную группу слов, можно сделать вывод об использовании Пахомием в своем агиографическом произведении новой, "авангардной" лексики, таких слов, которые существовали в живом языке, но получили письменную фиксацию лишь в более позднее время.

Что же касается лексики Первой редакции "Жития Михаила Клопского", созданного автором-анонимом в конце XV в., то она отличается невероятной для агиографии просторечной сниженностью; в ее составе обнаруживаются диалектные разговорные элементы: **ѡпрꙋгъ** (346), **жары** (347), **тонѧ** (347 об), **пратеща** (351), **своитинъ** (345 об), **наземъ** (350) и др. [Виноградов 1978: 33–34; Дмитриев 1973: 196]. При этом в тексте жития практически отсутствуют слова абстрактные и составленные по книжным словообразовательным моделям [Иванова 1997].

Синтаксис изученных житий также совершенно различен[6]. В "Житии Стефана Пермского" господствуют чрезвычайно сложные синтаксические построения, внутри которых оказываются многочисленные сочинительные и подчинительные конструкции, ряды однородных словоформ, причастные и деепричастные обороты, украшенные при этом цитатами из Священного писания и авторскими замечаниями:

И тако поиде дерзновенїемъ многы^м^ оустремисѧ к шествїю прежереченнаго ѡбраза и оутверди лице свое в землю Прьмскꙋю ꙗко бѣ лице его грѧдыи къ пре^ж^реченнѣи земли к земли забвеннѣи и не проходнѣи и безго^ѧ^нѣи и к земли пꙋстѣи и гладо^м^ ѡдержимѣи гла^ѧ^ же гл҃ю не гла^ѧ^ хлѣбныи но гла^ѧ^ иже не слышати слова Бж҃їа еже и Дв҃дъ вѣща во дн҃и гладꙋ насытѧтсѧ (Псал. XXXVI) **поиде в землю идѣже не ходиша ногами си ст҃ии ап^с^ли оучн҃ци г^с^ни поистиннѣ бо тѣ^х^ сѫ^т^ красны ногы блг҃овѣствꙋющи^х^ миръ поиде в землю идеже не бывали ѡбихо^ѧ^ ап^с^лтїи идѣже не изыде вѣщанїе и проповѣданїа ст҃ы^х^ ап^с^лъ идѣ^ж^ не бѣ ни слѣда блг҃оч^с^тьа ни бг҃оразоумїа идѣ^ж^ имѧ Божїе ѡтинꙋ^ѧ^ не именовасѧ идѣже поклонѧютъ^с^ идоло^м^ идѣ^ж^ жрѫ^т^ жрьтвища слоужаще глꙋхы^м^ кꙋмиро^м^ идѣже молѧтъ^с^ издолбнены^м^ болвано^м^ идѣ^ж^ вѣрꙋютъ в кꙋдесы и влъхванїе и в чарованїа и в бѣсованїа и въ прочаа прелести дїаво^ѧ^скыа идѣже сѫ^т^ гл҃ми иноѧзычници невѣрнїи идѣже рекоми невѣгласїи прелщении некрщн҃ни чл҃ци** (ЖСтП 264об- 265).

Именно повтор на разных языковых уровнях (лексическом, семантическом, морфологическом и синтаксическом) организует текст "Жития Стефана Пермского". При этом синтаксический период усложняется анафорами, эпифорами грамматического характера (гомойотелевтом) и ассонансами, усиливающими ритмику повторов и привносящими в текст рифму. Такой сложный синтаксис является главным компонентом экспрессивно-эмоционального, украшенного стиля, который уже тради-

---

[6]С сожалением приходится признать, что, во-первых, поскольку нет достаточных знаний в области исторического синтаксиса, нельзя в полной мере применить сопоставительный метод изучения при анализе синтаксиса житий конца XIV–XV вв., а во-вторых, приходится ограничиваться сопоставлением синтаксиса лишь исследованных нами текстов между собой. Это последнее, конечно же, само по себе и вполне допустимо и интересно, но не позволяет дать широкую интерпретацию синтаксических явлений и специфики синтаксиса изучаемых произведений в контексте общего развития синтаксической системы древнерусского языка.

ционно именуется стилем "извития словес" и который воспроизводит приемы византийской риторической прозы, дополняя их новыми оригинальными чертами.

В противоположность синтаксису "Жития Стефана Пермского", синтаксис "Жития Кирилла Белозерского" и "Жития Алексея митрополита" Пахомия Логофета характеризуется неусложненностью и лаконичностью конструкций:

Ѳеѡдоръ же ꙗко оуслыша дивлѧшесѧ помышлѧше же ꙗко нѣкыи ѿ вльмѡжь прїиде къ ст҃омꙋ млт҃вы ради и посла в монастырь блж҃еннаго Кѵрила хотѣ извѣстно оувѣдѣти кто сꙋть бывшеи в мѡнастыри вчера и третїемь дн҃и (ЖКБ 401 об – 402); **Видѣвше же хлѣбници монастырѧ того таковое чюдо и҆ ж҃ своими рѫками брашно емлюще бѧхѫ ꙗко ег҆а мнѡжае даѧхѫ приходѧщи҆м глада ра҆ тог҆а мнѡжае множахѫ брашна и изобиловахѫ а ег҆а ѡставиша даѧти хлѣбъ оубогым тог҆а паче мѣры начинахѫ скꙋдѣти** (ЖКБ 437 об – 438).

Такой синтаксис влияет на динамизм изложения и его простоту.

Отличительной особенностью синтаксиса житий Пахомия Логофета является широкое использование praesens historicum.

Употребление praesens historicum при изложении событий прошлого известно в древнерусских текстах как оригинальных, так и воспроизводимых. Однако тексты исследуемых житий характеризуются в этом отношении тем, что формы настоящего и прошедшего времени при рассказе о прошлом чередуются в пределах одного предложения или рядом стоящих предложений и воспроизводят манеру устного рассказа о событиях. Как известно, рассказчик, говоря о прошлом, оживляет и актуализирует событие, употребляя формы настоящего времени и тем самым приближая его к моменту речи.

Praesens historicum интересен противоречием между формой настоящего времени и функцией обозначения прошедшего, выражением предшествования и одновременности. Это создает эффект псевдоактуальности и влияет на стилистическую маркированность исторического настоящего. "Значением особого рода" называет В.Г. Адмони значение прошедшего времени, заданное всем характером текста и наслоившееся на значение презенса, которое придает повествованию "особый подчеркнутый и приближенный к слушателю оттенок, делая повествование более выразительным" [Адмони 1988: 100–101].

Явное несоответствие употребления форм презенса плану прошедшего в контексте, некий "грамматический конфликт" в языке "Жития Кирилла Белозерского" и "Жития Алексея митрополита" придает изображению дополнительную напряженность и эмоциональность, оживляет рассказ и тем самым выполняет стилистическую задачу. Служит стилистическим целям и использование темпоральной роли praesens historicum, когда повествование смещает настоящее в прошлое [Кузнецов 1949: 24], переносит читателя в окружение минувших событий, создавая иллюзию его сопричастности. Иными словами, изложение в историческом презенсе имитирует достоверность рассказа и делает читателя почти очевидцем изображаемого. Этого Пахомий Логофет добивается вполне: все житие и чудеса святого выглядят весьма зримо, а читать их занимательно.

По существу любой отрывок из текстов обнаруживает чередование форм настоящего и прошедшего времени при описании тех или иных событий. Проиллюстрировать это нетрудно:

Слѫчи҆ оубо прїити Махрищьскомꙋ игꙋменꙋ Стефанѫ мѫжꙋ сѫщꙋ в добродѣтели съвршенꙋ всѣ҆м знае҆м великаго ра҆ житїа сего пришествїе ꙋвѣдѣвъ Козма течеть оубо с ра҆ѡстїю к немѫ мнѡ҆г во время преиде ѿнелиже ѡжидаше его и припадае҆т къ ч҆стны҆м его нога҆м слезы ѿ очїю проливаѧ и мысль свою сказꙋет емꙋ въкѫпѣ же и моли҆т его еже въ҆ложити на нь иноческыи ѡбраз (ЖКБ 383 об);

Но что оубо блж҃ныи Кири҆лъ творить по си҆х ꙗко позна оубо зависть ѿ Сергїа Азакова бывающѫю на҆ не ѡскорбисѧ ни҆ж томꙋ прерѣкова но гнѣвѫ

мѣсто даетъ ѿходить ѿтꙋдѫ в древнїи монастырь Ржтва Прчтыѧ и тамо бе3млъствꙋѧ бѧше (ЖКБ 393 об);

Вроучи же и старѣишиньство предреченномоу Андроникоу и всѧ ꙗже к потребѣ монастырскаго строенїа томоу дароуеть и ѡбщее житїе в немъ съставлѧеть (ЖАМ 124 об);

Сеи оубо Иѡанъ слышав о стмь приходитъ с вѣрою и скоро исцѣленїе полоучивъ и ѡтиде здравъ в домь свои (ЖАМ 135 об -- 136).

В текстах житий, написанных Пахомием Логофетом, присутствие praesens historicum нередко сопровождается указаниями на прошедшее время (кроме глагольных форм): много ꙋбо времѧ преиде, по сих же временех, по семъ же единои недѣли прошедши и др. Такие указания по своей функции тождественны временным наречиям, употребление которых с praesens historicum оценивается исследователями как черта, характерная для разговорной речи [Россихина 1996: 105], а использование praesens historicum в несобственно-прямой речи, как было давно отмечено, носит простонародную окраску [Herdin 1905: 28].

Praesens historicum был зафиксирован по древним историческим хроникам и жизнеописаниям, которым и обязан своим собственным именем. Но обычно в древних текстах praesens historicum представлен в ином виде, нежели в житиях Пахомия Логофета. Как правило, одной-двумя глагольными формами прошедшего времени читателя вводят в контекст с планом прошлого. А далее в повествовании употребляются формы настоящего времени. В "Житии Кирилла Белозерского" и "Житии Алексея митрополита" контекст ориентирован в прошлое и общей концепцией повествования, и указаниями на прошедшее, и употреблением прошедших форм глагола. Но эти последние постоянно чередуются с формами настоящего времени, что не характерно для древней письменности и, без сомнения, представляет собой отступление от принципов построения и синтаксических норм книжно-славянского типа литературного языка.

Синтаксис Первой редакции "Жития Михаила Клопского" лишен книжного характера: Оу влакы в рꙋка ширинка и ѡнъ ширинкꙋ дергъ из рꙋкъ вонъ оу влакы да на главꙋ влакы доѣдешъ в Смоленско и поставѧтъ тѧ владкою и ѣзалъ влака в Смоленско и сталъ влакою(349); И посла к немоу игꙋменъ питъ и ѣсть ѿ трапезы и ѡни пришли ажно заперто и ѡни ѿперли ажь теманъ сѧ кꙋритъ а его в животи нѣть (350); более того -- в нем есть фрагменты, представляющие собой откровенную запись живой речи: хватѧ старцы Михаила на стои нали а* его в манастырѣ нѣт (ЖМК 348-348об), хватѧ а* Михаила ни вывало (ЖМК 348об), ꙋ него рꙋка и нога и ꙗзыкъ проч ѿпѧлсѧ и не говоритъ (ЖМК 348об) и др.

Таким образом, исследование оригинальных агиографических текстов, созданных на Руси в конце XIV и в XV вв., со всей очевидностью демонстрирует разнообразие их языковой (а значит, и стилистической) организации, свидетельствующее о ненормированности выбора и употребления языковых единиц разными агиографами в этот период.

Епифаний Премудрый в своих житиях наиболее строго выдерживает книжный украшенный стиль, ориентированный на классические риторические образцы. И хотя он широко использует в житиях бытовую лексику, она, попадая в сложно организованный текст, входя в системные отношения с книжными лексическими единицами, нейтрализует свою маркированность и гармонично функционирует в его произведениях.

Пахомий Логофет упрощает повествование, отказываясь от усложненного синтаксиса и ориентируясь на разговорный. При этом он не допускает употребления слов и выражений, распространенных в быту, видимо, осознавая неизбежное еще большее снижение стиля при их функционировании в несложном синтаксисе.

Что же касается языка Первой редакции "Жития Михаила Клопского", то он с трудом может быть отнесен к книжному литературному.

Также совершенно очевидно, что тексты изученных житий фиксируют прорыв морфологических, лексических и синтаксических явлений живого древнерусского языка в книжный и тенденцию их укрепления к концу XV в. в языке оригинальных произведений агиографического жанра.

И, наконец, о втором южнославянском влиянии, которое в истории языка традиционно связывается с периодом конца XIV–XV вв. Изученные древнерусские жития в языковом отношении весьма различны, и потому их следует исключить из корпуса текстов, отражающих второе южнославянское влияние.

ИСТОЧНИКИ

Житие Стефана Пермского – ЖСтП: РНБ (ГПБ), собр. Погодина, № 862, лл. 253–348 об (XVI в.).

Житие Кирилла Белозерского – ЖКБ: РГБ, ф. 173, МДА, № 208, лл. 377–466 (XV–XVI вв.).

Житие Алексея митрополита – ЖАМ: ГИМ, Синодальное собр., № 948, лл. 118 об – 144 (70-е годы XV в.).

Житие Сергия Радонежского – ЖСР: РГБ, ф. 304, собр. Троице-Сергиевой лавры, № 746, лл. 209–261 об (XV в.).

Житие Михаила Клопского – ЖМК: РГБ, ф. 113, № 659, лл. 344–351 об (XVI в.).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Аверинцев С.С., Андреев М.Л., Гаспаров М.Л., Гринцер П.А., Михайлов А.В. 1994 – Категории поэтики в смене литературных эпох // Историческая поэтика. Литературные эпохи и типы художественного сознания. М., 1994.

Адмони В.Г. 1988 – Грамматический строй как система построения и общая теория грамматики. Л., 1988.

Виноградов В.В. 1980 – Избранные труды. О языке художественной прозы. М., 1980.

Виноградов В.В. 1978 – Основные этапы истории русского языка // Избранные труды. История русского литературного языка. М., 1978.

Виноградов В.В. 1947 – Русский язык. Грамматическое учение о слове. М., 1947.

Герд А.С. 1990 – Язык русской агиографии XVI в. Опыт автоматического анализа / Под ред. А.С. Герда. Л., 1990.

Дмитриев Л.А. 1973 – Житийные повести русского Севера как памятники литературы XIII–XVII вв. Л., 1973.

ДРГ XII–XIII 1995 – Древнерусская грамматика XII–XIII вв. М., 1995.

Иванова М.В. 1994 – Словообразовательная модель словосложения в древнерусском языке конца XIV в. // ФН. 1994. № 1.

Иванова М.В. 1995 – К истории взаимодействия "книжного" и "некнижного" в лексике литературного языка на рубеже XIV–XV веков // Филологический сборник (к 100-летию со дня рождения академика В.В. Виноградова). М., 1995.

Иванова М.В. 1997 – Ряд предметный и ряд словесный в "Житии Михаила Клопского" // ИАН СЛЯ. 1997. № 5.

Кузнецов П.С. 1949 – К вопросу о praesens historicum в русском литературном языке // Доклады и сообщения филол. ф-та МГУ. Вып. 8. М., 1949.

Кузьмина И.Б., Немченко Е.В. 1982 – История причастий // Историческая грамматика русского языка. Морфология. Глагол. М., 1982.

Ларин Б.А. 1975 – Лекции по истории русского литературного языка (X – сер. XVIII в.). М., 1975.

Мещерский Н.А. 1981 – История русского литературного языка. Л., 1981.

Пешковский А.М. 1956 – Русский синтаксис в научном освещении. Изд. 7-е. М., 1956.

Россихина Г.Н. 1996 – Об историческом презенсе в немецком литературном языке // ФН. 1996. № 2.

РГ 1980 – Русская грамматика. Т. I. М., 1980.

Толстой Н.И. 1988 – История и структура славянских литературных языков. М., 1988.

Herdin E. 1905 – Studien über Bericht und indirekte Rede. Uppsala, 1905.

Hüttl-Folter G. 1996 – Syntaktische Studien zur neueren russischen Literatursprache. Die frühen Übersetzungen aus dem Französischen. Wien; Köln; Weimar, 1996.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1998

© 1998 г. Н.В. ПЕРЦОВ

К ПРОБЛЕМЕ ИНВАРИАНТА ГРАММАТИЧЕСКОГО ЗНАЧЕНИЯ. II.

(Императив в русском языке)

Настоящая работа примыкает к статье [Перцов 1998], в которой были предложены формулировки инвариантов русских глагольных временны́х граммем и заданы экспликации их частных значений, выявляющие связи этих значений с инвариантом. Здесь мы намереваемся выполнить аналогичную задачу в отношении другой глагольной граммемы русского языка – граммемы императива. Общая теоретическая основа данной работы остается, разумеется, той же, что была изложена в первом разделе статьи [Перцов 1998]. Мы сохраняем здесь также оформление подачи частных значений граммем, складывающееся из следующих компонентов: 1) заголовка – краткой характеристики данного значения, 2) иллюстративного языкового материала, 3) экспликации – формулировки значения наподобие толкований в современной литературе по семантике[1] – и 4) комментариев.

Мы рассматриваем только собственно императивные синтетические формы, т.е. формы повелительного наклонения 2 л. ед. и мн. числа – *пой(те), спой(те)*, – оставляя за пределами нашего внимания разнообразные случаи, нередко подводимые в грамматиках и исследованиях под рубрику повелительного наклонения: формы так называемого повелительного наклонения совместного действия – типа *споем(те)(-ка)!, будем петь, давай(те) споем, давай(те) (будем/те) петь*; формы самопобуждения – типа *спою-ка, дай(те) спою*; аналитические способы выражения побуждения, обращенного к 3 л. – типа *пусть ⟨пускай⟩ поет / споет / поют / споют*, и т.п.[2] Автор склоняется к трактовке указанных выражений скорее как случаев несобственного употребления языковых единиц (форм индикатива, синтаксических конструкций) для выражения побуждения (т.е. как случаев "транспозиции" тех или иных единиц в семантическую область императива), нежели как носителей грамматического значения императива.

В дальнейшем изложении для указания того положения дел, которое выражается глагольной формой, используется слово "факт", охватывающее все типы глагольных предикатов – действия, события, процессы, состояния, свойства ... Именно такой терминологический выбор сделан Р.О. Якобсоном в работе [Якобсон 1972] (где говорится о "сообщаемом факте" и "факте сообщения"); в книге [Comrie 1985] предпочтение отдано слову "ситуация". Выбор автора настоящей работы продиктован исключительно его личным вкусом. Факт, выраженный глагольной формой *V*, обозначается ниже через "V".

---

[1] Как и в работе [Перцов 1998], говоря о формулировках инварианта и частных непрямых значений граммемы (в данной работе – императива), мы отказываемся здесь от термина "толкование", не желая создавать иллюзию наличия у нас формального семантического метаязыка. Наши экспликации – это не более чем сжатые семантические описания, явно задающие связь соответствующих частных значений граммемы с инвариантом.

[2] См. универсальную восьмичленную парадигму императива в [Храковский, Володин 1986: 24] и расширенную парадигму императива в русском языке в [ТФГ 1990: 198], а также обсуждение проблемы состава императивной парадигмы в русском языке в [ТФГ 1990: 189 и сл.].

Предлагается следующая экспликация инварианта русского императива в его прямом аппелятивном употреблении:

V_{imper} = '(1) говорящий сигнализирует о своем волеизъявлении относительно реализации адресатом факта "V";
(2) говорящий или адресат хочет реализации факта "V"'.

КОМПОНЕНТ 'СИГНАЛИЗАЦИЯ'

Императив в его апеллятивном употреблении представляет собой специфическое речевое действие – особый иллокутивный акт волеизъявления – в сопоставлении с другими способами выражения последнего. Отношение между императивом и выражением волеизъявления посредством развернутого выражения с перформативным глаголом в индикативе 1 л. ед. числа (типа *Я прошу / предлагаю / советую / требую / разрешаю...*) сводится к противопоставлению 'сигнализации' и 'сообщения', восходящему к Ausdrucksfunktion (экспрессивной функции) и Darstellungsfunktion (репрезентативной функции) К. Бюлера, как отмечается в [Iordanskaja, Mel'čuk 1995: 215]. В этой же работе указывается, что средства сигнализации – в отличие от средств сообщения – не допускают (или не склонны допускать – добавим мы) применения операции отрицания или постановки вопроса. В настоящей работе не только экспликация инварианта, но и все экспликации частных непрямых значений императива содержат компонент 'говорящий сигнализирует...'.

Компонент 'сигнализация' в экспликации инварианта императива отражает – как, думается, в большинстве случаев вхождения этого компонента в смысл языковых единиц – непосредственную психологическую связь между сознанием говорящего и сообщаемым фактом, выраженным глагольной формой, – так сказать, "малое (или нулевое) психологическое расстояние" между ними – по сравнению с разнообразными неимперативными способами выражения побуждения. Для обозначения указанной психологической связи непросто подобрать удачное выражение. Можно называть соответствующий аспект значения императива субъективностью (см. ниже) или модальностью; мы предпочитаем использовать для этой цели ярлыки "экспрессивность" или "эмоциональность".

Именно эта особенность императива составляет основную мысль статьи [Грабье 1983: 106], где она характеризуется следующим образом:

> "⟨...⟩ благодаря употреблению императива говорящий добивается большей экспрессивности сообщения, выражает свое субъективное, в частности, оценочное отношение к действию. В контекстах, в которых императив замещает другое наклонение, он всегда экспрессивнее, чем другие способы модального выражения" (подчеркнуто нами – *Н.П.*).

В. Грабье указывает, что такая точка зрения на инвариантное значение императива была высказана еще С.И. Карцевским в работе "Système du verbe russe" (Paris, 1927), где по поводу императива отмечалось "активное отношение говорящего к действию". Аналогичная точка зрения была выражена Р.О. Якобсоном [Якобсон 1985: 215 и сл.], который указывал на "волюнтативный аспект действия", обозначенного императивной формой, и тоже ссылался на С.И. Карцевского (а также на Н.П. Некрасова).

В специально посвященной императиву книге [Храковский, Володин 1986: 227] выражен скепсис по отношению к характеристике императива как субъективного отношения говорящего к действию, данной в [Грабье 1983]; авторы этой книги не предлагают единого значения императива, охватывающего любые его употребления, как прямые, так и непрямые (можно предположить, что они вообще отрицают наличие такого общего значения). Возможно, расплывчатый термин "субъективный" дает основание для подобного скепсиса, однако нам представляется, что все же соответствую-

щее понятие верно ориентировано в направлении психологической природы императива как носителя тесного "контакта" между сознанием говорящего и побуждением – с бóльшим эмоционально-экспрессивным потенциалом, чем другие глагольные формы. Поэтому, отказываясь от термина "субъективный" при характеристике инварианта императива, мы удерживаем в нашей формулировке инварианта суть соответствующего понятия – посредством компонента 'сигнализация', который, как было сказано выше, предполагает экспрессивность.

Итак, из упомянутых взглядов на императив Карцевского, Якобсона и Грабье вытекает сведéние инварианта императива к "субъективному отношению говорящего к действию" [Грабье 1983: 111]. Аналогичное решение принято в относительно недавнем исследовании [Шаронов 1991: 7], где весь разнообразный спектр употребления императивных форм объединен "экспрессивно-модальным отношением говорящего к действию". Нам представляется подобное исключение из инварианта императива основной его интерпретации – побуждения – его неоправданным обеднением – при том что компонент "субъективности", т.е. эмоционально-экспрессивной насыщенности, мы признаем существенной составной частью этого инварианта. Этот компонент, входящий в нашем инварианте в 'сигнализацию', обнаруживается во всех упоминаемых ниже непрямых интерпретациях императива; в частности, он проявляется в том, что при помещении соответствующих высказываний с императивными формами в позицию дополнительного придаточного предложения при глаголе речи соответствующую императивную форму необходимо или более естественно трансформировать в форму другого наклонения, например: *Сделай Иван это раньше, не возникло бы никакого недоразумения → Петр сказал, что если бы Иван сделал это раньше, ...*; *А он вчера мне это и скажи → Я сообщил, что он мне вчера неожиданно сказал это*. Тем самым, во всех экспликациях частных интерпретаций императива требуется введение 'говорящего' [Шаронов 1991].

Если это так, то, вообще говоря, можно было бы удовлетвориться более компактной формулировкой инварианта императива – "экспрессивностью", – которая одна способна охватить все частные значения последнего. Думается что инвариант императива имеет более сложное строение, равно как и его соотнесенность с частными интерпретациями. Нам не хотелось бы отказываться от компонента 'волеизъявление' в экспликации инварианта императива: слишком существен этот компонент в качестве основной характеристики данной граммемы. Как мы попытаемся показать далее – при разборе конкретных непрямых употреблений императива, – не только смысл 'экспрессивность', свойственный всем употреблениям, но и другие смыслы, входящие в предложенный выше инвариант императива или так или иначе сопряженные с ним, поразному проявляются в этих употреблениях – "так или иначе пробивают себе дорогу" (по выражению А.В. Бондарко [Бондарко 1978: 158] в связи с несобственным употреблением других грамматических форм – форм времени).

КОМПОНЕНТ 'ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ'

В формулировках семантики императива в качестве способа обозначения его ядерного смысла нередко выступают слова "побуждение" и "побуждать"; иногда "волеизъявление" и "побуждение" используются равноправно в рамках одного и того же семантического описания императива. Для обоснования нашего выбора в пользу "волеизъявления" проанализируем "императивную ситуацию" (термин А.В. Бондарко – [ТФГ 1990: 80 и сл.]). Говорящий, употребляя императивную форму в императивной ситуации, манифестирует состояние своего сознания по отношению к некоторому факту, который может или должен реализовать адресат после текущего высказывания. Для большинства иллокутивных функций императива в апеллятивном употреблении – приказа, требования, просьбы и др. [Храковский, Володин 1986: 136 и сл.; Падучева 1996: 75 и сл.] – можно утверждать, что говорящий хочет реализации факта, однако в общем случае это не верно: в ситуации разрешения, выражаемого

императивной формой *V* (например: *Можно мне взять эту книгу? – **Бери***), реализации факта "V" хочет именно адресат, а говорящему может быть совершенно безразлично, будет этот факт реализован или нет. Компонент (2) в инварианте отражает то обстоятельство, что желание реализации факта может быть у любого из участников речевого акта.

Между тем, в соответствии с языковым чутьем автора, русский глагол *побуждать* и его субстантивный дериват *побуждение* предполагают каузацию желания совершить нечто именно у адресата, что не всегда случается в ситуации употребления императивных форм. У слова *волеизъявление* нет подобной привязки желания непременно к адресату.

Предпочтя в формулировке инварианта 'волеизъявление' 'побуждению', мы в дальнейшем изложении не отказываемся от употребления слов "побуждение" / "побуждать": они удобны и в силу более выразительной направленности на императивную ситуацию, и в силу краткости, и в силу большей употребительности и привычности в описаниях императива, и в силу естественного, словарно обусловленного, присоединения актантов адресата и содержания (*побуждение X-а к P, побуждать X-а к P* / *(с)делать P*), наконец, в силу наличия адъективного деривата "побудительный". Тем самым, в рамках данной работы мы придаем слову "побуждение" смысл 'волеизъявление относительно реализации адресатом некоторого факта', лишая "побуждение" указанной выше импликации желания адресата, свойственной обыденному языковому употреблению этого слова[3].

КОМПОНЕНТ 'РЕАЛИЗАЦИЯ ФАКТА'

За внешне неуклюжим компонентом 'реализация адресатом факта "V"' (не обязательно 'действия') стоит то обстоятельство, что побуждение, выражаемое формой императива, не обязано относиться к действию, ср. императивы *спи, сиди, лежи*, в которых мы имеем названия состояний, а не действий.

РАЗЛИЧИЕ ИМПЕРАТИВНОГО И НЕИМПЕРАТИВНЫХ СПОСОБОВ ВЫРАЖЕНИЯ ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЯ

Сравним следующие два ряда выражений:

(1) *Затопи печь*! vs.

(2) (а) *Прошу тебя затопить печь* ⟨*Требую, чтобы ты затопил печь*⟩; (б) *Затопил бы ты печь*!; (в) *Затопишь печь*!; (г) *Затопить печь*!; (д) *Пусть Игорь затопит печь*!; (е) *Затоплю-ка печь* ⟨*Затопим-ка печь*⟩; (ж) *Не затопишь ли ты печь*?[4]

В (1) говорящий устанавливает непосредственную – "интимную" – связь между собой и волеизъявлением; выражающая его глагольная форма изначально, по своей природе, предназначена именно для этой функции. В серии (2) волеизъявление выражается несобственным образом: соответствующие глагольные формы не имеют такого специального назначения. (При этом, подобно императиву, во всех случаях

---

[3] Отметим, что нередко в формулировках значения императива желание реализации факта жестко приписывается говорящему, а возможность альтернативного желания адресата не упоминается. Ср. толкование императива, предложенное А. Вежбицкой, которая вводит компонент ' Я говорю, что я хочу, чтобы ты сделал это' [Вежбицкая 1985: 256; Wierzbicka 1991: 205], или описание императива у Ю.Д. Апресяна, который сводит семантику императивных форм глаголов действия "к самой общей идее побуждения, т.е. к выражению желания, чтобы адресат сделал P, и попытке каузировать адресата сделать P" [Апресян 1995: 149].

[4] Обзор некоторых косвенных способов выражения побуждения (в основном – посредством внешне вопросительных предложений) дан в [Булыгина, Шмелев 1997: ч. III, гл. 4].

серии (2), кроме (2а), по-видимому, тоже имеет место сигнализация, а не сообщение.) В случае (е), где глагольные формы предстают тоже как специальные носители именно функции волеизъявления, последняя привносится знаком *-ка*[5], за вычетом которого формы *затоплю, затопим* не имеют специальной функции волеизъявления.

А.В. Бондарко в [ТФГ 1990: 87] характеризует аналогичное противопоставление как противопоставление категориального (прямого) и некатегориального (косвенного) типа императивности; в первый тип включаются, помимо собственно императива, все случаи, в которых "императивная семантика выступает как категориальное значение особых форм (морфологических и синтаксических)", например, императивные инфинитивы типа *Молчать*! (т.е. способ (2г)). Однако императивная функция не является для инфинитива главной, специальной, поэтому нам представляется более четким противопоставление собственно императивных и прочих способов выражения побуждения.

Из большей связи – в случае императива – сознания говорящего и побуждения, из большей субъективности и эмоциональной насыщенности императива в сопоставлении с другими способами выражения побуждения не следует делать вывод о непременно более категоричном характере собственно императивного побуждения. В серии (2) побуждение в случаях (в) и (г) представляется более сильным и настойчивым, чем в собственно императивном случае (1): в (г) оно просто ультимативно и безапелляционно (категорическое приказание, своего рода окрик), а в (в), по характеристике А.В. Бондарко [1978: 107–108], "категориальное волеизъявление выражено сильнее, так как выражается не только побуждение к действию, но и уверенное его представление как реального факта в будущем"[6] (данный смысловой компонент привносится именно благодаря собственному – прямому – значению формы будущего простого совершенного вида).

КЛЮЧЕВЫЕ КОМПОНЕНТЫ ИНВАРИАНТА

Рассмотрим те связанные с инвариантом смыслы, которые релевантны в аспекте установления связей между частными значениями императива и инвариантом. Прежде всего, это непосредственно входящий в инвариант компонент '**волеизъявление**' ('побуждение') и компонент '**хотеть**' / '**желание**' ('говорящий или адресат хочет реализации факта').

Далее, как уже упоминалось выше, из входящего в инвариант компонента 'сигнализация' вытекает смысл, отражающий тесную психологическую связь между сознанием говорящего и фактом, к реализации которого он побуждает адресата. Для обозначения этого смысла мы используем ярлыки '**экспрессивность**' или '**эмоциональность**' (сознавая их условность).

Напомним, что, хотя один смысл 'экспрессивность' достаточен для скрепления всех частных интерпретаций императива, подобный способ скрепления выглядит слишком тривиальным. Поэтому мы обращаемся к двум другим смыслам, которые, как нам представляется, "сопряжены" с инвариантом императива приблизительно так же, как коннотации сопряжены с лексическими значениями (в русском языке со значением 'осел' сопряжена коннотация 'глупость и упрямство', со значением 'ворон' – коннотация 'мрачность', и т.п.). Это смыслы '**должен**' ('**долженствование**') и '**условие**', которые мы назовем коннотациями инварианта императива.

Включение смысла 'долженствование' в коннотации императива связано с тем, что, хотя этот смысл и не вытекает со строгой необходимостью из смысла 'побуждение' (если X побуждает Y–а к Z–у, из этого не следует, что Y должен делать Z), все же

---

[5] О его скорее аффиксальном – а не лексическом – статусе см. [Перцов 1996].

[6] В концовке данной цитаты нам представляются слишком категоричными прилагательные "уверенное" и "реального".

соответствующая модальность высоко вероятна при выражении побуждения – ср. близкий к модальности долженствования смысл прогноза будущего действия адресата – 'Я думаю, что ты сделаешь это...' – в одном из пунктов толкования А. Вежбицкой [Wierzbicka 1991: 256].

Что касается смысла 'условие', его трактовка как коннотации 'побуждения' связана со следующим рассуждением. Допустим, мы имеем импликацию "Q → P"; тогда Q естественно назвать условием (для) P. Стандартным способом передачи этой импликации является сложноподчиненное предложение условия: *Если* Q, *то* P. Однако можно продемонстрировать адресату сообщения действенность этой импликации, прибегнув к нестандартному способу, – предложить ему выполнить условие Q, чтобы убедиться в последующей реализации P. Вместо условных предложений типа:

Если ты придешь вовремя, мы все успеем сделать.
Если ты дотронешься до сундука, я закричу.

мы можем прибегнуть к императиву, выражающему не столько побуждение, сколько условие:

Приди (ты) вовремя, (и) мы все успеем сделать.
Дотронься (ты) до сундука, (и) я закричу.

Итак, в ситуации импликации "Q → P" для подачи факта P можно предварить его подачей воздействующего на него факта Q, обеспечить его реализацию. Для этого и служит побудительная сила императива: говорящий как бы побуждает адресата совершить Q в целях выполнения условия для P, и P в этом случае выделен ярче, чем в случае стандартных способов выражения условного или уступительного значения (в силу большей экспрессивной силы императива).

В [ТФГ 1990: 84] (автор раздела – А.В. Бондарко) в подобных случаях употребления императива справедливо усматривается "частичное устранение признака "волеизъявление":

> "Говорящий (пишущий) по существу не просит и не требует, чтобы что-то в действительности было сделано. Волеизъявление оказывается не реальным, а всего лишь фигуральным. В связи с этим императивность выступает в условном варианте, она становится фигуральным способом представления условия в ситуации "условие – следствие": 'Попробуйте, сделайте это – и если вы это сделаете, то получите следующий результат'".

Коннотация 'условие' "наводится" и в тех случаях, когда субъект при форме императива в придаточном предложении выражен не местоимением второго лица, а другими способами:

***Скажи** твои друзья мне об этом раньше, недоразумения не было бы.*

В интерпретации подобных употреблений императива в придаточных предложениях условия мы расходимся с точкой зрения некоторых исследователей (среди прочих назовем В.С. Храковского и А.П. Володина [Храковский, Володин 1986: 226 и сл.], А.В. Бондарко [ТФГ 1990: 84], Г.Г. Сильницкого [ТФГ 1990: 98]), в соответствии с которой значение императива здесь полностью исчезает, а соответствующие формы совпадают лишь внешне с формами императива, т.е. имеет место грамматическая омонимия[7]. Сопоставим следующие два высказывания:

---

[7] Примечательно, что при этом "следы" императивности в подобных употреблениях все же отмечаются, ср. у Г.Г. Сильницкого: "⟨...⟩ данная форма имплицирует определенную з а и н т е р е с о в а н н о с т ь субъекта речи в реализации / нереализации действия придаточного условного" [ТФГ 1990: 98]. "Заинтересованность" можно соотнести с компонентом 'экспрессивность' в нашем инварианте императива.

(а) *Выиграй (ты) матч, и все трудности разрешились бы*;
(б) *Выиграй он матч, все трудности разрешились бы.*

В обоих случаях императив выражает не столько побуждение, сколько условие, однако, как отмечает А.В. Бондарко в упомянутой работе, в случаях типа (а) значение императива исчезает не полностью, а в случаях типа (б) оно менее явно – и подобным употреблениям Бондарко в императивности полностью отказывает. Мы полагаем, что столь резкой границы между случаями типа (а) и типа (б) нет: в (б) отношение "условие–следствие" подано – подобно случаю (а) – как связь между побуждением, обращенным к 3 л., и некоторым следствием из выполнения этого побуждения: выполнение побуждения создает предпосылки для реализации следствия. В придаточном предложении примера (б) – *Выиграй он матч, ...* – говорящий условно побуждает некоторое лицо выполнить соответствующее действие – выиграть матч, – после чего адресат высказывания сможет убедиться в реализации факта, выраженного в главном предложении, – в разрешении всех трудностей.

Более сложный случай представляют условно-императивные придаточные, в которых субъект при императиве не обладает способностью к целесообразной деятельности: *Начнись дожди хотя бы на неделю раньше, с лесными пожарами удалось бы справиться быстрее* (пример Ю.Д. Апресяна). Здесь ситуация в придаточном предложении еще более удалена от собственного значения императивности. Однако подобно тому, как в случаях типа *Зеленейте, нивы*! мы свободно усматриваем персонификацию субъекта при императиве и не станем подвергать сомнению наличие компонента 'побуждение' в такого рода обращениях к неживым объектам[8], в приведенной фразе, относящейся к дождям и лесным пожарам, как нам думается, неявно представлено "условное обращение" к дождям – побуждение начаться раньше: выполнение этого побуждения позволяет убедиться в реализации более быстрой победы над лесными пожарами.

Проведенное эвристическое рассуждение подтверждается также тем, что императив и вне контекста сложноподчиненного предложения, а именно – в контексте сочинения–паратаксиса, – может выражать условие, например:

Начни *делать ежедневно этот комплекс упражнений – и боль как рукой снимет.*

В этом примере побудительную силу императива вряд ли можно подвергать сомнению, однако здесь все же более существенно не столько побуждение, обращенное к адресату, сколько констатация некоторого условия для реализации факта, выраженного во втором члене паратаксиса. Подобное паратактическое выражение условного отношения с императивом отнюдь не является идиосинкратическим свойством русского языка, оно наблюдается, например, в английском, ср. примеры из [Haiman 1985: 44–45]:

Touch that chest, and I'll scream.
'Дотронься до этого сундука, и я закричу'.
Smile, and the world smiles with you.
'Улыбайся, и мир будет улыбаться вместе с тобой'.

Данному паратаксису условия родствен случай (И1) ниже – "возмездие за совершение действия"[9].

---

[8] Ср. [РГ1 1980: 623], где отмечается, что императивные формы "могут выражать побуждение, адресованное не лицу, а предмету; такое обращение характерно для поэтической речи".

[9] Укажем, что в [Haiman 1985: 39 ff.] на материале разных языков демонстрируется способность паратактических конструкций выражать отношения условия, причем не обязательно с использованием в первом члене паратаксиса именно императива. Данная функция паратаксиса типологически весьма распространена.

Как было сказано ранее, все непрямые употребления императива объединены общим семантическим компонентом 'экспрессивность'. Однако для более убедительной демонстрации связи непрямых употреблений императива с инвариантом мы будем указывать и другие смысловые компоненты, общие у экспликации частной интерпретации императива и его инварианта, из набора следующих смыслов: 'побуждение', 'желание', 'долженствование' или 'условие'. Первые два содержатся в инварианте, последние два являются его коннотациями.

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКАЯ ИЛИ ЛЕКСИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ ИНТЕРПРЕТАЦИИ ИМПЕРАТИВА

Рассмотрим вопрос об обусловленности интерпретации императивной формы в синтаксическом или лексическом аспекте, т.е. в условиях определенного синтаксического контекста или при соединении граммемы императива с определенным лексическим значением. Если перейти в область сугубо лексической фразеологии, то можно утверждать, что связи между лексическими значениями компонентов фраземы и ее общим значением может и не быть. Возьмем такие наудачу выбранные лексические фраземы, как *вить веревки* [*из кого*], *вольный казак* или *расправлять крылья*; ясно, что установление связи между лексическими значениями их компонентов и общим значением фраземы представляет собой нелегкую – если вообще выполнимую – задачу. При поиске инварианта лексемы можно не учитывать факты ее вхождения во фраземы. Последнее утверждение можно назвать принципом ф р а з е о л о г и ч е с к о й а в т о н о м н о с т и и н в а р и а н т а (лексемы или другой языковой единицы).

Правомерно ли распространять принцип фразеологической автономности инварианта из сферы лексики на случаи синтаксической или лексической обусловленности интерпретации граммемы? Этот вопрос остается для автора открытым. Вообще говоря, принятие этого принципа облегчило бы и задачу поиска инварианта граммемы, и задачу демонстрации связи интерпретаций граммемы с инвариантом последней: в случаях обусловленности интерпретации граммемы синтаксическим контекстом или лексемой можно было бы удовлетвориться простой констатацией такой обусловленности и не стремиться найти связь с инвариантом. Тем не менее, для большинства непрямых синтаксически или лексически обусловленных интерпретаций императива удается выявить связь с инвариантом (причем, нетривиальную, т.е. обеспечиваемую не только 'экспрессивностью').

Рассматриваемые ниже непрямые употребления императива по преимуществу можно трактовать как случаи синтаксических фразем, т.е. идиоматических синтаксических конструкций, в которых узлы помечены либо лексическими переменными, либо грамматическими (служебными) лексемами, по определению в [Mel'čuk 1995: 341]. Мы не будем относительно каждого частного значения императива решать вопрос о наличии / отсутствии в соответствующем случае синтаксической фраземы: для наших целей это не имеет существенного значения. (Отметим, впрочем, что пункты (И5) – (И7) ниже очевидным образом отвечают определению синтаксической фраземы.) Как и в работе [Перцов 1998], мы исходим из того, что в большинстве случаев вхождения граммемы в синтаксическую фразему ее инвариант не улетучивается (как это по преимуществу происходит с компонентами лексических фразем), а тем или иным образом сохраняется; поэтому мы и стремимся для синтаксических фразем выявлять следы инварианта граммемы императива.

Что же касается лексической обусловленности интерпретаций императива, в литературе уже отмечалось – [Апресян 1995: 149–151; Булыгина, Шмелев 1997: 188], – что некоторые лексемы обладают в форме императива нестандартными иллокутивными функциями; таковы стативные ментальные глаголы *знать, считать, думать, понимать, бояться, гордиться, стыдиться* и др. Трудно отрицать своеобразие интерпретации императивных форм этих глаголов, отраженное в толкованиях этих форм в

упомянутых выше двух работах; очевидно, что вклад граммемы императива в выражения *Знай / Думай / Пойми / Вспомни, что P* богаче стандартного побуждения, к которому сводятся императивы, скажем, в случаях типа *Говори / Скажи, что P* (*Если тебя будут обо мне спрашивать, ты всем* ***говори****, что я уехал*). Однако верно ли, что от побуждения в выражениях с указанными ментальными императивами ничего не остается? – Такой вывод все же слишком категоричен; думается, что во фразах типа *Знай, что он тебя предал* – при том что акцентируется в них действительно каузация сообщения адресату новой для него информации – побуждение все же присутствует. Нам представляется, что для плана содержания фраз типа *Знай, что P* (и для других ментальных императивов) выполняются пункты толкования А. Вежбицкой [Wierzbicka 1991: 256]: '(a) Я говорю: я хочу, чтобы ты знал, что P; (b) я говорю это потому, что я хочу, чтобы ты знал, что P; (c) я думаю: ты будешь знать, что P, вследствие этого' (во всяком случае, выполнение первых двух пунктов нам очевидно). Если взять выражения с императивом *Думай, что P*, то и для них, видимо, выполняются пункты толкования А. Вежбицкой; например, в пушкинских строках из посвящения к "Полтаве" – *Узнай, по крайней мере, звуки, / Бывало, милые тебе – / И* ***думай****, что во дни разлуки, / В моей изменчивой судьбе, / Твоя печальная пустыня, / Последний звук твоих речей – / Одно сокровище, святыня, / Одна любовь души моей* – императив *думай* очевидным образом выражает побуждение[10].

НЕПРЯМЫЕ УПОТРЕБЛЕНИЯ ИМПЕРАТИВА

Предлагаемый ниже обзор непрямых употреблений императива базируется преимущественно на главе XI – "Непрямые употребления императивных форм" – в книге [Храковский, Володин 1986: 226–246], представляющей собой наиболее полный и детальный источник сведений о семантике и поведении русского императива. Частично заимствуются отсюда характеристики употреблений императива и примеры; из непрямых употреблений рассматриваются только те, для которых соотнесение с данной выше формулировкой инварианта императива не очевидно. В приводимых ниже экспликациях ключевые компоненты, обеспечивающие связь с инвариантом (т.е. содержащиеся в формулировке инварианта или среди его коннотаций), подчеркиваются.

(И1) В специфическом значении "возмездия за выполнение действия"[11], (императив – в сов. виде, часто с частицами *только, еще* или выражениями *у меня, мне*):

Только ***закричи*** *– я тебя выгоню!*
Скажите *еще хоть слово – и они вас оставят без обеда.*
Попадись *мне только! Ты у меня* ***пикни*** *только!*
Поговори *мне еще!*

'Говорящий сигнализирует о неприятности, которая постигнет адресата, если будет реализован факт F; говорящий как бы побуждает адресата к реализации факта F, чтобы тот мог убедиться в реальности угрозы'.

---

[10] В [Апресян 1995: 150] употребление императива глагола *думать* ограничивается преимущественно фраземами типа *Думай что хочешь* ⟨*что угодно*⟩, которым дается такое толкование: 'можешь считать, что хочешь; мне безразлично, что именно ты считаешь'. Отметим, что даже в этом толковании фраземы побуждение все же дает рефлекс в виде пермиссивного компонента 'можешь' (разрешение – одна из альтернативных иллокутивных функций побуждения). Языковое чутье автора этих строк вполне допускает и в современном языке употребления императива *думай*, аналогичные пушкинскому в приведенной цитате.

[11] Другие терминологические "ярлыки" для обозначения этого круга употреблений: "побуждение к запрещаемому", "обратное побуждение" [РГ1 1980: 623].

В подобных случаях императив используется в речевом акте угрозы [Булыгина, Шмелев 1997: 289–290]: явно указывается (как в первых двух примерах) или подразумевается (как в остальных) некоторое "наказание", которое последует в том случае, если осуществится факт, обозначенный императивной формой. Реально говорящий не желает осуществления этого факта, но подает свое нежелание таким образом, как если бы он действительно побуждал адресата к выполнению соответствующего действия. Акцент делается на угрозе адресату; в качестве условия исполнения угрозы выдвигается некоторое возможное действие адресата, обозначаемое императивной формой. Побуждение, интерпретируемое как условие некоторого факта, – одна из функций императива; это проявляется и в случае (И6) ниже (императив благоприятного или неблагоприятного условия–обстоятельства).

Как видно из экспликации, связь с инвариантом обеспечивают компоненты ‘побуждение’ и ‘условие’ (союз *если* в экспликации).

(И2) С оптативным значением в конструкции с подлежащим 3 л. (форма императива – в сов. виде и ед. числе – предшествует субъекту):

Минуй *нас, пуще всех печалей, / И барский гнев, и барская любовь!* (Грибоедов)

‘Говорящий сигнализирует о том, что он хочет реализации факта F; говорящий представляет свое желание как побуждение, обращенное к субъекту при императиве’.

Связь с инвариантом осуществляется через коннотацию ‘желание’ и компонент ‘побуждение’.

(И3) Со значением долженствования (императив – в ед. числе; субъект императива – не *ты* и не *вы*; обычно императив предшествует субъекту):

И дрожь и злость меня берет, / И шевелится эпиграмма / Во глубине моей души, / А мадригалы им ***пиши****!* (Пушкин)
Они выдумали этот кружок, а он ⟨мы⟩ ***проводи*** *занятия.*
Мы пойдем в горный поход. – Снаряжение, конечно, я ***доставай****, не так ли?*
– Посадили психа на нашу голову. Так хорошо было втроем – и вдруг... ***Возись*** *с ним теперь!* (Ильф и Петров).

‘Говорящий сигнализирует о том, что субъект императива должен реализовать факт F; говорящий отрицательно оценивает это’.

Действие, которое должен выполнить субъект императивной формы, – явно выраженный или подразумеваемый, – подается как обращенное к нему побуждение. Связь с инвариантом осуществляется через коннотацию ‘долженствование’.

(И4) Со значением невозможности (при императиве отрицательная частица; субъект при императиве – 1 или 3 л.) [ТФГ 1990: 116]:

Я и слова ему не ***скажи*** *⟨не* ***говори****⟩.*
Всех распугал: никто не ***подойди.***

X *не* V_{imper} = ‘Говорящий сигнализирует о том, что X не может реализовать факт "V"; говорящий представляет это как следствие обращенного к X побуждения "не V_{imper}"’.

Не исключено, что модальность возможности ('X не может') следует заменить в этой экспликации на модальность долженствования ('X не должен'); в этом случае, кроме 'побуждения', связь с инвариантом обеспечивает еще и коннотация долженствования.

(И5) В конструкции с *хоть* для выражения значения потенциального следствия из реальной ситуации (императив – в несов. виде и ед. числе; субъект при форме императива отсутствует; императив следует после описания ситуации):

Обстановка крайне обострилась – хоть ***прекращай*** *игру.*
Аж лампы / сквозь воздух, / как свечи, фитилятся, / хоть ***вешай*** */ на воздух / топор* (Маяковский).
Он отчет написал, а там хоть без премии ***оставайся****.*

'Говорящий сигнализирует о том, что ситуация P [выраженная в первой предикатной части высказывания] такова, что можно реализовать факт F'.

Эта экспликация может быть переформулирована следующим образом:
'Говорящий сигнализирует о том, что, если имеет место ситуация P, то возможен F', или:
'Говорящий сигнализирует о том, что ситуация P является условием для возможности F'.

Из перифразы исходной экспликации явно видна коннотация 'условие', посредством которой обеспечивается в данном случае связь с инвариантом.

В [Храковский, Володин 1986: 241] утверждается, что реальная ситуация (в нашем первом примере – обострение обстановки) "оценивается говорящим как достигшая крайнего предела развития". Думается, это наиболее типичный случай интерпретации императивных форм в данной конструкции, однако возможны примеры, в которых не обнаруживается достижения крайнего предела развития: *Обстановка совершенно курортная – хоть* ***раздевайся*** *и* ***загорай.***

В случае (И5) мы имеем дело с явной синтаксической фраземой: данная интерпретация императива неизбежно сопряжена с наличием частицы *хоть*, предшествующей императивной форме[12].

(И6) В придаточной части сложноподчиненного предложения – для выражения условия или неблагоприятного обстоятельства (императив – в ед. числе – предшествует субъекту):

Признай *он мою правоту, обстоятельства сложились бы по-другому.*
Живи *еще хоть четверть века – / Все будет так. Исхода нет* (Блок).

'Говорящий сигнализирует о том, что факт F [выраженный в придаточном предложении] является условием для ситуации P [выраженной в главном предложении] или для не P; в последнем случае несмотря на F ситуация P все же реализуется'.

Императивная форма в придаточном предложении обозначает условие для реализации факта, выраженного в главном предложении (первый пример), или некоторое неблагоприятное обстоятельство для такой реализации, при этом все же ее не

[12] Экспликация данного частного значения императива, ее переформулировки и комментарии существенно опираются на предложения И.А. Мельчука, сделанные по поводу соответствующего фрагмента первоначальной версии настоящей работы.

отменяющее (второй пример). Иными словами, в данном случае мы имеем условное или уступительное отношение между сопоставляемыми фактами. Экспликацию можно переформулировать следующими приблизительными формулами: 'F имплицирует P' – для условия; 'F преимущественно имплицирует не P, при этом P' – для неблагоприятного обстоятельства. Импликация присутствует в обоих случаях: устанавливается некая "квазилогическая" связь между фактами F и P, причем F, синтаксически подчиненный P, положительно или отрицательно воздействует на наличие или возможность P.

Императивная форма в придаточном предложении может относиться как к прошлому, так и к будущему, т.е. может характеризоваться, как отмечается в [ТФГ 1990: 57], "подвижной темпоральной отнесенностью", а также относиться к плану абстрактного настоящего (настоящего обычности), как показывает пример из Достоевского, приведенный в указанной работе: ***Выскочи*** *русский человек чуть-чуть из казенной, узаконенной для него обычаем колеи – и он сейчас же не знает, что делать.*

Связь с инвариантом обеспечивается здесь наличием коннотации 'условие' в составе экспликации.

Как отмечалось выше при обсуждении коннотации инварианта 'условие', подобные конструкции могут трансформироваться в паратактические посредством введения сочинительного союза *и*: *Признай он мою правоту, и обстоятельства сложились бы по-другому.*

(И7) В придаточной части сложноподчиненного уступительного предложения (субъект при императиве отсутствует):

Осел останется ослом, хоть ***осыпь*** *его звездами* (Державин).
Хоть истерику ***закатывайте*** *– я не уступлю.*
Как ни ***старайся****, его ничем не проймешь.*
Кричи *не* ***кричи*** *⟨Хоть* ***кричи****, хоть не* ***кричи****⟩ – никто не поможет.*

'Говорящий сигнализирует о том, что факт F является благоприятным условием для не P; при этом реализуется P'.

Как отмечается в [Храковский, Володин 1986: 243], здесь также возможна аналогия в области паратаксиса: *Режь меня, жги меня; не скажу ничего* (Пушкин).

К данному кругу употреблений императива применимо то же рассуждение, что и в предыдущем случае (И6), где также возможно уступительное отношение (ср. вторую фразу в примерах (И6)). Неблагоприятное или безразличное обстоятельство, выраженное в синтаксически подчиненном члене этого отношения, подается как (квази)-побуждение.

Напомним, что случаи (И5) – (И7) оказываются очевидными представителями синтаксических фразем.

(И8) В явной или подразумеваемой противительной конструкции в форме сов. вида для выражения значения неожиданности (обычно нежелательного) факта в прошлом (императив – в сов. виде и ед. числе – следует после субъекта; обычно с наречием *вдруг* или частицей *и*):

Мы с ним неделю не разговаривали, а вчера он мне вдруг ***скажи****...*
Подхожу я к Игорю, а он (возьми) и ***ударь*** *меня по плечу.*
Я бежать, а они и ***вцепись*** *друг дружке в волосья.*
А он и ***попади*** *в эту самую минуту в лужу.*

'Говорящий сигнализирует о том, что факт F, предшествующий текущему мо-

менту, представлен как неожиданный на фоне некоторого предшествующего ему факта P; говорящий эмоционально относится к факту F'.

В этом случае мы имеем так называемый "драматический императив" [Широкова 1983: 101; Грабье 1983: 108]. Второй факт, неожиданный (и, как правило, нежелательный) плохо согласуется с первым; тем не менее, он имеет место, и эта несовместимость создает смысл неожиданности второго факта на фоне первого. Неожиданность факта выражается эмоционально нагруженной побудительной формой глагола. Связь с инвариантом обеспечивается здесь только "тривиальным" для императива компонентом 'экспрессивность' (≈ 'эмоциональность'); следов 'побуждения' здесь не видно.

К данному случаю примыкает родственное маргинальное употребление императивной формы несовершенного вида в сопровождении частицы *знай* и/или возвратного местоимения *себе*, а также союза *а*:

(И8а) *Вокруг все хохочут, а он знай* ***ползи*** *⟨он себе* ***ползи****, он знай себе* ***ползи****⟩.*

В [РГ2 1980: 115] отмечаются следующие маргинальные случаи "переносных значений, в которых побудительность оказывается ослабленной": (i) похожие на случай (И8а) "встречающиеся в художественной речи употребления формы побудит. накл. для обозначения совершающегося одновременно с чем-н. и независимого действия ⟨...⟩" (дается пример из Твардовского: *А на левом с ходу, с ходу / Подоспевшие полки / Их толкали в воду, в воду, / А вода себе* ***теки****...*); (ii) "употребление формы побудит. накл. для оценочного обозначения действия с чем-то связанного или чем-то обусловленного" (пример из Винокурова: *Я скажу тебе откровенно: / Это здорово, так скакать! / Только запах нелегкий пота, – / Голова от него* ***трещи****! / Как пирог, что сейчас из пода, / Как густые, с наваром, щи*). Для двух указанных случаев, кроме 'экспрессивности', мы пока не видим никаких других компонентов, связывающих соответствующие употребления императивных форм с инвариантом.

К другим маргинальным непрямым употреблениям императива, с достаточно очевидной побудительной силой, относятся следующие пять случаев:

– Обороты типа *боже сохрани ⟨упаси, избави⟩*, *сохрани ⟨упаси, избави⟩ бог*, обладающие силой отрицания, запрета или предостережения, которые подаются как побуждение, обращенное к высшему существу.

– Обороты типа *черт возьми, ⟨побери, подери⟩*; эмоциональная реакция говорящего в таких оборотах подается как побуждение, обращенное к инфернальному существу.

– Императивы *смотри(те)*, *гляди(те)*, *скажи(те)*, *подумай(те)*, выражающие эмоциональную реакцию говорящего (часто вместе с элементом *-ка*): *Смотри(те)(-ка), какой болван!*; *Подумайте, куда он нас затащил!* Говорящий как бы побуждает адресата присоединиться к своим чувствам[13].

– Сочетание служебного императивного выражения *поди(те) / попробуй(те)* со знаменательным императивом для выражения "невозможности выполнения действия": *Замок на вид совсем простой, а попробуй открой.* Говорящий как бы предлагает адресату – в форме побуждения – сделать попытку осуществления соответствующего действия, чтобы убедиться в невозможности этого.

---

[13] В [РГ1 1980: 624] таким формам дана упрощенная характеристика: они трактуются как утратившие побудительное значение и приравниваются к модальным частицам.

– Императивы так называемого "вольного цитирования" – со значением неприемлемости выполнения говорящим предписанного ему действия: *Говорят, надо тезисы посылать. Ну вот еще, тезисы им посылай.* Предписываемое нежелательное для говорящего действие изображается как побуждение, обращенное к говорящему. Здесь мы имеем случай долженствования, ср. (И3) выше*.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Апресян Ю.Д. 1995 (1988) – Прагматическая информация для толкового словаря // Апресян Ю.Д. Избанные труды. Том II. Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995.

Булыгина Т.В., Шмелев А.Д. 1997 – Языковая концептуализация мира (на материале русской грамматики). М., 1997.

Бондарко А.В. 1978 – Грамматическое значение и смысл. Л., 1978.

Вежбицкая А. 1985 (1972) – Речевые акты // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. XVI. М., 1985.

Грабье В. 1983 – Семантика русского императива // Сопоставительное изучение грамматики и лексики русского языка с чешским языком и другими славянскими языками. М., 1983.

Падучева Е.В. 1996 (1992) – Семантика и прагматика несовершенного вида императива // Падучева Е.В. Семантические исследования (Семантика времени и вида в русском языке; Семантика нарратива). М., 1996 [Ч. I, Гл. 5].

Перцов Н.В. 1996 – Элемент *ка-* в русском языке: словоформа или аффикс? // Русистика. Славистика. Индоевропеистика (К 60-летию А.А. Зализняка). М., 1996.

Перцов Н.В. 1998 – К проблеме инварианта грамматического значения. I (Глагольное время в русском языке) // ВЯ. 1998. № 1.

РГ1 1980 – Русская грамматика. Т. I. М., 1980.

РГ2 1980 – Русская грамматика. Т. II. М., 1980.

ТФГ 1990 – Теория функциональной грамматики. Темпоральность. Модальность. Л., 1990.

Храковский В.С., Володин А.П. 1986 – Семантика и типология императива. Русский императив. Л., 1986.

Шаронов И.А. 1991 – Категория наклонения в коммуникативно-прагматическом аспекте. Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1991.

Широкова А.Г. 1983 – Проблематика транспозиции форм наклонений в славянских языках // Сопоставительное изучение грамматики и лексики русского языка с чешским языком и другими славянскими языками. М., 1983.

Якобсон Р.О. 1972 – Шифтеры, глагольные категории и русский глагол // Принципы типологического анализа языков различного строя. М., 1972.

Якобсон Р.О. 1985 (1932) – О структуре русского глагола // Якобсон Р.О. Избранные работы. М., 1985.

Comrie B. 1985 – Tense. London, 1985.

Iordanskaja L., Mel'čuk I. 1995 – Traitement lexicographique de deux connecteurs textuels du français contemporain. *En fait* vs *en réalité* // H. Bat–Zeev Shyldkrot, L. Kupferman (eds). Tendances récentes en linguistique française et générale. Amsterdam/Philadelphia, 1995.

Mel'čuk I. 1995 – Un affixe dérivationnel et un phrasème syntaxique du russe moderne // Мельчук И.А. Русский язык в модели "Смысл ↔ Текст. Москва; Вена, 1995.

Haiman J. 1985 – Natural syntax: iconicity and erosion. Cambridge, 1985.

Wierzbicka A. 1991 – Cross–cultural pragmatics: the semantics of human interaction. Berlin; New York, 1991.

---

* Первоначальный вариант текста данной статьи, входивший в объемлющую работу об инвариантах глагольного времени и императива, был прочитан Л.Н. Иорданской, А.Е. Кибриком, А.Д. Кошелевым, И.А. Мельчуком, а также рецензентами редколлегии "Вопросов языкознания"; замечания этих коллег были для меня полезны и важны, и я старался всемерно их использовать при доведении статьи до настоящего вида. Я прошу читателей первоначального варианта этой работы принять мою искреннюю признательность.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1998

© 1998 г. Ю.А. ПУПЫНИН

ЭЛЕМЕНТЫ ВИДО-ВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЫ В ДЕТСКОЙ РЕЧИ*

1. Вступительные замечания. В данной статье продолжается исследование усвоения ребенком системы русских глагольных форм (см. нашу предыдущую публикацию в настоящем журнале о ранних этапах такого усвоения [Пупынин 1996]). В центре внимания находятся относительно поздние этапы формирования детского языкового сознания (от двух лет и выше). Тем не менее, поскольку развитие видо-временных отношений – единый процесс, неизбежным было обращение к более ранним ступеням усвоения языка. В таких случаях мы стремились избежать повторов, следуя "истории" усвоения грамматических категорий вида и времени и уделяя значительно меньше внимания другим глагольным категориям.

2. Материал. Ка́к и ранее, основным материалом для статьи служили расшифрованные и представленные в виде компьютерных файлов магнитофонные записи Филиппа С., которые проводились с возраста 1, 4, 4 до 2, 6, 26. Материал собирался в рамках международного научного проекта "Пре- и протоморфология", возглавляемого проф. В. Дресслером [с российской стороны в проекте участвуют М.Д. Воейкова (ИЛИ РАН), Е.Ю. Протасова и С.Н. Цейтлин (РГПУ им. А.И. Герцена)]. Использовались также данные, связанные с другим информантом – Варей П. Эти данные тоже отражают продолжительный период развития речи ребенка (см. подробнее их анализ в работах [Протасова 1988; 1989]). Принимался во внимание, разумеется, и "Дневник" А.Н. Гвоздева [Гвоздев 1981].

Материалы трех указанных информантов привлекательны именно тем, что они собраны в результате длительных наблюдений и позволяют детально рассмотреть достаточно тонкие и постепенные изменения в формировании грамматической системы у ребенка.

Существует также довольно много эпизодических материалов (особенно для возраста старше 2-х лет); имеется в виду, в частности, богатейший Фонд данных по детской речи, созданный на кафедре детской речи Российского педагогического университета в Петербурге (кафедрой руководит проф. С.Н. Цейтлин). Отметим, что доступные нам материалы Фонда не противоречат тем выводам, которые были сделаны на материалах Филиппа С., Вари П. и Жени Гвоздева.

Материалы записей Филиппа возможно (достаточно условно) разделить на три группы, соотносящиеся со следующими тремя периодами: 1) период с возраста 1, 4, 4 и до 1, 7, 11; 2) период с возраста 1, 7, 12 и до 2, 0, 3; 3) период с возраста 2, 0, 4 и до 2, 6, 26 (первые два периода были намечены нами в работе [Пупынин 1996]). Разделение между первым и вторым периодами приблизительно соответствует границе между однословными и двусловными высказываниями. В морфологическом плане оно состоит в том, что в течение первого периода формируется глагольная протосистема, состоящая из императива и инфинитива. Второй период характеризуется постепенным усвое-

* Работа выполнена в рамках проекта "Грамматические категории русского глагола: проблемы речевой актуализации" при финансовой поддержке Российского гуманитарного научного фонда, № проекта 96-04-06246.

нием форм настоящего времени, а также (ограниченно) форм прошедшего и будущего времени (преимущественно совершенного вида). На протяжении третьего периода можно наблюдать "достраивание" системы глагольных форм до конвенциональной (усваиваются формы прошедшего и будущего времени несовершенного вида; кроме того, встречаются первые формы сослагательного наклонения).

3. Гипотеза. Основное предположение, из которого мы исходили, не претерпело кардинальных изменений по сравнению с [Пупынин 1996]. Мы излагаем его здесь с целью частично дополнить, а также сделать более строгим с помощью определенной формализации. Гипотеза возникла на пути осмысления одной из фундаментальных проблем, которые встают при анализе усвоения языковых форм ребенком. Указанная проблема касается соотношения "система – элемент" (или, в более традиционной формулировке, "целое – часть"). Глагольные формы в конвенциональном языке, на котором говорят взрослые, представляют собой определенную систему, т.е. целое. Достаточно тривиально, что целое не равно сумме составляющих его частей; это скорее синтез частей, который качественно отличается от простой механической суммы. Однако именно здесь и возникает вопрос: как может быть сформирована подобная целостная система в детском языковом сознании, если ребенок строит ее из отдельных элементов, усваивая сначала одни формы, а затем другие? Очевидно, что в процессе усвоения отношения между элементами (компонентами) системы должны претерпевать существенные изменения. На наш взгляд, исключительно важную роль в этом процессе выполняют привативные оппозиции, и прежде всего их немаркированные компоненты. Как показывают многочисленные данные, такие компоненты усваиваются в первую очередь.

Наше предположение состоит в том, что одним из способов усвоения глагольной системы служит использование ребенком некоторых форм (в разные периоды речевого развития эти формы различны) в чрезвычайно широком (иногда не свойственном конвенциональному языку) значении. Объем этого значения включает в себя не только элементы содержания такой формы в конвенциональном языке, но также и элементы содержания других форм глагольной парадигмы, еще не усвоенных ребенком. Подобные формы с расширенным содержанием мы предложили называть формами-посредниками (подробнее см. [Пупынин 1996]). Роль форм-посредников обычно как раз и выполняют немаркированные компоненты привативных оппозиций.

Так, известно, что одними из самых первых в детской речи усваиваются формы императива и инфинитива, составляющие, можно сказать, глагольную "протосистему" в русском языковом онтогенезе. Становление данной протосистемы – длительный процесс, занимающий большую часть первого периода. На начальном этапе вряд ли возможно считать императив и инфинитив подлинными языковыми знаками, так как они употребляются в одних и тех же побудительных ситуациях и не составляют системной оппозиции (это скорее "псевдоимператив" и "псевдоинфинитив"). Лишь тогда, когда в детской речи инфинитив начинает содержательно отличаться от императива, можно говорить об инфинитиве и об императиве как о полноправных языковых единицах.

Происходит это тогда, когда (по мере необходимости обозначать непосредственно воспринимаемые ситуации) из этих двух форм именно инфинитив начинает использоваться в высказываниях с семантикой настоящего времени (эти факты наблюдаются в материалах из различных источников, ср.:

(1) Женя: *мама тям ниська цитать* [мама там книжку читает] (1, 9, 21):

(2) Филипп: *бегать, прыгать* [Филипп играет на кровати: бегает, прыгает] (1, 9, 22);

(3) Варя: *Варенька играть* (1, 6, 5): см. подробнее [Пупынин 1996]).

Параллельно в речи ребенка продолжает встречаться инфинитив и в побудительном значении (такое его употребление вполне возможно и в конвенциональном

языке). С точки зрения реализации признака побуждения к действию, инфинитив и императив в конвенциональном языке образуют привативную оппозицию, в которой императив является маркированным компонентом, а инфинитив – немаркированным. Поэтому именно инфинитив становится посредником между уже усвоенной семантической областью побуждения и всем остальным многомерным семантическим пространством глагольной системы.

Ребенок использует форму-посредник, поскольку определенная часть ее содержания ему уже известна. Однако имеется и другая часть содержания данной формы, которая ему еще недостаточно понятна (в частности потому, что взрослые могут использовать эту форму и в других речевых ситуациях). Поэтому ребенок пользуется данной формой в случаях, когда ни одна из других уже усвоенных им форм (форм "непосредников", т.е. форм с уже стандартизированным содержанием) не подходит. Иначе говоря, ребенок пользуется многозначной, до конца не ясной по содержанию, немаркированной формой, как бы полагая, что именно благодаря этой многозначности (или повышенной "смысловой валентности" в духе А.Ф. Лосева [Лосев 1982]) данная форма окажется способной обозначить какие-то новые ситуации.

Эта же тенденция наблюдается и на следующих этапах усвоения глагольных форм. Период использования инфинитива в значении настоящего времени очень невелик (у разных информантов он продолжается различное время – от нескольких дней до нескольких недель). Достаточно скоро в речи ребенка возникают первые формы настоящего времени. Конечно, появление именно форм настоящего времени в качестве первых компонентов категории времени в значительной мере обусловлено экстралингвистическими причинами (как известно, детское сознание длительное время "привязано" к непосредственно переживаемому настоящему времени – т.е. именно к настоящему актуальному). Однако в данном случае нельзя не обратить внимания на чрезвычайно важный системно-грамматический момент, который заключается в том, что усвоение категории времени начинается с немаркированного компонента временной оппозиции, который представлен именно настоящим временем. Настоящее время представляет вместе с тем несовершенный вид (НСВ), который является немаркированным компонентом видовой оппозиции.

Далее, поскольку формы настоящего времени в русском языке являются вместе с тем и личными формами, то с их появлением начинается усвоение категории лица. Здесь также наблюдается хорошо известная исследователям особенность: в речи ребенка преобладает немаркированная форма 3-го лица, которая может обозначать действие любого лица, в том числе самого говорящего [Jakobson 1932]. Иначе говоря, принцип ориентации на немаркированные формы при переходе к вновь усваиваемым фрагментам грамматической системы выдерживается достаточно последовательно.

Попытаемся представить рассматриваемую особенность в виде следующей модели.

Фрагмент грамматической системы, обладающий свойством целостности (совокупность форм; парадигма; фрагмент парадигмы и т.п.)	$(f_1, f_2, ..., f_i, ..., f_n)$
На каждом i-том этапе усвоено форм	$(f_1, f_2, ..., f_{i-1})$
Значение формы-посредника	$F_i = (f_i, f_{i+1}, ..., f_n)$

Разумеется, эта модель (как и всякая модель) есть некоторое упрощение, поскольку, в частности, в речи ребенка могут одновременно существовать сразу несколько форм-посредников, позволяющих ему усваивать сразу несколько целостных фрагментов (подсистем) грамматической системы. Однако самый принцип усвоения грамматической системы с помощью форм-посредников от этого не меняется.

Нужно подчеркнуть также, что данная модель имеет не столько "объяснительную", сколько описательную задачу; нас интересовало не столько "почему" ребенок все-таки усваивает грамматическую систему, сколько "как" он ее усваивает (хотя, по всей

вероятности, между "как" и "почему" существует тесная связь). Тем не менее данная модель позволяет сделать некоторые важные выводы.

В частности, она позволяет поставить вопрос о наличии некоторых достаточно типичных закономерностей (хочется сказать – универсалий) в детской грамматике различных языков. Можно, в частности, сформулировать следующие закономерности для языков флективно-синтетического типа:

а) Первая грамматическая форма какой-либо изменяемой части речи, усваиваемой ребенком, всегда является формой-посредником. Вновь подчеркнем, что форма-посредник отличается от конвенциональной грамматической формы, представляющей немаркированный компонент привативной оппозиции, в частности тем, что границы ее содержания очерчены недостаточно четко. Эта неопределенность содержания, очевидно, особенно касается первой усваиваемой "формы", еще не противопоставленной никакой другой форме в рамках данной грамматической подсистемы и не являющейся полноценным языковым знаком.

б) До тех пор, пока ребенком не усвоены все формы грамматической системы (или какого-либо ее целостного фрагмента), в его речи имеется по крайней мере одна форма-посредник.

Разумеется, предлагаемая модель не решает всех проблем усвоения грамматической системы ребенком, да и не ставит такой задачи. Более того, она стимулирует ряд новых вопросов. В целом можно сказать, что данная модель затрагивает не столько психолингвистический, сколько лингвосемиотический аспект проблемы усвоения языка, т.е. усвоения языка как системы знаков со сложными и многообразными соотношениями.

4. Дограмматический этап. На самых ранних этапах (имеется в виду, в частности, первый период) кажется возможным говорить о своеобразной дограмматической (или, используя термин В. Дресслера, преморфологической) манифестации видовых различий. Впрочем, поскольку категория вида еще не сформировалась, то лучше рассуждать здесь о манифестации различий между кратким, одноактным действием и действием повторяющимся или длительным. Как представляется, ряд примеров позволяет утверждать, что для обозначения повторяющихся действий ребенок склонен использовать редуплицированные звукоподражания, ср. *бах-бах*, в случае если, например, упало несколько игрушек, и *бах*, в случае если упал один предмет (например, книга).

Эта идея недавно проверялась на большом материале [Гагарина 1997], и получила подтверждение. Она хорошо согласуется с концепцией В. Дресслера, согласно которой на преморфологических этапах развития языковой системы в детской речи преобладают экстраграмматические средства, общие для языков различной структуры [Dressler 1994; Dressler, Karpf 1995]. Редупликация, по мнению В. Дресслера, как раз и есть одно из таких экстраграмматических средств.

Однако здесь необходимы некоторые оговорки. Речь может идти, по-видимому, лишь об определенной тенденции, а не об обязательном (облигаторном) использовании редупликации для обозначения повторяющихся или длительных действий. Во-первых, в детской речи встречаются и контрпримеры, ср. возможное *тук-тук* как в случае повторяющегося, так и единичного стука. Ср. также:

(4) Филипп: *ба-бах-бах-бах* [падает с кровати игрушечная кошка] (1, 5, 29);

Кроме того, нужно иметь в виду, что некоторые слова из "языка нянь" существуют только в редуплицированном виде (*бай-бай, бо-бо* и др.). Они могут служить моделью для аналогичного редуплицированного образования звукоимитаций независимо от характера обозначаемого действия.

Итак, по-видимому, в каком-то варианте преморфологическая манифестация "преаспектуальных" различий все же существует, однако она недостаточно регулярна и, кроме того, она не имеет существенного продолжения на морфологической стадии

усвоения языковой системы (ср., впрочем, в конвенциональном языке: *Мы шли, шли, а дорога все не кончалась*).

Обратимся к более поздним (уже грамматическим) этапам усвоения видо-временных различий, основы изучения которых были заложены в работах [Гвоздев 1961; Цейтлин 1988].

5. Грамматический этап. В рамках первого периода, т.е. в процессе формирования императивно-инфинитивной протосистемы, аспектуальные различия остаются невыраженными.

Если говорить о конвенциональной грамматической системе, то императивная форма НСВ наиболее часто используется в общефактическом значении, представляя слабый вариант видовой оппозиции, ср. *войдите – входите, откройте окно – открывайте окно*. Здесь противопоставлены конкретный и обобщенный факт, а это как раз те частные значения, которые допускают видовую конкуренцию. Значительно реже НСВ встречается в процессном значении (*Сидите, сидите, я сам открою...*), т.е. представляет сильный вариант оппозиции совершенному виду (СВ). Однако примеров с конкретно-процессным значением императива в наших материалах не обнаружено.

В речи Филиппа встречаются как раз слабо противопоставленные *сядь* (1, 5, 24) и *дись* ("садись") (1, 5, 28), и никаких особых различий в их употреблении нам выявить не удалось. Таким образом, у нас недостаточно данных, чтобы говорить о каком-либо оформлении аспектуальных отношений в рамках первого периода.

Лишь в начале второго периода, в тех случаях, когда инфинитив начинает употребляться в высказываниях с семантикой настоящего актуального, можно предположить, что он выступает в значении НСВ. Попутно заметим, что инфинитивы СВ не встречаются в высказываниях со значением настоящего актуального (ср.: инфинитив *дать*). Однако указанная протосистема существует очень недолго, поскольку инфинитив почти сразу же вытесняется из этой сферы функционирования формами настоящего времени НСВ.

Таким образом, процесс достаточно четкой дифференциации видо-временных образований прослеживается с начала второго периода намеченной нами хронологии усвоения глагольных форм.

5.1. Настоящее время. Как уже отмечалось, усвоение категории времени начинается с усвоения немаркированного компонента временной оппозиции, который представлен именно настоящим временем. Настоящее время представляет вместе с тем НСВ, который является немаркированным компонентом видовой оппозиции. Таким образом, речь идет об усвоении "вдвойне" немаркированного компонента.

Вновь отметим, что ребенок, по всей вероятности, использует немаркированность усваиваемого компонента значительно более широко, чем это допускает конвенциональная грамматическая система. Ср. следующие примеры, в которых форма настоящего времени употреблена в значении прошедшего времени, например:

(5) Мама: *А о чем тебе Хрюша говорил?* Филипп: *Плачет*. Мама: *Кто плачет?* Филипп: *Хлюса* (2, 4, 19);

(6) Мама: *Почему у Филипка мокрые волосы? Что ты сделал?* Филипп: *Баба Люда моет* (2, 3, 23).

В конвенциональном языке использование настоящего времени в значении прошедшего – явление достаточно известное под именем "настоящего исторического", однако настоящее историческое является особым жанром, ограниченным определенными условиями (в частности, в данных случаях возможность его реализации исключена).

5.2. Прошедшее время СВ. Почти сразу же вслед за формами настоящего времени усваиваются формы прошедшего времени. Первые формы прошедшего времени обычно передают перфектное значение и представляют, соответственно, совершенный вид. Например:

(7) Филипп: *кису калясь сел* [кошка села на колесо (машины)] (2, 0, 3);

(8) Филипп: *купила ваяй* [вафли]? (1, 9, 20).

Это можно (и нужно) считать обусловленным когнитивными закономерностями: поскольку языковое сознание ребенка соотносится в этом периоде прежде всего с непосредственно переживаемым настоящим, то естественным представляется усвоение сначала таких семантико-грамматических элементов прошедшего (и будущего), которые тесно связаны с настоящим актуальным [Пупынин 1994]. В контексте параллельно может встречаться форма настоящего времени, ср. пример из речи Вари:

(9) Варя: *это банка, это банка, это банка лежит, упала* (1, 7, 14).

В конвенциональном языке формы совершенного вида в прошедшем времени также достаточно часто выражают перфектное значение, которое, как известно, обычно указывает на состояние в настоящем, явившееся результатом действия в прошлом. Однако для этого требуются специальные условия (ситуативно-речевые, контекстуальные, лексические). В детской речи на рассматриваемом этапе ее развития происходит категоризация перфектного значения в содержании форм на -л: т.е. данные формы на протяжении какого-то периода регулярно обозначают перфектную ситуацию.

В данном случае, как мы полагали ранее, имеет место отклонение от общей закономерности усвоения, которая заключается в том, что ребенок отдает предпочтение немаркированному компоненту оппозиции (как уже отмечалось, СВ традиционно считается маркированным, а НСВ – немаркированным членом видового противопоставления). Здесь интересно также то, что первым усваивается более сложное и специальное перфектное значение прошедшего времени СВ, а не более элементарное и распространенное аористическое.

Однако существует и иная возможность оценки рассматриваемого факта. Как известно, прошедшее время считается маркированным компонентом в системе времен, поскольку, в частности, выражает признак предшествования действия моменту речи, между тем как немаркированное настоящее время не выражает его, хотя и может в принципе имплицировать отнесенность действия к прошлому (как, например, в случае уже упоминавшегося настоящего исторического). Между тем русское прошедшее время однородно: оно включает прошедшее СВ и прошедшее НСВ. Сопоставление данных разновидностей показывает, что они неодинаково относятся к признаку "разобщенности" с моментом речи. В семантике прошедшего времени СВ (в случае ее перфектной разновидности) на первый план может выдвигаться как раз связь с настоящим. Т.е. можно утверждать, что идея предшествования моменту речи выражается прошедшим временем СВ не столь жестко и недвусмысленно, как прошедшим временем НСВ. Таким образом, с учетом не только аспектуальных, но и темпоральных отношений, прошедшее время НСВ может расцениваться как сильно противопоставленное настоящему, между тем как прошедшее время СВ, допускающее связь конкретного факта в прошлом с результативным состоянием в настоящем (в перфектном варианте), должно считаться слабо противопоставленным настоящему времени. Поэтому выбор именно "нежестко" противопоставленного прошедшего СВ в качестве первой формы в процессе усвоения прошедшего времени представляется вполне естественным и мотивированным и по сути не противоречащим принимаемой нами гипотезе.

5.3. Будущее время СВ. Отметим также, что в конце рассматриваемого периода зафиксированы первые формы будущего времени (имеется в виду прежде всего простое будущее, представленное глаголами СВ). Они обозначают действия, близкие во времени к ситуации момента речи, т.е. наступающие или ожидающиеся обычно непосредственно после нее, ср.:

(10) Филипп: *Филя поедет, Фил, Фил поедет* [Филипп сел на велосипед] (2, 0, 3).

Будущее СВ также нельзя считать сильно противопоставленным настоящему по признаку следования моменту речи. В конвенциональном языке для него характерна возможность выступать в значении настоящего неактуального, ср.: *На чужой сторонушке поклонишься и воронушке...* (Посл.).

Как уже отмечалось, первые формы прошедшего и будущего времени представлены совершенным видом. Таким образом, речь идет о возможном существовании в течение краткого периода в онтогенетическом плане следующей разновидности видо-временной системы:

СВ	НСВ	СВ
прош. вр.	наст. вр.	буд. вр.

Сходное явление наблюдается в материале всех рассматривавшихся информантов (различие состоит лишь в продолжительности данного периода – от нескольких дней до нескольких недель).

Характеризуя видо-временную систему на данном этапе, можно говорить о том, что вид и время находятся в отношениях дополнительной дистрибуции: оппозиция наст. вр. : прош. вр. является не только временной, но также и видовой (НСВ : СВ). То же самое можно утверждать и об оппозиции наст. вр. : буд. вр. Таким образом, ни видовая, ни временная оппозиции не приобрели еще автономного характера. Главным для дальнейшего развития видо-временной системы является проникновение в сферу прошедшего и будущего времен форм НСВ; именно это привело бы к "достраиванию" данной системы до уровня конвенционального языка.

Как представляется, логика развития видо-временной системы в плане прошедшего времени требует, в частности, чтобы СВ, помимо перфектной семантики (которая на данном этапе является практически облигаторной), начал выражать также и аористическое значение (т.е. значение, последствия которого остаются в прошлом же). В этом случае можно будет сказать, что прошедшее время "порывает" с настоящим, становится автономным и может послужить основой для усвоения контрастно-видовых ситуаций типа *запирал – запер* или *понял – понимал* (о ситуациях видового контраста см. [Кожевникова 1994]). Иначе говоря, необходимо формирование того элементарного представления о СВ, которое традиционно формулируется как законченность, завершенность действия (безотносительно к связи с последующими периодами, в том числе с настоящим актуальным) (как мы уже отмечали, первоначально усваивается более сложное перфектное значение СВ прошедшего времени).

Эта же "элементарная" семантика СВ позволила бы сформироваться видовой оппозиции в плане будущего времени, которое в определенном смысле является структурно симметричным прошедшему.

6. Формирование системы автореференции. Однако прежде чем это происходит, сначала должны быть созданы определенные условия, одно из которых заключается в способности к самореференции (автореференции) (о развитии данного явления в детской речи см. подробнее [Budvig 1995]).

Как уже указывалось, поскольку формы настоящего времени являются вместе с тем и личными, то в этот же период усваивается и категория лица. Или, шире, происходит становление системы самореференции (автореференции). Хотя жесткой и непосредственной семантической связи между системой автореференции и видо-временной системой нет, однако развитие системы автореференции может рассматриваться как существенное условие формирования видо-временных оппозиций по ряду причин.

Так, автономия прошедшего и будущего времени становится возможной лишь тогда, когда говорящий ребенок осознает себя в прошлом и будущем. А для этого он должен быть способен обозначить ("означить") себя в прошедшем и будущем времени соответствующим языковым символом. Мы уже упоминали о том, что усвоение системы личных форм происходит с определенными трудностями и что в самом начале этого усвоения часто используется немаркированная форма 3-го лица для обозначения действий всех трех лиц, ср:

(11) Филипп: *а Филя сидит, а мама сидит, баба сидит* (2, 0, 3);

(12) Варя: *Аинька ни хотит* [Варенька не хочет] (1, 6, 5).

Приведем дополнительные примеры отклонений в использовании личных форм. Иногда действия говорящего обозначаются формой 2-го лица:

(13) Мама: *Да, а ты варишь им кашу?* Филипп: *Валис* [варишь], *я валю касу им.* (2, 06, 26)

Ср. также проблемы с автореференцией в плане будущего времени, встречавшиеся в речи Вари (интересно, что в настоящем времени автореференция не встречает препятствий):

(14) Варя: *Я всем обед готовлю, вот какой я хозяек. Она будет всем готовить обед, я, я, я.* (2, 4, 14).

Ср., также следующий пример, свидетельствующий о проблемах с автореференцией в прошедшем времени в речи Филиппа:

(15) Мама: *А ты что с ними сделал?* Филипп: *Упали.* Мама: *Нет, что ты с ними сделал? Что ты с ними сделал?* Филипп: *Упали.* Мама: *Бросил?* Филипп: *Босил.* (2, 4, 16).

Вопрос матери предполагает использование в ответе скорее аористического, чем перфектного оттенка СВ, но аористический оттенок как раз еще не усвоен, а его реализация требует, чтобы говорящий осознал себя как субъекта действия в прошлом.

Интересен также следующий пример, демонстрирующий связи проблемы автореференции с более общей проблемой обозначения субъекта действия в конструкциях с прошедшим временем (в примере субъект представлен как посессор):

(16) Мама: *Варенька, а что твой Плюти, что делает, он, небось, давно не ел.* Варя: *У него давно не ел.* (2, 4, 14).

Важность автореференции для формирования аспектуальных отношений заключается, в частности, в том, что случай с 3-м лицом типа *пришел он* (*папа, автобус*) и случай с первым лицом типа *пришел я* могут различаться по содержанию. В первом случае, когда речь идет о действии кого-то (или чего-то) другого, обычным является трактовка содержания "от результата": фиксируется результат действия, и лишь на основе этого результата (в ретроспективе) реконструируется действие (*папа пришел* [*он здесь, его только что не было*]). Во втором случае возможность такой трактовки сохраняется, однако допустима также и иная интерпретация: действие сначала рассматривается в своем развитии (в перспективе) и лишь потом фиксируется его завершение (*я пришел* [*я шел, шел и пришел*]).

А.Н. Гвоздев в своем "Дневнике" делает ценные для нас замечания, позволяющие отличать один вариант употребления В от другого, ср.:

(17) Женя: *Писла* [пришел. Вошел со двора и сказал] (2, 0, 12).

Такие случаи как раз демонстрируют постепенное осмысление СВ в его основном – конкретно-фактическом (в прошедшем времени – аористическом) значении.

Хронологически усвоение видовой оппозиции и окончательное достраивание видо-временной системы представлено одновременно или чуть позднее усвоения системы личных местоимений и личных глагольных форм.

7. "Достраивание" видо-временной подсистемы в прошедшем времени. Рассмотрим, как усваивается видовая оппозиция на рассматриваемом этапе развития детской речи (имеется в виду прежде всего третий период).

На материале взрослого (конвенционального) языка описан целый ряд типов видового противопоставления (см. о них, в частности [Маслов 1948; Гловинская 1981; Бондарко 1991; Булыгина 1955; Падучева 1996]), среди которых наиболее яркими представляются следующие:

1) процесс → результат, т.е. НСВ – СВ:

(18) *Строили они, строили и наконец построили;*

2) конкретный факт (событие) → результативное состояние (положение дел), т.е. СВ – НСВ:

(19) *Он возглавил фирму в 1989 году и возглавлял ее в течение четырех лет.*

Отметим, что большинство типов оппозиции НСВ : СВ обычно иллюстрируется примерами, в которых глаголы используются в плане прошедшего времени. При этом данная оппозиция принимает собственно видовой характер.

В речи ребенка первоначально преобладают обозначения конкретно-физических действий и состояний (о первых глагольных лексемах см. [Гагарина 1997]). Для таких глаголов, если они вообще предельны, наиболее характерным является первый из указанных типов видового противопоставления. Проблема заключается в другом: каким конкретным образом данный тип принимает участие в формировании видовой оппозиции в детской речи. Или, иначе: в какой мере данный тип мог бы служить моделью усвоения собственно видового противопоставления, поскольку, как уже отмечалось, на данном этапе в речи ребенка существуют только смешанные, видо-временные оппозиции.

В самом деле, полноправное существование и осмысление подобных оппозиций возможны только в рамках одного и того же временного плана: либо плана прошедшего времени, как в приведенных примерах, либо плана будущего времени (*будем строить и построим, он возглавит фирму и будет некоторое время возглавлять ее*). Однако, как уже говорилось, и в прошедшем, и в будущем времени формы НСВ на данном этапе еще практически отсутствуют. Возникает нечто вроде порочного круга: чтобы получить "классическую" видовую оппозицию, необходимо в качестве условия иметь полноправное (включающее НСВ) прошедшее или будущее время, но, с другой стороны, формирование этих времен как самостоятельных сущностей требует проникновения несовершенного вида в сферу прошедшего и будущего и развития видового контраста в рамках указанных времен.

Рассмотрим оппозицию типа СВ (прошедшее) – НСВ (настоящее) (ср.: *построил – строит*), вполне допустимую в детской речи. Это противопоставление, как уже говорилось, носит не чисто видовой, а видо-временной характер, что является существенным недостатком для его использования в качестве базы для усвоения видовых различий.

Тем не менее в детской речи встречаются условия, когда актуализируется именно видовое содержание данной оппозиции.

Мы имеем в виду случаи, когда СВ употребляется в условиях негации, например:

(20) Мама: *Не справился один дед? Кого он позвал?* Филипп: *Бабку.*

Мама: *Тянут они, потянут...* Филипп: *Тянут-потянут, и не вытянули* (2, 6, 26).

Следует заметить, что подобная актуализация вполне возможна и во "взрослом" (конвенциональном) языке, ср:

(21) *Они еще не построили дом, они только строят его.*

Интересно, что форма прошедшего времени СВ обозначает в этих условиях действие, отнесенное к плану будущего времени – факт, как кажется, еще не анализировавшийся в лингвистической литературе. Собственно говоря, здесь представлено отрицание конкретного события *построили* в прошлом, но именно это отрицание (вместе с указанием на протекающий в настоящем процесс) имплицирует отнесенность данного события к будущему. К необходимым условиям такого использования СВ относятся компонент *еще не*, указывающий на запланированность данного действия в будущем, а также контекстуальный контраст с соответствующей формой НСВ, указывающей, что действие уже происходит (чтобы исключить случаи, когда *еще не прочитал* означает *не начинал читать*). Вообще, употребление видов в условиях отрицания – это особая тема. Мы не будем здесь подробно обсуждать особенности влияния негации на функционирование видов, но отметим, что приведенный тип видовой оппозиции *читаю, но еще не прочитал* очень близок к типу 1, ср. *строили, но еще не построили.* Фактически он представляет собой транспозицию типа 1 в сферу настоящего (интересно, что аналогичная транспозиция в сферу будущего сомнительна: ? *будут строить, но еще не построили* при возможности: *еще не построили, но будут строить* с другим значением). Существенно, что применение правила негации позволяет вычленить собственно видовой аспект в рассматриваемом видо-временном противопоставлении: в случае НСВ: *еще не* СВ (*решаю : еще не решил*) видовое различие доминирует над временным.

Существует и другой вариант подобного противопоставления, уже без отрицания. Условно представим его в виде модели *открываю... открыл!* Этот вариант хорошо соотносится с темпоральной структурой первых детских текстов. Чтобы детально проследить усвоение данного варианта видовой оппозиции, обратимся к подобным текстам, под которыми условно будем понимать цепочки предложений, состоящие поначалу даже только из двух звеньев. Как известно, в первых детских текстах используется в основном форма настоящего времени, которая выступает прежде всего в значении настоящего актуального и, соответственно, в конкретно-процессном значении НСВ. Однако распространенное мнение о том, что темпоральная структура первых текстов соответствует настоящему актуальному, представляется не вполне верным. Первые детские тексты ближе всего стоят к другой разновидности настоящего времени, которая получила название "настоящее репортажа", или, шире, "комментированное настоящее" [хотя А.В. Исаченко использовал термин "настоящее репортажа" также и для настоящего актуального [Исаченко 1960: 447], однако позднее возникла иная точка зрения, различающая эти разновидности настоящего (см., например [Бондарко 1996: 48])].

Специфика настоящего репортажа заключается, на наш взгляд, прежде всего в том, что структура текста ставится в зависимое положение от протекающих перед говорящим (и вместе с тем – наблюдателем) реальных событий, фиксирующихся в полном соответствии с грамматическими правилами прямого употребления в формах НСВ настоящего времени, а также в формах СВ прошедшего времени с перфектным оттенком (в некоторых случаях возможны также формы будущего времени, обозначающее легко прогнозируемые и практически начинающиеся в настоящем действия в темпоральном плане "близкого будущего"). Например:

(22) *Денисов подбирает шайбу, передает ее Петрову. Денисова сбивают с ног, но Петров сейчас будет бить по воротам! Бросок! Вратарь поймал шайбу ловушкой. Судья останавливает игру.*

С темпоральной точки зрения, здесь существенно то, что между настоящим актуальным и настоящим репортажа имеются различия в структуре момента (периода)

речи. В случае настоящего актуального момент (период) речи как точка отсчета представляет собой некоторый континуум, способный "растягиваться" по воле говорящего. Ср. пример дневниковой записи:

(23) *Развязываются: лодка, геодезические, астрономические инструменты, веревки, лот для промерки глубины озера. На привезенных с собой дровах кипятится чай, разогревают консервы гороховой похлебки* (Н. Гарин-Михайловский).

Момент речи, заданный в первом предложении, и момент речи, соответствующий последнему предложению, представляют единую точку отсчета (хотя реально развертывание этого отрезка письменной речи от первого до последнего предложения представляет собой, конечно, некоторую длительность, период). Интересно, что из плана настоящего актуального автор текста может "перемещаться" в план прошедшего и будущего времени, и затем возвращаться в план настоящего, но момент речи при этом все равно остается неким постепенно расширяющимся континуумом. Иначе говоря, реальный период речи становится все продолжительнее, но темпоральная точка отсчета (как организующий и координирующий центр) для изображаемых действий при этом не меняется, остается единой, см. схему 1:

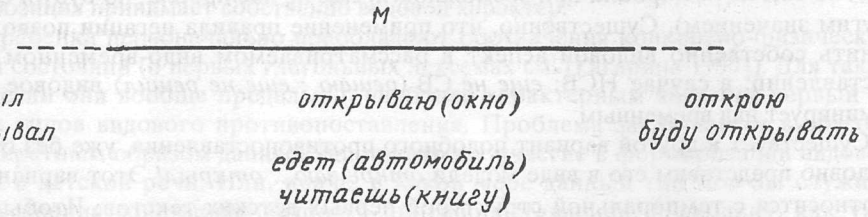


Схема 1

Совсем иначе обстоит дело в случае настоящего репортажа. Момент (период) речи в этом случае имеет дискретный характер, он дробится на ряд следующих друг за другом моментов, каждый из которых может быть вычленен как кратковременная, но самостоятельная темпоральная точка отсчета, см. схему 2:

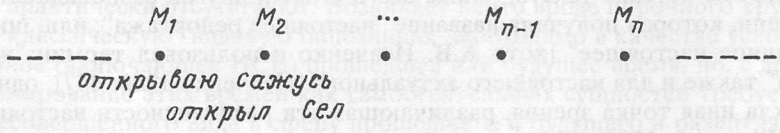


Схема 2

Предположим, что существует цепочка высказываний, комментирующих действия самого говорящего (обычно между такими высказываниями существуют небольшие паузы): *Открываю... Открыл... Сажусь... Сел...* В принципе все эти высказывания произносятся на протяжении определенного временного периода и могут рассматриваться в рамках единого момента речи. Но возможно попытаться вступить, образно говоря, в область "бесконечно малых" величин и увидеть здесь цепочку моментов речи, каждый из которых соотносится со временем произнесения одного высказывания из цепочки. На наш взгляд, это дает возможность более адекватно интерпретировать аспектуально-темпоральную структуру подобных текстов. В соответствии с такой точкой зрения получается, что по отношению ко времени произнесения высказывания *Сажусь....* (M_2) высказывание *Открыл...* обозначает действие в прошлом, однако по отношению к высказыванию *Открываю...* (M_1) то же высказывание обозначает действие в будущем.

Различие между настоящим актуальным и настоящим репортажа обусловлено, на наш взгляд, тем, что в обычном случае (настоящее актуальное, вообще ситуативно-актуализированная и (тем более) ситуативно-неактуализированная речь) аспектуально-темпоральную структуру текста определяет говорящий (структура текста является "контролируемой"). Говорящий устанавливает стабильную точку отсчета и, ориентируясь на нее, расширяя ее, строит аспектуально-темпоральные отношения. В случае, когда мы имеем дело с настоящим репортажа, аспектуально-темпоральная структура текста в значительной мере определяется не самим говорящим, а структурой фиксируемого события (тем самым структура текста становится неконтролируемой или контролируемой ограниченно). Каждое вновь происходящее действие рассматривается как один из важных этапов фиксируемого в словесной форме сложного события и требует для себя новой темпоральной точки отсчета.

Несмотря на слабую собственно языковую организацию и подчиненность внеязыковым событийным структурам, тексты типа "настоящего репортажа" играют важную роль в развитии языковой компетенции ребенка и, в частности, в становлении видо-временной системы. Именно такая темпоральная структура текста легко включает в себя уже упоминавшийся вариант видового противопоставления, который становится базовым для усвоения ребенком собственно видовых различий и постепенного достраивания видо-временной системы. Благодаря его усвоению в детской речи у форм СВ развивается конкретно-фактическое значение, способное к автономии от плана настоящего актуального, а такая автономия представляет собой важнейший шаг в развитии детского языкового сознания. Примеры такого рода достаточно многочисленны:

(24) Филипп: *Отойди, я откываю ворота* [открываю ворота]. *Откыла* [открыл] *волота* (2, 4, 20);

(25) Филипп: *Мы едем. Двели заклыты. Мы едем и пьем сок.* ⟨...⟩ *Плиехали.* (2, 5, 3);

(26) Филипп: *Я на масыну садусь. Ой, ой... Я сел на маш.* (2, 5, 5);

(27) Варя: *Я собираю блюдечку вот так. Вот ещё я собираю, ещё от эти блюдечки все. Вот эти блюдечки все, вот. Ве-все-все в круг, вот так вот. Здесь эта буковка, не надо её собирать. Это я буду так вот все... Видишь, я уже собрала все уже.* (2, 4, 14);

(28) Женя: *Таноицца... упала* [становится... упала] (2, 0, 8);

(29) Женя: *Клипит, клипила* [крепит, укрепил. Он прыгал по кровати, и там слетели закрепки. Я снял его оттуда, сказав: "Вот укреплю". Когда я заколачивал закрепки, он и приговаривал, следя за мной] (2, 1, 3).

Наиболее существенно в данном случае то, что в содержании СВ обнаруживается уже не только перфектная семантика, но и семантика достижения предельной точки и завершения действия, обозначенного ранее соответствующим глаголом НСВ. Это связано с тем, что действие, обозначенное СВ, предстает не исключительно в ретроспективе, как в случаях типа *банка лежит, лежит, упала*, когда актуализируется именно результат, но также и в перспективе, поскольку из контекста следует, что говорящий находился в процессе осуществления действия, закончил его и зафиксировал его окончание формой СВ. Именно благодаря такому употреблению может быть полностью освоено конкретно-фактическое значение СВ. Подчеркнем, что оценка действия в его перспективе не исключает затем (по отношению к более поздним "малым" моментам речи) возможной актуализации в содержании глагольной формы перфектного оттенка. Мы хотим лишь сказать, что регулярное употребление форм прошедшего времени СВ в рассматриваемых условиях обогащает представление ребенка о семантике СВ, приближает его к конвенциональному.

К рассмотренным выше примерам примыкают случаи, когда в высказывании противопоставляются не настоящее НСВ и прошедшее СВ, а будущее СВ и прошедшее

СВ (тип *Сейчас открою... Открыл*). Здесь нет видового контраста, но действие, обозначенное СВ, также предстает в перспективе как определенная целостность, имеющая временные границы, а не только как нечто важное лишь какими-либо своими актуальными последствиями. Например:

(30) Филипп: *Нет не класную пастою.* Мама: *Строй красную дорогу.* Филипп: *Ну я сяс, я построил класную дологу* (2, 6, 26);

(31) Варя: *Мы его наклеим. Вот так вот. Клей такой помазать. Мы его наклеили немножко так вот* (2, 10, 14);

(32) Женя: *Пайду маком* [пойду за молоком. Взял кружку, пошел и снова и сказал:] *Пасла погли мком* [Пошел на погреб за молоком] (2, 0, 30).

Такое употребление также свидетельствует о постепенном усвоении конкретно-фактического (основного) варианта семантики СВ и создает необходимые предпосылки для автономии прошедшего (и будущего) времени от настоящего. Одним из первых шагов в этом направлении становится использование цепочки форм СВ для обозначения последовательности действий в прошлом, т.е. первые нарративные тексты.

(33) Филипп: *Волк выпил часку, а класнаю сапачку ни съел. А только выпил часку молока. А ничего не оставил зайчику* (2, 06, 26);

(34) Филипп: *...из лесу волк пьисол* [пришел] *и Класнаю Сапочку схватил зубами щелк потом* (2, 5, 3);

(35) Филипп: *Уходи, плативна сова.* Мама: *А почему она противная?* Филипп: *Она, она сидит, сидит да укусит как меня. И пойдет домой, а там пидет к Инне, там нас азбудили, съели бабуску и пасли.* Мама: *Кто это съел бабушку?* Филипп: *Сова* (2, 5, 5).

Последний пример интересен также тем, что в нем представлены зачатки переносного употребления настоящего НСВ и будущего СВ.

Наконец, начинает встречаться параллельное использование прошедшего НСВ и СВ, близкое к каноническому, например:

(36) Варя: *Я порядочно проспала. Ну все-таки я долго спала* (2, 4, 14).

8. "Достраивание" видо-временной подсистемы в будущем времени. В рассматриваемый нами период (старше 2, 0, 4) уже встречаются формы будущего времени НСВ, однако их использование имеет ряд особенностей. Так, в будущем времени НСВ довольно часто компонент *буду* выступает в значении *хочу*, ср.:

(37) Варя: *Будешь играть в маленькие кружочки, такие маленькие?* (2, 0, 1);

(38) Мама: *Ну-ка под одеяло марш.* Филипп: *Я киску буду. Дай киску* (2, 3, 5);

(39) Мама: *Положи книжечки на место.* Филипп: *Я, я читать буду* (2, 3, 29).

Это вполне соответствует модальному потенциалу будущего времени в конвенциональном языке (ср.: А. (протягивая журнал Б.): *Ты будешь читать этот журнал?* Б.: *Нет, не буду, спасибо*) и имеет параллели в филогенетической диахронии. Иначе говоря, данный вариант употребления вполне может претендовать на то, чтобы служить базой формирования будущего НСВ.

Кроме того, имется довольно много примеров употребления будущего времени глагола *быть* в значении близком к перформативному (ср.: *Ты будешь волк, а я Красная Шапочка*, т.е. *Назначаю тебя волком, а меня Красной Шапочкой*):

(40) Варя: *Я буду поезд, а, видишь поезд? Я буду поезд. Ты будешь меня ведить, поезд. Джж... Поезд едет. Я буду... Буду... Ба буду станция* (2, 0, 1).

Разумеется, это особая перформативность, определяющаяся условностями игры, однако, на наш взгляд, вне какой-либо системы условностей – игровой или социально-регламентирующей – перформативность вряд ли может существовать как особый феномен.

Аспектуальное противопоставление в будущем времени формируется совершенно другим путем, чем видовая оппозиция в прошедшем (хотя влияния подсистемы прошедшего времени на подсистему будущего абсолютно отрицать нельзя).

В плане будущего времени очень быстро оказывается заметной дифференциация форм НСВ и СВ по частным видовым значениям. В принципе формы обоих видов могут конкурировать в обозначении ожидаемых и легко прогнозируемых единичных действий в ближайшем будущем:

(41) Филипп: *А де* [где] *ботинки? Я одевать буду* [ср.: *одену* (= надену)] (2, 4, 2);
(42) Варя: *Это я буду закрыввать вот этой* [ср.: *закрою*] (2, 4, 14).

Однако довольно скоро обнаруживается аспектуальное разнообразие и начинают учитываться видовые особенности НСВ и СВ. Так, в случае ожидаемого и явно повторяющегося действия в будущем начинает использоваться НСВ:

(43) Филипп: *Буду ходить босиком* [босиком] (2, 4, 2);
(44) Варя: *Я счас буду всё класть ситечком* (ср.: *положу*, изменяющее смысл] (2, 4, 14);
(45) Варя: *Теперь я буду это уже возить* (2, 4, 14).

В приведенных примерах замена НСВ на СВ невозможна без изменения смысла.

Будущее время НСВ используется также в случае конкретного процесса, т.е. относительно длительного и развивающегося действия, как в примере (39); ср. также следующий пример:

(46) Женя: *Люба готовит калетку* [котлетку]. *Мальцик будит кусить* [кушать] *калетку. Папа будит камить* [кормить] (2, 1, 9).

Соответственно, будущее время СВ используется в случае ожидаемого конкретного факта (завершенного целостного действия):

(47) Филипп: *Ты сколо* [скоро] *на улицу подес* [пойдешь] *к Насте* (...) *и меня возмес* [возьмешь] (2, 5, 8).

В принципе не исключена возможность видового контраста, однако это не динамический контраст типа *будем строить и построим, он возглавит фирму и будет некоторое время возглавлять ее*, а скорее контраст таксисного характера и контраст частных видовых значений, например:

(48) Варя: *Я буду чинить это все. Сначала соберу...* (2, 4, 14);
(49) Варя: *Счас я его брошу на чердак, счас он там будет валяться* (2, 4, 14).

В первом примере конкретный факт предшествует предполагаемому конкретному процессу, а во втором – ожидаемому состоянию. Ср. также специфические способы действия во втором примере: одноактный *бросить* (СВ) и статальный *валяться* (НСВ).

Одна из причин различия между прошедшим и будущим временем в способах формирования видовой оппозиции заключается в том, что план будущего времени представляет для ребенка прежде всего "мир предположений", что в общем соответствует модальному характеру будущего времени в конвенциональном языке. Ребенок начинает понимать, что будущие действия находятся вне опыта в отличие от действий прошедшего времени, и поэтому различия в предполагаемых будущих действиях строятся в его речи не на видовом контрасте в рамках одного и того же действия (его развития, завершения, оценки его последствий), а на аспектуальном противопоставлении разных действий с использованием таких признаков, как повторяемость, процессность, целостность (семантика конкретного факта).

9. Выводы. На основе проведенного анализа можно утверждать, что первоначально из всего спектра видо-временных отношений усваиваются не просто отдельные оппозиции, но их определенные, иногда даже менее распространенные в конвенциональном языке варианты. При переходе от одной оппозиции к другой детская языковая стратегия состоит в предпочтении немаркированного компонента маркированному. Поскольку большинство оппозиций пересекается между собой в общей системе, то встречаются случаи, когда одна и та же форма, входящая в две оппозиции, может быть маркированным компонентом в рамках одной из оппозиций и немаркированным компонентом в рамках другой. Таковы, в частности, формы прошедшего СВ, которые сильно противопоставлены всему комплексу форм НСВ в аспектуальном отношении, но по сравнению с прошедшим НСВ оказываются слабо противопоставленными настоящему НСВ в отношении темпоральном, поскольку в перфектном варианте не выражают признак "разобщенности с настоящим". В этих случаях при переходе от одной оппозиции к другой большую роль начинают играть постепенные изменения в употреблении форм и расширение их семантической вариативности.

Одним из путей усвоения видо-временной системы может быть контрастное использование немаркированного и маркированного компонентов одной и той же оппозиции в различных типах контекстов. "Мягкая" аспектуально-темпоральная структура первых детских текстов (тип настоящего репортажа) такова, что предоставляет здесь большие возможности. Важнейшим условием "достраивания" видо-временной системы до конвенциональной является освоение средств автореференции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бондарко А.В. 1991 – Предельность и глагольный вид (на материале языка) // ИАН СЛЯ. 1991.

Бондарко А.В. 1996 – Проблемы грамматической семантики и русской аспектологии. СПб., 1996.

Булыгина Т.В. 1995 – Семантико-синтаксические особенности разных типов видовых форм в русском языке и вопрос об их лексикографической трактовке // Семантика и структура славянского вида I. Краков, 1995.

Гагарина Н.В. 1997 – Аспектуальная семантика и функционирование видов русского глагола в детской речи. Дисс. ...канд. наук. СПб., 1997.

Гвоздев А.Н. 1961 – Формирование у ребенка грамматического строя русского языка // Гвоздев А.Н. Вопросы изучения детской речи. М., 1961.

Гвоздев А.Н. 1981 – От первых слов до первого класса (Дневник научных наблюдений). Саратов, 1981.

Гловинская М.Я. 1982 – Семантические типы видовых противопоставлений русского глагола. М., 1982.

Исаченко А.В. 1960 – Грамматический строй русского языка в сопоставлении со словацким. Братислава. Ч. II. 1960.

Кожевников Л.П. 1994 – Высказывания с видовыми контрастами типа "процесс – факт" в современном русском языке (на материале видовых пар однокорневых глаголов) // Acta universitatis scietierum socialium et artis educandi tallinnensis / Ed. by Pile Elson. Tallin, 1994.

Лосев А.Ф. 1982 – О бесконечной смысловой валентности языкового знака // Лосев А.Ф. Знак. Символ. Миф. М., 1982.

Маслов Ю. 1948 – Вид и лексическое значение глагола в современном русском литературном языке // ИАН ОЛЯ. 1948. Вып. 4.

Падучева Е.В. – 1996. Семантические исследования: Семантика времени и вида в русском языке. Семантика нарратива. М., 1996.

Протасова Е.Ю. 1988 – Развитие семантической связности диалога "мать – ребенок" // Семантика в речевой деятельности. М., 1988.

Протасова Е.Ю. 1989 – О некоторых аспектах номинации в детской речи // Язык и когнитивная деятельность. М., 1989.

Пупынин Ю.А. 1994 – О темпоральной структуре детской речи // Проблемы детской речи. Материалы межвузовской конференции. СПб., 1994.

Пупынин Ю.А. 1996 – Усвоение системы русских глагольных форм ребенком (ранние этапы) // ВЯ. 1996. № 3. 1996.

Цейтлин С.Н. 1988 – Категория вида русского глагола в онтогенезе // Функциональный анализ грамматических форм и конструкций. Л., 1988.

Budvig N. 1995 – A developmental-functionalist approach to child language. Mahwah (New Jersey), 1995.

Dressler W.U. 1994 – Evidence from the first stages of morphology acquisition for linguistic theory: extragrammatic morphology and diminutives // Acta Linguistica Hafniensia. V. 27, Pt. 1. 1994.

Dressler W.U., Karpf A. 1995 – The theoretical relevance of pre- and protomorphology in language acquisition // Yearbook of morphology, 1995.

Jakobson R. 1932 – Zur Struktur des Russischen Verbums // Charisteria Guilelmo Mathesio... oblata. Pragae, 1932.

ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ

№ 2 1998

© 1998 г. Р.К. ПОТАПОВА, Т.А. ГОРДЕЕВА

К ВОПРОСУ О ПОГРАНИЧНЫХ СИГНАЛАХ В СОВРЕМЕННОМ НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

(применительно к региональным вариантам немецкого языка в ФРГ, Австрии, Швейцарии)

Современный этап развития языкознания характеризуется возросшим интересом к проблеме изучения различных аспектов звучащей речи. Одним из перспективных направлений, привлекающих в последнее время лингвистов, является исследование механизма важнейших процессов, определяющих специфику внутренней структуры и динамику речевых явлений. Речевая динамика, в свою очередь, предопределяет возникновение проблемы разграничения, а следовательно, и проблемы пограничных сигналов в языке.

Основополагающим в этой работе является учение Н.С. Трубецкого о разграничительной или делимитативной функции звуковой материи языка [Трубецкой 1960]. Согласно данному учению впервые ставится вопрос о пограничных сигналах, т.е. о фонологических и фонетических средствах разграничения значимых единиц в потоке речи, предпринимается попытка их классификации, определяется роль, место и способы их реализации в различных языках. Теория пограничных сигналов Н.С. Трубецкого и в наше время не потеряла своей актуальности. Более того, она продолжает служить основой для многочисленных изысканий в науке о языке и средствах его экспликации.

Настоящее экспериментально-фонетическое исследование является первым в области выявления, описания и систематизации пограничных сигналов как на супрасегментном, так и на сегментном уровнях в различных региональных вариантах немецкого литературного языка применительно к границам между различными лингвистическими единицами (фоноабзацами, фразами, синтагмами и фонетическими словами).

Проблема вариативности фонетических единиц в потоке речи всегда находилась в центре внимания современной лингвистики [Реформатский 1963: 60–76; Зиндер 1979; Торсуев, 1962; Потапова 1986]. В условиях развития перспективных информационных технологий по-новому ставится проблема сегментации и смыслового распознавания звучащей речи в зависимости от условий коммуникации и с учетом различных факторов, в том числе и региональных. Данное положение приобретает особую значимость в отношении немецкого литературного языка и немецкого кодифицированного произношения, что вызвано прежде всего тем, что немецкий язык функционирует на территории ряда регионов, выступая в качестве государственного языка в таких странах, как ФРГ, Швейцария и Австрия, и обладает определенной вариативной произносительной спецификой.

Следует подчеркнуть, что небезынтересным, с нашей точки зрения, представляется также выявление гипотетически возможных произносительных различий немецкого литературного языка применительно к сегментам речи на материале бывшей ГДР[1], которая до 1952 года территориально делилась на пять земель (Мекленбург, Сак-

[1] При дальнейшем изложении материала регион бывшей ГДР обозначен как восточно-германский регион по сравнению с западно-германским регионом, т.е. с бывшей ФРГ.

сония-Ангальт, Саксония и Тюрингия), а начиная с 1952 года – на 14 округов (Росток, Шверин, Нойбранденбург, Потсдам, Франкфурт, Магдебург, Галле, Лейпциг, Карл-Маркс-Штадт, Гера, Эрфурт, Зуль, Дрезден и Котбус; столица – Берлин – самостоятельная административная единица), и бывшей ФРГ (земли: Северный Рейн-Вестфалия, Бавария, Баден-Вюртемберг, Нижняя Саксония, Гессен, Рейнланд-Пфальц, Шлезвиг-Гольштейн, Гамбург, Саар, Бремен).

О наличии произносительных различий между восточно-германским и западно-германским региональными вариантами указывалось ранее в таких немецких произносительных словарях, как "Duden. Aussprachewörterbuch" (Mannheim, 1990), "Grosses Wörterbuch der deutschen Aussprache" (Leipzig, 1982), "Das Aussprachewörterbuch der deutschen Sprache" (R.K. Potapowa, Moskau, 1994).

Проведение настоящего исследования вызвано необходимостью выявления общих и специфических признаков функционирования фонетической системы немецкого литературного языка применительно к различным региональным вариантам на уровне слухового восприятия и акустических коррелятов с учетом синтагматических и позиционных факторов. Принципиально важным является то, что впервые ставится вопрос о наличии вариантов в области разграничительных явлений во всех четырех немецкоговорящих социумах (западно-германском, восточно-германском, швейцарском и австрийском) на уровне слухового восприятия с учетом артикуляторной специфики и акустических свойств пограничных сигналов. Перспективность такого подхода состоит в том, что он позволяет адекватно описать особенности функционирования звукового состава, а также интонационного строя в терминах артикуляторно-слуховых и просодических признаков речи.

Необходимость более глубокого изучения системы пограничных сигналов в различных немецкоговорящих регионах вызвана не только интересом, проявляемым лингвистами к теории разграничительных признаков Н.С. Трубецкого и теоретическим аспектам описания членения непрерывного речевого потока в целях корректного извлечения информации и правильного построения высказывания в акте коммуникации, но и тем огромным значением, которое данная проблема имеет для решения чисто практических задач разработки достаточно надежных и строгих критериев сегментации речевого потока, используемых в автоматизированных системах распознавания и понимания устной речи, а также являющихся необходимым элементом в цепи акустического диалога "человек-машина" [Потапова 1989; Златоустова, Потапова, Трунин-Донской 1986; Фант 1970].

На современном этапе развития фонетических наук уже становится невозможным глубокое изучение звучащей речи без обращения к феномену сегментации. В последнее время совершенно правомерно поставлен вопрос о выделении данного аспекта фонетики в самостоятельную область – сегментологию [Потапова 1995]. Настоящее исследование предоставляет достаточный экспериментальный материал для дальнейшей разработки вышеуказанного раздела общей и прикладной фонетики.

Как указывалось ранее, в нашем исследовании впервые экспериментально-фонетический анализ пограничных сигналов в немецком литературном языке проведен на материале его региональных вариантов (западно-германского, восточно-германского, швейцарского и австрийского)[2]. В процессе исследования применена комплексная методика, согласно которой внимание сосредоточено на следующих срезах: типологически-сопоставительном (осуществляется сопоставление фонологических систем анализируемых вариантов немецкого языка на материале литературных источников), фонологическом (письменные корреляты экспериментальных текстов подвергаются фоноактическому анализу с целью выявления системы фонемных пограничных сигналов, маркирующих границы лексических единиц), перцептивном (проводится слухо-

[2] В дальнейшем вводятся следующие сокращения названий региональных вариантов немецкого литературного языка: ЗВ – западно-германский, ВВ – восточно-германский, ШВ – швейцарский и АВ – австрийский.

вой анализ экспериментального корпуса), акустическом (определяются акустические корреляты найденных пограничных сигналов), статистическом (полученные результаты оцениваются с помощью модифицированного t-критерия). В качестве экспериментального материала использовались аутентичные немецкие тексты в прочтении носителей того или иного регионального варианта немецкого литературного языка. В стилистическом отношении все тексты были однородны. Материалом исследования послужили оригинальные немецкие тексты радио- и теленовостей Германии, Швейцарии и Австрии. Данная жанровая принадлежность текстов определялась основными целями и задачами исследования, ориентированного на современный немецкий литературный язык в его региональных вариантах. Предварительное многократное прослушивание показало, что тексты реализованы в среднем темпе, эмоционально нейтральны, без какой-либо диалектальной окраски и являются репрезентантами литературного стандарта современного немецкого языка.

Система пограничных сигналов современного немецкого литературного языка характеризуется определенным набором устойчивых фонетических признаков, как общих для всей фонетической системы немецкого языка, так и имеющих специфическую реализацию в каждом его региональном варианте. В ходе исследования проанализировано 150 аутентичных текстов с общим временем звучания 3,5 часа, 1500 предстыковых и застыковых сегментов.

Предварительный лингвистический анализ текстов с учетом факторов синсемантии и автосемантии имел своей целью уравнивание составляющих звучащего текста по принципу функционирования автосемантических связей.

Первоначальная задача исследования заключалась в выявлении системы фонемных пограничных сигналов на материале письменных коррелятов экспериментальных текстов. Как известно, специфика немецкой фонотактики обусловливает необходимость исследования фонологической сочетаемости, а также аллофонической вариативности на стыковых участках лексикоморфологических единиц [Потапова 1981; Гордеева 1987; Ellenberg 1964; Scholz 1972].

В процессе анализа удалось проследить взаимосвязь между частотным распределением фонем на стыках в текстах различных региональных вариантов немецкого языка, результатами слухового восприятия стыковых участков на сегментном и супрасегментном уровнях и соответствующими акустическими данными.

Фонотактический анализ позволил выявить наличие фонемных классов, участвующих и не участвующих в формировании стыковых комбинаций; функционирование центрального ареала и периферии в распределении фонем на стыках; наличие наиболее и наименее частотных фонемных последовательностей в качестве I и II компонентов как в зависимости от типа стыка, так и без учета внутренней дифференциации по типам стыка; противоположное распределение большинства гласных и согласных фонем применительно к компонентам стыка. Сравнение результатов фонотактического анализа текстов в четырех региональных вариантах современного немецкого языка позволило сделать вывод о том, что принадлежность текстов к различным региональным вариантам существенно не влияет на стыковую фонемную комбинаторику, которая определяется фонотактическими закономерностями распределения фонем, присущими фонологической системе немецкого языка в целом [Потапова, Линднер 1991].

Результаты анализа стыковой фонемной дистрибуции послужили базовым материалом для проведения дальнейшего экспериментально-фонетического исследования по выявлению перцептивных и акустических коррелятов найденных пограничных сигналов как на сегментном, так и на супрасегментном уровнях.

Слуховой анализ сегментных и супрасегментных признаков фонетического членения немецких текстов осуществлялся по специально разработанной программе, которая включала несколько этапов:

I. а) *Членение звучащего текста перцепиентами, предусматривающее распознавание фонетических единиц (фоноабзацев, фраз, синтагм, фонетических слов) без опоры на пунктуацию.*

б) Фиксацию ударения в выделенных на предыдущем этапе единицах и определение типа ударения (словесного, синтагматического, фразового).

II. Описание фонетических признаков супрасегментных средств членения текста.

III. Описание фонетических признаков сегментных средств членения текста с учетом вокализма и консонантизма.

Слуховой анализ текстов носителями языка проводился в Боннском университете, где были представлены тексты в трех региональных вариантах немецкого литературного языка. В качестве информантов выступали преподаватели и студенты университета – носители соответствующего регионального варианта немецкого языка. Перцептивный анализ восточно-германской реализации немецкого литературного языка осуществлялся на территории бывшей ГДР в г. Кёнигс Вустерхаузен. Общее количество информантов составило 20 человек.

С целью выявления возможных различий при слуховой интерпретации анализируемых стимулов была привлечена вторая группа испытуемых, не являющихся носителями немецкого языка. В эту группу вошли лингвисты – преподаватели фонетики немецкого языка Московского государственного лингвистического университета.

Результаты анализа экспериментальных текстов аудиторами-носителями немецкого языка и аудиторами-носителями русского языка позволили сделать вывод о том, что слуховая оценка сегментации той и другой групп информантов имеет свою специфику и опирается на фонологическую и артикуляционно-перцептивную базу испытуемых. Установлено, что сегментация речевого сообщения носителями региональных вариантов немецкого языка осуществляется, начиная преимущественно с главновыделенного в смысловом отношении слова, что подтверждает результаты, полученные ранее Р.К. Потаповой [Потапова 1981]. Выделение ударений других разновидностей в составе звучащего текста имеет тенденцию к убыванию.

Анализ модификаций супрасегментных признаков для реализации фонетического членения в немецких текстах осуществлялся дифференцированно применительно к границам фоноабзацев, фраз, синтагм и фонетических слов в зависимости от стыковой позиции (начальной/конечной) и безотносительно к типу стыкующихся единиц. Каждый из просодических признаков (мелодический, темпоральный, динамический, акцентный и паузальный) оценивался по соответствующей программе. Так, мелодический признак включал только три основные конфигурации: падение тона, повышение тона, ровный тон. Темпоральный признак имел следующие основные градации: медленный, средний, быстрый. В пределах каждого типа динамического изменения рассматривались такие его степени, как тихий, средний и громкий. Признак ударения включал три ступени: минимально акцентированную, среднюю и максимально акцентированную. Паузы, выявляемые на стыках анализируемых единиц, классифицировались как долгие, средние и минимальные, а также невоспринимаемые.

Попарное сравнение данных применительно к принадлежности к региональным вариантам немецкого языка и использование модифицированного t-критерия дали возможность не только выявить систему пограничных сигналов, но и определить степень их экспликации в каждом из сравниваемых вариантов. Характер слуховой идентификации признаков предопределил дифференцированный подход к классификации самих пограничных сигналов в качестве положительных и отрицательных в зависимости от каждого конкретного признака и от позиции, которую занимает на стыке анализируемый сегмент (в частности, слог). Так, применительно к мелодическому признаку для конечной позиции фоноабзацев и фраз в качестве положительного пограничного сигнала было выделено падение частоты основного тона (ЧОТ). Ровный тон и подъем ЧОТ выступали в качестве отрицательных пограничных сигналов. В процессе слухового анализа удалось установить, что предъявляемые фразы дифференцировались аудиторами с учетом трех основных конфигураций основного тона (подъем, падение, ровный тон) и не дифференцировались, что касается более детальных изменений основного тона в пределах слога.

Падение ЧОТ в конечной позиции присутствует во всех парах сравниваемых регио-

нальных вариантов, однако степень выраженности этого признака различна в зависимости от принадлежности к тем или иным вариантам. Так, при сравнении ЗВ и ВВ, ЗВ и ШВ, ЗВ и АВ бóльшую степень выраженности в качестве пограничного сигнала признак ЧОТ имеет в ЗВ по сравнению с ВВ и АВ. В таких сравниваемых вариантах, как ЗВ и ШВ, наоборот, данный признак более представлен в ШВ. Для таких пар, как ВВ–ШВ и ВВ–АВ, этот признак более выражен на слуховом уровне в ВВ. Сравнение ШВ и АВ показало, что падение ЧОТ в ШВ идентифицируется аудиторами в большей степени в ШВ, чем в АВ.

Ровный тон в качестве отрицательного пограничного сигнала в рассматриваемой позиции в равной степени представлен в ЗВ–АВ и ШВ–АВ. В остальных парах сравниваемых региональных вариантов этот признак распределяется следующим образом. Для таких вариантов, как ЗВ–ВВ и ЗВ–ШВ большую степень выраженности ровный тон имеет в ЗВ. При сравнении ВВ–ШВ и ВВ–АВ этот показатель имеет место для ШВ и АВ. Подъем ЧОТ в качестве пограничного сигнала для конечной позиции фоноабзацев и фраз зафиксирован в ЗВ и АВ с одинаковой степенью выраженности в обоих вариантах. Однако эти признаки не регулярны, что объясняется возможно индивидуальными особенностями произношения дикторов.

Применительно к конечной позиции синтагм и фонетических слов признак подъема ЧОТ рассматривался как положительный пограничный сигнал. Падение ЧОТ и ровный тон были выделены в качестве отрицательных пограничных сигналов, причем с одинаковой степенью выраженности во всех сравниваемых вариантах, за исключением ЗВ и ШВ, где падение ЧОТ более регулярно представлено в ЗВ.

В отношении начальной позиции фоноабзацев и фраз в качестве положительного сигнала рассматривается подъем ЧОТ. Признак ровного тона выступал как отрицательный пограничный сигнал. Падения ЧОТ в данной позиции не наблюдалось. Подъем ЧОТ имеет одинаковую степень выраженности при сравнении ЗВ и ВВ. В ЗВ–ШВ и ЗВ–АВ бóльшую степень выраженности этот признак имеет в ЗВ. Для таких пар, как ВВ–ШВ и ВВ–АВ, подъем ЧОТ более показателен в ВВ и более выражен в ШВ по сравнению с АВ. В отношении ровного тона в качестве отрицательного пограничного сигнала при сравнении региональных вариантов можно сказать следующее. Для таких пар, как ЗВ–ВВ, ЗВ–ШВ и ЗВ–АВ, данный признак более регулярно идентифицируется на слуховом уровне в ЗВ. Для остальных региональных вариантов он представлен в меньшей мере. В парах ВВ–ШВ и ВВ–АВ ровный тон более показателен для ШВ и АВ. В случае сравнения этих вариантов между собой выясняется, что данный признак более регулярно представлен в АВ.

Применительно к начальной позиции синтагм и фонетических слов в качестве положительных пограничных сигналов рассматривались возрастающий и ровный тоны. Признак падения ЧОТ выступал в качестве отрицательного пограничного сигнала. Ровный тон имеет одинаковую ступень выраженности на слуховом уровне в таких парах сравниваемых вариантов, как ЗВ–АВ, ВВ–АВ и ШВ–АВ. При сравнении ЗВ–ВВ и ЗВ–ШВ этот признак более показателен для ЗВ и менее для ВВ и ШВ, а при сравнении ВВ и ШВ большая степень выраженности характерна для ШВ. Признак подъема ЧОТ в качестве положительного пограничного сигнала при сравнении региональных вариантов немецкого языка выглядит следующим образом: в ЗВ–ВВ и ЗВ–ШВ этот признак является более показательным для ВВ и ШВ. В ЗВ–АВ, ВВ–АВ и ШВ–АВ подъем ЧОТ выражен в большей степени в ЗВ, ВВ и ШВ. При сравнении АВ и ШВ данный признак более регулярен для ВВ.

Падение ЧОТ в качестве отрицательного пограничного сигнала на указанных участках присутствует во всех парах сравниваемых региональных вариантов, однако с различной степенью идентификации на слуховом уровне. Так, в парах ЗВ–ШВ, ВВ–ШВ и ШВ–АВ этот признак представлен с одинаковой степенью выраженности. При сравнении ЗВ–ВВ и ВВ–АВ выясняется, что падение ЧОТ в большей степени присуще ЗВ и АВ, а при сравнении ЗВ и АВ данный признак более показателен для АВ.

Что касается темпорального признака сегментации, то здесь также зафиксированы определенные разновидности положительных и отрицательных пограничных сигналов. В конечной позиции фоноабзацев и фраз в качестве положительных пограничных сигналов рассматривались признаки медленного и среднего темпа. Быстрый темп является для данной позиции отрицательным пограничным сигналом. Признак медленного темпа имеет равную степень выраженности в следующих парах сравниваемых региональных вариантов: ЗВ–ВВ, ЗВ–ШВ, ЗВ–АВ и ВВ–АВ. При сравнении ВВ–ШВ этот признак более показателен для ШВ, а в паре ШВ–АВ он более выражен в отношении АВ. Средний темп представлен с одинаковой степенью выраженности на слуховом уровне во всех парах сравниваемых региональных вариантов, кроме ВВ–ШВ, где данный признак более типичен для ВВ.

Признак быстрого темпа в качестве отрицательного пограничного сигнала в рассматриваемой позиции представлен во всех парах сравниваемых вариантов в следующем соотношении. В парах ЗВ–ВВ, ЗВ–ШВ и ЗВ–АВ этот признак имеет большую степень выраженности применительно к ВВ, ШВ и АВ, менее выражен – в ЗВ. В таких вариантах, как ВВ–АВ и ШВ–АВ, данный признак перцептивно маркирован в АВ, при сравнении ВВ и ШВ – в ВВ. В отношении конечной позиции синтагм и фонетических слов темпоральный признак в качестве пограничного сигнала выглядит следующим образом: быстрый темп и средний темп – положительные пограничные сигналы, медленный темп – отрицательный пограничный сигнал.

Признак быстрого темпа представлен с одинаковой степенью в таких парах, как ЗВ–ШВ и ВВ–АВ. В парах ЗВ–ВВ и ЗВ–АВ этот признак имеет большую степень выраженности для ВВ и АВ, меньшую – в ЗВ. При сравнении ЗВ–ШВ и ШВ–АВ он оценивается аудиторами более последовательно в ШВ по сравнению с ВВ и АВ. Средний темп в качестве положительного пограничного сигнала также характеризуется определенными тенденциями. Большая степень представленности по данному признаку присуща ВВ в следующих парах сравниваемых региональных вариантов немецкого языка: ЗВ–АВ, ВВ–ШВ и ВВ–АВ. В таких парах, как ЗВ–ШВ и ЗВ–АВ, этот признак проявляется в большей степени для ЗВ, а при сравнении ШВ и АВ – для ШВ. Медленный темп как отрицательный сигнал оценивается аудиторами достаточно одинаково применительно к следующим парам: ЗВ–ВВ, ВВ–ШВ, ВВ–АВ и ШВ–АВ. А в парах ЗВ–ШВ и ЗВ–АВ данный признак имеет большую степень выраженности в отношении ШВ и АВ.

В начальной позиции фоноабзацев и фраз, а также синтагм и фонетических слов в качестве положительных пограничных сигналов выступали такие признаки, как быстрый и средний темп. Признак медленного темпа рассматривался как отрицательный пограничный сигнал для обеих позиций, причем в позиции начала фоноабзацев и фраз он представлен только в ШВ и АВ с равной степенью выраженности. В этой же позиции с одинаковой степенью представлен средний темп (как положительный пограничный сигнал) в следующих парах: ВВ–ШВ, ВВ–АВ и ШВ–АВ. Бóльшую степень выраженности данный признак имеет в ЗВ сравнительно с остальными парами региональных вариантов. Признак быстрого темпа присущ в большей мере ВВ по сравнению со всеми остальными вариантами. В ЗВ–ШВ и ШВ–АВ бóльшую степень перцептивной экспликации этот признак имеет в ЗВ и АВ, меньшую – в ШВ. При сравнении ЗВ и ВВ установлено, что анализируемый признак более маркирован для ВВ.

В начальной позиции синтагм и фонетических слов признак быстрого темпа представлен в равной степени в таких сравниваемых вариантах, как ЗВ–ВВ и ВВ–АВ. Большую степень выраженности этот признак имеет в ЗВ при сравнении его с ШВ и АВ. В паре ВВ–ШВ быстрый темп более показателен для ВВ, а в паре ШВ–АВ – для ШВ. Признак среднего темпа проявляется в данной позиции следующим образом. В парах ЗВ–ВВ, ЗВ–ШВ и ЗВ–АВ этот признак выражен в большей степени для ВВ, ШВ и АВ по сравнению с ЗВ. А в парах ВВ–ШВ и ШВ–АВ данный признак

имеет бóльшую выраженность в ШВ. В ВВ и АВ рассматриваемый признак представлен с одинаковой степенью выраженности.

Признак медленного темпа в качестве отрицательного пограничного сигнала проявляется во всех сравниваемых вариантах в следующем соотношении. В равной степени этот признак представлен в парах: ЗВ–ВВ, ЗВ–ШВ и ВВ–ШВ. В АВ признак медленного темпа выражен в большей степени по сравнению со всеми остальными региональными вариантами.

Применительно к динамическому признаку также выявлено наличие определенных положительных и отрицательных сигналов. В конечной позиции фоноабзацев и фраз в качестве положительных пограничных сигналов выступили такие признаки, как *минимальный и медиальный уровни громкости*. Максимальный уровень громкости отмечен как отрицательный пограничный сигнал. Признак минимального уровня громкости представлен с одинаковой степенью выраженности в парах ЗВ–ВВ и ЗВ–АВ. В ШВ данный признак имеет большую степень проявления по сравнению с ВВ и АВ. В паре ЗВ–ШВ данный признак проявляется более ярко в ЗВ, а в паре ВВ–АВ – в ВВ. Признак медиального уровня громкости выражен в равной степени в следующих парах сравниваемых региональных вариантов: ЗВ–ШВ, ВВ–ШВ и ВВ–АВ. При сравнении ЗВ–ВВ и ЗВ–АВ установлено, что в большей степени этот признак отмечался аудиторами в ВВ и АВ, а в паре ШВ и АВ – в ШВ. Признак максимального уровня громкости в качестве отрицательного пограничного сигнала проявляется в равной степени для ЗВ и АВ. В таких парах, как ЗВ–ВВ и ЗВ–ШВ, данный признак наблюдается наиболее регулярно в ЗВ. А в парах ВВ–ШВ и ВВ–АВ – в ШВ и АВ. При сравнении ШВ и АВ между собой установлено, что этот признак идентифицируется аудиторами регулярно в качестве отрицательного пограничного сигнала для АВ.

В конечной позиции синтагм и фонетических слов в качестве положительного пограничного сигнала рассматривался признак медиального уровня громкости, а признаки максимального и минимального уровней громкости выступали как отрицательные пограничные сигналы. Признак медиального уровня громкости выражен в одинаковой степени в ЗВ и АВ. В парах ЗВ–ВВ и ЗВ–ШВ этот признак более показателен для ВВ и ШВ, а в парах ВВ–ШВ и ШВ–АВ – для ШВ. При сравнении ВВ и АВ выявляется бóльшая степень выраженности данного признака на слуховом уровне в отношении ВВ. Признак максимального уровня громкости оценивается аудиторами достаточно одинаково в парах ЗВ–ШВ, ЗВ–АВ, ВВ–ШВ и ШВ–АВ. В большей степени данный признак проявляется применительно к ВВ по сравнению с ЗВ и АВ.

Признак минимального уровня громкости идентифицируется аудиторами без каких-либо резких различий в парах ЗВ–ШВ и ЗВ–АВ. При сравнении ШВ и АВ характерно большее число случаев наличия данного признака в АВ. В начальной позиции фоноабзацев и фраз, а также в начальной позиции синтагм и фонетических слов в качестве положительного пограничного сигнала рассматривались признаки максимального и медиального уровней громкости. Признак минимального уровня громкости являлся отрицательным пограничным сигналом. В начальной позиции фоноабзацев и фраз максимальный уровень громкости в большей степени выражен в ВВ при сравнении с ЗВ, ШВ и АВ. В таких парах, как ЗВ–ШВ и ШВ–АВ, этот признак отмечается аудиторами более регулярно ЗВ и АВ, а в парах ЗВ–ВВ и ЗВ–АВ – в ВВ и АВ. Медиальный уровень громкости в равной степени представлен в паре ВВ–АВ. ШВ имеет большую степень выраженности этого признака на слуховом уровне при сравнении его с ЗВ, ВВ и АВ. В ЗВ данный признак более представлен, чем в ВВ и АВ. Минимальный уровень громкости в равной степени зафиксирован аудиторами в парах ЗВ–ШВ, ЗВ–АВ и ШВ–АВ.

Для начальной позиции синтагм и фонетических слов признак максимального уровня громкости имеет одинаковую степень экспликации в вариантах ВВ–АВ. В таких парах, как ЗВ–ШВ, ВВ–ШВ и ШВ–АВ, данный признак наиболее частотен в ЗВ, ВВ

и АВ по сравнению с ШВ. В меньшей степени этот признак присущ ЗВ при сравнении его с ВВ и АВ. Признак медиального уровня громкости оценивается аудиторами в равной степени в парах ЗВ–ШВ, ВВ–АВ и ШВ–АВ. Данный признак более представлен в ЗВ по сравнению с ВВ и АВ.

Признак минимального уровня громкости в качестве отрицательного пограничного сигнала характеризуется следующими тенденциями. В парах ЗВ–ШВ, ВВ–ШВ и ШВ–АВ этот признак проявляется в большей степени в ШВ, а в парах ЗВ–ВВ и ЗВ–АВ – в ЗВ. При сравнении ВВ и АВ данный признак более выражен на слуховом уровне в АВ.

Применительно к признаку акцентной выделенности выявляется специфическая картина положительных и отрицательных пограничных сигналов. В конечной позиции для всех лингвистических единиц (фоноабзацев, фраз, синтагм и фонетических слов) оказалось возможным сравнить только ЗВ–ВВ и ВВ–ШВ в конечной позиции синтагм и фонетических слов, так как языковой материал в текстах в искомых позициях не содержал достаточного количества слов с ударным слогом. В первой паре оказался более выраженным в качестве положительного пограничного сигнала признак медиальной выделенности в ЗВ, во второй паре – этот же признак в ШВ.

В начальной позиции фоноабзацев и фраз признак медиальной выделенности представлен с равной степенью выраженности на слуховом уровне в ЗВ и ВВ.

В начальной позиции синтагм и фонетических слов признак максимальной выделенности в качестве отрицательного пограничного сигнала идентифицируется аудиторами достаточно одинаково в ВВ и АВ. Признак медиальной выделенности рассматривался как положительный пограничный сигнал для данной позиции. Он имеет равную степень выраженности во всех парах сравниваемых региональных вариантов кроме ШВ и АВ, где этот признак реализуется на слуховом уровне в большей степени применительно к ШВ. Признак минимальной выделенности как положительный сигнал в равной степени присутствует в ВВ и АВ.

Определенный интерес представляет признак паузации, который рассматривался в качестве положительного и отрицательного пограничных сигналов следующим образом. Паузы между фоноабзацами дифференцировались так, что максимальные и медиальные паузы выступали как положительные пограничные сигналы, а минимальные и невоспринимаемые паузы – как отрицательные. Максималные паузы имеют в рассматриваемой позиции одинаковую степень выраженности в таких парах, как ЗВ–ШВ, ВВ–ШВ и ВВ–АВ. В меньшей степени данный признак представлен в АВ по сравнению с другими региональными вариантами. Признак медиальной паузы представлен в равной степени во всех сравниваемых парах, кроме ЗВ–ШВ, где он преобладает в ШВ. Минимальная пауза в качестве отрицательного пограничного сигнала зафиксирована лишь в паре ЗВ–АВ в большем числе случаев применительно к АВ. Невоспринимаемые паузы в данной позиции отсутствуют.

Паузы между синтагмами и фонетическими словами в качестве пограничных сигналов распределились следующим образом. Максимальные и медиальные паузы были отнесены к отрицательным пограничным сигналам. Минимальные и невоспринимаемые паузы рассматривались как положительные пограничные сигналы. Максимальные паузы присутствуют во всех сравниваемых региональных вариантах немецкого языка с различной степенью выраженности на слуховом уровне. Так, в ЗВ–ВВ, ВВ–ШВ и ВВ–АВ данный признак идентифицируется аудиторами более регулярно в ЗВ, ШВ и АВ по сравнению с ВВ. В вариантах ЗВ–ШВ и ВВ–ШВ характерно большее число случаев наличия данного признака в ШВ, в паре ЗВ–АВ – в ЗВ, а в паре ШВ–АВ – в АВ. Признак медиальной паузы как отрицательного сигнала в одинаковой степени присутствует в парах ЗВ–ВВ, ВВ–ШВ и ВВ–АВ. При сравнении ЗВ–ШВ и ШВ–АВ устанавливается большая степень выраженности этого признака на слуховом уровне в ШВ.

Минимальные паузы в качестве положительного пограничного сигнала равномерно распределяются в ЗВ и АВ. В большей мере данный признак представлен в ЗВ по

сравнению с ШВ и АВ, а также в ВВ по сравнению с ШВ и АВ. При сопоставлении ШВ и АВ наблюдается большая степень выраженности рассматриваемого признака в ШВ. В отношении невоспринимаемых пауз установлено, что они в равной степени идентифицируются в ВВ–ШВ и ВВ–АВ и более маркированы на слуховом уровне в АВ по сравнению с ШВ.

Результаты слухового анализа, проведенного группой аудиторов-носителей русского языка, также оценивались с помощью модифицированного t-критерия, после чего принималось решение о том, является ли данный конкретный признак достаточно надежным при дифференциации положительных или отрицательных пограничных сигналов. Данные этой группы информантов несколько отличаются от результатов, полученных для группы аудиторов-носителей региональных вариантов немецкого языка. Однако наблюдаются общие тенденции в характере слуховой идентификации супрасегментных признаков в качестве положительных и отрицательных пограничных сигналов и их выраженности (большей или меньшей) на слуховом уровне на границах лингвистических единиц применительно к различным региональным вариантам немецкого языка, что может быть объяснено достаточно специфическим корпусом информантов, являющихся преподавателями фонетики немецкого языка, а следовательно, и имеющих соответствующие навыки в моделировании супрасегментных характеристик немецкой речи.

Таким образом, перцептивная идентификация супрасегментных признаков сегментации немецких звучащих текстов позволила обнаружить следующее:

a) *выявленные признаки достаточно регулярно соотносятся с двумя классами* просодических сигналов: положительных и отрицательных;
b) классификация пограничных сигналов определяется позицией и типом стыка в рамках текста;
c) произносительные региональные варианты немецкого языка применительно к сфере восприятия просодических пограничных сигналов характеризуются наличием разнообразной комбинаторики признаков, лежащих в основе описания пограничных сигналов;
d) наиболее последовательное обособление признаков сегментации на слуховом уровне присуще АВ по сравнению с остальными региональными вариантами.

Сегментные признаки перцептивного фонетического членения звучащих немецких текстов рассматривались в зависимости от позиции, которую занимает на стыке звуковой элемент, с учетом типа стыка анализируемых лингвистических единиц. В отношении немецкого консонантизма к сравнению привлекались такие признаки, как аспирация, эксплозивность, напряженность. Применительно к вокализму оценивались такие признаки, как долгота, сверхдолгота, напряженность, а также краткость, сверхкраткость, отсутствие напряженности. Признаки аспирации, эксплозивности и напряженности согласных выступают в качестве положительных пограничных сигналов и имеют одинаковую степень выраженности на слуховом уровне в таких региональных вариантах, как ВВ и ШВ. В парах ЗВ–ВВ, ЗВ–ШВ и ЗВ–АВ эти признаки менее выражены в ЗВ по сравнению с остальными региональными вариантами. При сравнении ВВ и АВ характерно большее число случаев наличия анализируемых признаков в ВВ, а в ШВ–АВ – в АВ.

В начальной позиции рассматриваемых лингвистических единиц признаки аспирации, эксплозивности и напряженности реализуются во всех региональных вариантах немецкого языка в качестве положительного пограничного сигнала и имеют следующую степень выраженности: в парах ЗВ–ШВ, ВВ–ШВ и ШВ–АВ эти признаки менее выражены в ШВ по сравнению с остальными региональными вариантами. В парах ЗВ–ВВ и ЗВ–АВ данные признаки наблюдаются более регулярно в ЗВ и АВ, а в паре ВВ–АВ – в ВВ.

Немецкие согласные в составе ударного слога также отмечены данной группой признаков с одинаковой степенью выраженности в следующих парах сравниваемых региональных вариантов: ЗВ–ВВ, ЗВ–ШВ и ВВ–АВ. При сравне-

нии ЗВ–АВ и ШВ–АВ обнаруживается бóльшая степень проявления этих признаков в АВ.

Применительно к немецкому вокализму такие признаки, как долгота, сверхдолгота и напряженность, выступали в качестве положительных пограничных сигналов, а признаки краткость, сверхкраткость и отсутствие напряженности рассматривались как отрицательные пограничные сигналы. В конечной позиции лингвистических единиц первая группа признаков имеет равную степень выраженности в таких сравниваемых региональных вариантах, как ЗВ–ШВ и ВВ–АВ. В паре ЗВ–ВВ эти признаки фиксируются аудиторами более регулярно в ЗВ, а в ВВ–АВ – в ВВ.

Другая группа признаков (краткость, сверхкраткость и отсутствие напряженности) также представлена в данной позиции во всех сравниваемых региональных вариантах, но только в качестве отрицательного пограничного сигнала. Равную степень выраженности эти признаки имеют в ЗВ–АВ. При сравнении ЗВ–ВВ и ЗВ–ШВ характерно большее число случаев наличия данных признаков применительно в ЗВ, а в парах ВВ–ШВ и ВВ–АВ – по отношению к ВВ. В паре ШВ–АВ эта группа признаков наблюдается более регулярно в АВ.

В начальной позиции лингвистических единиц признаки долготы, сверхдолготы и напряженности проявляются с одинаковой степенью выраженности на слуховом уровне в ВВ и ШВ. В ударной позиции зафиксированы только признаки долготы, сверхдолготы и напряженности во всех парах сравниваемых региональных вариантов немецкого языка. В равной степени они представлены в таких вариантах, как ЗВ и ШВ, в меньшей степени – в ЗВ по сравнению с ВВ и АВ. В большей мере эти признаки показательны для ВВ в сравнении его с ШВ и АВ, а при сравнении ШВ и АВ большая степень выраженности обнаруживается применительно к АВ.

Таким образом, полученные перцептивные данные позволили описать воспринимаемые акустические корреляты пограничных сигналов на супрасегментном и сегментном уровнях применительно к стыковым позициям в различных произносительных вариантах современного немецкого языка. Последующее сопоставление данных, полученных на перцептивном уровне, с результатами акустического анализа осуществлялось с помощью компьютерной программы CSL (модель 4300, США). При решении задачи исследования особое внимание было обращено на такие параметры, как изменение частоты основного тона (ЧОТ) во времени, средняя частота основного тона, дисперсия частоты основного тона, спектр речевого сигнала, длительность, характер изменения речевой волны. В результате установлено, что среднее значение ЧОТ для всех анализируемых групп дикторов лежит в пределах от 126 до 170 Гц. Полученные различия соответствуют физиологической вариативности, вызванной индивидуальными особенностями дикторов. Разброс значений внутри каждой группы лежит в диапазоне значений от 21 до 36 Гц и не выходит за рамки нормальной вариативности данного параметра речи.

Анализ распределения ЧОТ для различных вариантов показал, что эти значения в основном представлены согласно закону нормального распределения. Исключение составляет лишь ШВ, где значения ЧОТ распределены экспоненциально.

Проведенный анализ значений ЧОТ в контрольной выборке фраз для различных региональных вариантов немецкого языка показал, что:

- средние значения ЧОТ во всех региональных вариантах немецкого языка близки друг другу; выявленные различия не превышают пределов физиологической вариативности;
- проведенный двухфакторный анализ позволил выявить три основные области распределения ЧОТ: в первую область входят ВВ и ШВ, во вторую – ЗВ и в третью – наиболее обособленную группу – АВ.

Результаты двухфакторного анализа акустических данных (в Гц) представляют большой интерес, ибо прослеживается тенденция, согласно которой можно говорить о сходстве членения речевого потока по параметру ЧОТ между восточно-немецким и швейцарским вариантами. Незначительно обособленным выступает западно-немецкий

вариант. Существенно отличается австрийский вариант, что всецело согласуется с перцептивной информацией.

В качестве исходного материала для проведения акустического анализа сегментного состава использовались межфразовые стыки, предстыковым элементом которых явились смычные глухие взрывные согласные. Анализировалась речевая волна и изменение резонансных частот во времени. Результаты анализа показали, что в ЗВ смычные взрывные согласные на межфразовых стыках характеризуются наличием шума высокосоставляющих частот спектра, эксплозией, фрикатизацией, напряженностью. Для данной категории согласных в ВВ характерно отсутствие шума высокочастотных составляющих спектра, тенденция к редукции эксплозии и отсутствие напряженности. В ШВ оказалось представленным и то, и другое явление, то есть имеет место как наличие шума высокочастотных составляющих, так и их отсутствие. АВ характеризуется наличием наиболее слабого шумового компонента в спектре звука. В данном случае прослеживается отсутствие напряженности и тенденция к полузвонкости смычных глухих взрывных согласных.

Проведенное экспериментально-фонетическое исследование позволило по-новому взглянуть на проблему функционирования и соотношения региональных вариантов современного немецкого языка с учетом данных слухового восприятия и акустического анализа применительно к различного рода факторам, определяющим характер фонетической сегментации звучащих текстов. Удалось выявить специфику функционирования пограничных сигналов как на супрасегментном так и на сегментном уровнях в современном немецком языке на материале его региональных вариантов, что представляется весьма перспективным как для развития теории типологии, вариантологии и сегментологии, так и для германистики, прагмафонетики, теоретической и прикладной лингвистики в целом.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Гордеева Т.А. 1987 – Фонолого-фонетические особенности немецкого звукового строя (в аспекте формально-смыслового членения текстов). Дис. ... канд. филол. наук. М., 1987.

Зиндер Л.Р. 1979 – Общая фонетика: Учебное пособие. Изд. 2-е (перераб.). М., 1979.

Златоустова Л.В., Потапова Р.К., Трунин-Донской В.Н. 1986 – Общая и прикладная фонетика. М., 1986.

Потапова Р.К. 1981 – Сегментно-структурная организация речи (экспериментально-фонетические исследования). Дис. ... д-ра филол. наук. Л., 1981.

Потапова Р.К. 1986 – Слоговая фонетика германских языков. М., 1986.

Потапова Р.К. 1989 – Речевое управление роботом. М., 1989.

Потапова Р.К., Линднер Г. 1991 – Особенности немецкого произношения. М., 1991.

Потапова Р.К. 1995 – Теоретические и прикладные аспекты сегментологии // Проблемы фонетики. II. М., 1970.

Реформатский А.А. 1963 – К вопросу о фономорфологической делимитации слова // Морфологическая структура слова в языках различных типов. М.; Л., 1963.

Торсуев Г.П. 1962 – Вопросы фонетической структуры слова. М.; Л., 1962.

Трубецкой Н.С. 1960 – Основы фонологии. М., 1960.

Фант Г. 1970 – Анализ и синтез речи. Новосибирск, 1970.

Ellenberg S. 1964 – Zur Lautstruktur des Wortes. Ein kybernetisches Sprachproblem // Zeitschrift für Phonetik. Berlin, 1964.

Scholz H.Y. 1972 – Untersuchungen zur Lautstruktur deutscher Wörter. München, 1972.

№ 2 1998

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

РЕЦЕНЗИИ

"Ein Rusch Boeck...": Ein Russisch-Deutsches anonymes Wörter- und Gesprächsbuch aus dem XVI. Jahrhundert / Hrsg. von A. Fałowski. Köln etc., 1994. 400 S.

Fałowski A. **"Ein Rusch Boeck...": rosyjsko-niemiecki anonimowy słownik i rozmówki z XVI wieku. Analiza językowa.** Kraków, 1996. 180 s.

Древнейший из дошедших до нас русско-(нижне)немецких словарей-разговорников[1], являющийся вместе с тем и одним из наиболее значительных свидетельств иностранцев о русском языке средневековья, – анонимная рукопись XVI в., хранившаяся сначала в Берлине, а после второй мировой войны – в Кракове и уже более полутораста лет известная славистам (см. [Строев 1841: 134–139]), хотя в основном понаслышке, наконец, благодаря трудам польского русиста Адама Фаловского, стала достоянием научной общественности. Образцовое издание памятника, получившего отныне название "Ein Rusch Boeck..." – по его первым словам: "Ein Rusch Boeck Bin Ick Genanth" ("Я называюсь русская книга"), вышло в издательстве "Böhlau" в серии "Bausteine zur slavischen Philologie und Kulturgeschichte", снискавшей заслуженное признание специалистов целым рядом публикаций, выполненных на самом высоком научном уровне. За изданием текста вскоре последовала монография, содержащая его всестороннее лингвистическое описание, что нельзя не приветствовать – ведь эдиционные предприятия обычно ограничиваются изданием и крайне редко увенчиваются столь подробным исследованием, какое представил нам А. Фаловский; в этой связи нельзя не вспомнить организованную при участии выдающихся славистов многотомную (и многолетнюю) публикацию разговорника Тённиса Фенне, к сожалению, не свободную от неверных интерпретаций и в итоге так и не завершенную – если считать завершением научный анализ материала. Краковский исследователь в полной мере учел опыт издания Фенне, сумев избежать таких недостатков этой (во многих отношениях эталонной) публикации, как, например, достаточно произвольная кириллическая транскрипция текста. Вследствие того, что "Ein Rusch Boeck..." (далее – RB) по объему в два с половиной раза уступает разговорнику Фенне, издатель смог совместить в одном томе фототипическое воспроизведение рукописи (с. 211–398), ее наборный текст (с. 19–126) и указатель слов и форм (с. 127–209), предпослав публикации весьма информативное введение (с. 1–16), где, в частности, перечислил и кратко охарактеризовал другие русско-иноязычные рукописные словари и разговорники, указал основную литературу об издаваемой рукописи, дал ее палеографическое описание, попытался установить время и место создания RB и провел обзор его содержания. Наиболее интересный вывод касается, разумеется, хронологического и диалектного приурочения текста: предварительные наблюдения позволили исследователю с вероятностью датировать его временем между 1526 и 1568 гг. и отметить в качестве возможного территориального ориентира, что единственным русским городом, упоминаемым в разговорнике (не в словаре!), является Псков. А. Фаловский специально подчеркнул, что автор рукописи – немец, владевший русским языком настолько хорошо, что, по мнению исследователя, он решительно пре-

[1] Русско-верхненемецкий словарь и разговорник Томаса Шрове, восходящий к нижненемецкому протографу конца XV в. и копии 1546 г., сохранился только в копии конца XVI в. (см. [Фаловски 1992: 22–23]).

восходит других иностранцев, создавших известные нам словари и разговорники.

Обращение к тексту подтверждает эти наблюдения. Построив свой словарь-разговорник по схеме (и, очевидно, по образцу) тех, насколько можно теперь судить, немалочисленных (хотя и сохранившихся до наших дней в крайне ограниченном количестве) русско-немецких языковых пособий, которые были призваны помочь заморским купцам в их коммерческой деятельности на Руси, неизвестный немецкий автор – так же, как полустолетием позднее Фенне – наполнил эту схему богатым набором лексики, затрагивающей важнейшие сферы жизни (включая и столь популярную ныне "экспрессивную" лексику), многообразной фразеологией и содержательными диалогами. Однако было бы преувеличением считать, что рукопись совершенно адекватно отражает живую русскую речь того времени, когда она создавалась. Поскольку в основе разговорника лежал, скорее всего, аналогичный текст более раннего происхождения (частично послуживший, видимо, прототипом также и для Т. Фенне, см. указание на это на с. 162 монографии А. Фаловского), в RB наличествует целый ряд архаизмов, порой даже несколько неожиданных – так, на л. 89а фигурирует аористная форма (если это не недописанный *-л*-перфект): Kuda twoj hospodar *Izgecha* / Wo Ist dyn herr hen gereisset; на л. 93а зафиксировано сослагательное наклонение со связкой *бых*: Jas kupil towar da lutzo by bylo sto *bych* ne kupil; изредка появляется энклитическая форма дательного падежа личного местоимения (ср., впрочем, аналогичные западнославянские формы): Mnoho ty mene sulisch da malo *mi* daJesch (л. 40а), Udalo*mi*sa tzto Ja sego dni wes swoi towar prodal (л. 89); последний пример показывает, что в разговорнике встречается также дистантное расположение возвратного элемента, ср. еще некоторые примеры: chotzu*sa* stoboi *sosnamiti* (л. 21), *Myl*li*sa* sego dni (л. 56), Nadobet *se* tebe *steretzy* – Ick wüll mi vor die wachten (л. 80). Наряду с архаизмами, так сказать, общерусского распространения в памятнике явственно проступают диалектные черты, с определенностью выдающие его северо-западное происхождение, в частности, наиболее яркая морфологическая особенность древненовгородского диалекта – номинативы и *-л*-перфекты ед. числа на *-е* (*Bure* kon 33а, *priwesle* 59а и т.д.), а также псковское соканье (*зидове* 5, *meschytz* Die monat 9а и др.).

Индекс, сопровождающий издание текста, отвечает самым строгим научным требованиям. Составитель обычно правильно реконструирует нормализованную начальную форму[2], приводя за ней все словоупотребления. При подготовке издания А. Фаловскому остались непонятными несколько слов, выделенных в словоуказателе курсивом, – однако за время, прошедшее от публикации текста до выхода монографии, исследователю удалось прояснить большинство темных мест. Единственное общее замечание, касающееся словоуказателя, связано со способом передачи мягких согласных перед гласными посредством сочетания соответствующей латинской буквы с *j* (*olovjannyj*, *tjagat'sja* и т.п.): коль скоро мягкие согласные перед согласными и на конце слова обозначаются с помощью апострофа, кажется, логичнее было бы сохранить этот принцип и для позиции перед гласным. Немногочисленны и наши возражения по конкретным случаям. Так, для формы 3-го л. ед. числа наст. вр. *chramle* (л. 33) инфинитив корректнее восстановить в виде *храмать*, а не *хромать* [Вайан 1952: 299]. Небесспорна нормализация написания *Mesineck* (л. 16а) в виде *mezinok*: не исключено, что мы имеем здесь дело с тем же псковским диалектным изменением, которое обусловило замену формы *месяц* на *месек* (см. [Бьёрнфлатен 1993: 18]). Формы *osmotrylsa*, *osmotrilsa*, *posmotriti*, *posmotryti*, *Posmotriwschy*, *smotril* указывают на исконную инфинитивную основу с *-и-* и не дают оснований для подновления ее в виде -SMOTRET'. В XVI в. инфинитив к формам типа *idu* выглядел как *ити*, а не IDTI (ср. и в тексте: *Ity*, *Iti*). Для написания *Isgel* (Druscky lonskoi towar kotoroy Ya ot tebe kupil Isgel moJu golowu – ...hefft min heifft botrübet – л. 84) наиболее естественным было бы чтение *изъел*, а не *съел* (как в издании на с. 147, 192), ср. выражение *изъедать*, *изъесть сердце* "причинять/причинить нравственные страдания" в [СРНГ, 12: 176]; тот же глагол в значении "изъесть", очевидно, представлен и на л. 77а (Twoi

[2] К сожалению, это самоочевидное требование далеко не всегда соблюдается в словоуказателях: последний огорчительный пример – индекс к "Архангельскому евангелию" [Миронова 1997], составитель которого, следуя традиции советских изданий древнерусских памятников, вообще отказался от определения исходных форм и во многих случаях неверно атрибутировал формы словоизменения (так, например, формы глагола ꙗти помещены под леммами имамъ и имѣти, которые на самом деле представляют одну лексему).

suckno chor *IsJel*), но эта форма почему-то не оговорена в словоуказателе.

Значение лексического материала RB для русской исторической лексикологии и лексикографии трудно переоценить: очевидно, что введение этого источника в научный оборот существенно обогатит наши исторические словари. Достаточно сказать, что, если бы издание А. Фаловского своевременно дошло до Института русского языка РАН, один лишь 23 выпуск Сл XI–XVII (вышедший в 1996 г.) пополнился бы новыми лексемами – *самопалокъ* и *свѣтильня*, новым – прямым, а не переносным – значением слова *свинский*, более ранними (на несколько десятилетий) фиксациями слов *свалъ* и *сводникъ*.

Наибольшие нарекания в издании RB вызывает факсимильное воспроизведение рукописи: качество фотографий оставляет желать лучшего (однако это скорее вина типографии, а не издателя), к тому же листы не пронумерованы и перепутаны, что очень затрудняет сравнение оригинала с наборным текстом, – так, факсимиле л. 93а находится на с. 394, тогда как л. 93 – на с. 397, л. 94 – на с. 395, л. 92а – на с. 396.

Монография А. Фаловского о языке RB представляет собой чрезвычайно тщательное, можно даже сказать педантичное, в самом положительном смысле этого слова, описание графики, фонетики, словоизменения и лексики, базирующееся на сопоставлении материала рукописи с данными исторической русистики, диалектологии и сравнительного славянского языкознания – хотя приходится признать, что список цитируемой литературы включает далеко не все работы, важные с точки зрения рассматриваемой проблематики[3]. Исследователь подробнейшим образом анализирует все способы обозначения гласных и согласных звуков, не оставляя без внимания ошибок в записи русских слов, и приходит к выводу о том, что "анонимный автор умело отображал при помощи немецких буквенных знаков традиционную кириллическую запись русских слов", но при этом спорадически фиксировал и живые тенденции развития русской фонетики (с. 26–27) – в частности, аканье, редукцию безударных гласных, появление неорганических и протетических гласных, переход ['а] в ['е], [ě] в [и], цоканье и соканье и нек. др. Особого упоминания заслуживают необычные для русской фонетики явления, которые автор не без оснований сопоставляет с соответствующими фактами западнославянских языков: *е* на месте этимологического ъ (типа *loketh*, *Lodetzcka*, *pributeck*, *vbytek*, *otevreny*, *obetztisa* – с. 29), *kv* на месте восточнославянского [цв] (*Kwycky* "цветки" – с. 35), *dl* и *t(e)l* в формах *pokradli*, *propadla*, *pokradl*, *stzotel* (с. 35). В связи с последним образованием (а также формой *osabel* "озяб" – л. 12) уместно, думается, вспомнить чешские и словацкие диалектные формы типа *nesel*, *řekel*, *sedel* [Селищев 1941: 89], важные для более точной локализации инославянского источника RB.

Описание морфологии в работе А. Фаловского носит в значительной мере исчерпывающий характер. В порядке дискуссии можно упомянуть о том, что формы творительного падежа ед. числа *tym*, *tim* и местного падежа мн. числа (*w*) *tych* отражают скорее воздействие мягкого варианта местоименного склонения на твердый, нежели влияние адъективного склонения (с. 52). Несколько странно, что в параграфе о выражении прошедшего времени (с. 61) не оговорена уже упоминавшаяся форма *Isgecha* – даже если автор считает ее опиской. Невнимание исследователя к такой малоразработанной области глагольного морфосинтаксиса, как залоговые отношения, обусловило отсутствие информации о выражении возвратности (см. выше о дистантном *ся*).

А. Фаловский специально разбирает любопытные формы 1-го л. ед. числа наст.-буд. вр. тематических глаголов на *-м*, типа: Ja Jeho ne *chvalim* (л. 57), kupluli Ja twoi towar Ili ne *kupim* (л. 78а), Jas toba sa strapnu *saplatim* (л. 79), Ja Idu w torg *po gulam* do wetzera (л. 94) и т.п. – и подчеркивает их уникальность для восточнославянского ареала, заставляющую и в данном случае допустить возможность влияния других славянских языков (приводятся аналогичные чешские и словацкие формы – с. 58–59). Относительно уникальной формы род. падежа прилагательного *dobreho* (л. 42а) автор высказал следующее предположение: "...если она не ошибочна...

[3] Так, новейшая "новгородоведческая" литература представлена только статьей [Зализняк 1991], к тому же обозначенной в списке сокращенным названием (заметим, кстати, что и книга А.И. Соболевского 1884 г. называется "Очерки из истории русского языка", а не "Из истории русского языка"); "Лекции по истории русского языка" А.И. Соболевского желательно было бы цитировать не по первому изданию, а по третьему, существенно измененному, или четвертому; не вполне ясно, что означает не раскрытое в списке литературы сокращение ESRJ на с. 69 и 125 (s.v. ZABOTA/ZOBOTA): может быть, имеется в виду "Этимологический словарь русского языка" под ред. Н.М. Шанского?

то может быть объяснена только белорусско-польским влиянием" (с. 47); однако, на наш взгляд, и здесь более вероятен чешский или словацкий источник (*dobrého*).

Хорошим дополнением к фонетико-морфологическому анализу рукописи могло бы послужить синтаксическое исследование. Однако, к сожалению, синтаксические особенности языка RB, судя по всему, не вызвали у автора интереса. Между тем только в сфере падежного синтаксиса памятник демонстрирует ряд примечательных конструкций, как-то: родительный при глаголе *быть* (*Jest*li v twoJego towarüscha *towaru* 64, Ot stupi pusti Inych torgowat v kogo *deneg Jest* 78a), именительный при финитной форме глагола (podi somnoi da *skasy prawda* ne solgay ⟨так!⟩ 58), родительный при глаголах зрительного восприятия, заботы и внимания (Podi somnoiu da *posmotri moJogo towaru* 62a, *smotry towaru* po dengach 75, posalui *stregy* ty *moJeho ruchlet* ⟨так!⟩ 82a), винительный лица и творительный предмета при *подарити* (Jas *tebe tim* chotzu *podaryti* 73), может быть, винительный коммодальный при *болѣть* (nogy *mene bolaJut* ⟨так!⟩ 57 – если это не датив, что, впрочем, менее вероятно, см. [Крысько 1997a: 107]).

Наиболее обширным, информативным и творчески исполненным разделом монографии является, несомненно, "Лексика". Нельзя не согласиться с выводом о том, что RB засвидетельствовал "состояние лексики живого, разговорного языка северо-западной Руси XVI в." (с. 67). Особое внимание А. Фаловский уделил словам малоупотребительным, зафиксированным в среднерусской письменности только единичными примерами либо вообще практически неизвестным. Около 11% словарного состава RB приходится на лексемы, которые если и документируются в исторических словарях, то лишь материалом не старше XVIII в. Автор делит эту лексику на следующие группы (с. 69–78):

а) слова (или значения), которые помимо RB отмечены исключительно в записях иностранцев и в источниках XVIII–XX вв. (*zavse* "часто", *chuj*, *sojka*, *vypachat'*, *občest'sja*, *oblinjalyj*, *tosklivo* и ряд других – всего 40 единиц)[4];

б) слова, не зарегистрированные другими иностранцами и известные лишь из позднейших источников (*perdnut'*, *protorgovat'*, *maslenik*, *pekar'*, *čapat'sja*, *cypljatko*, *zin'ka*, *vyspat'sja*, *časok* и др. – всего 64 лексемы);

в) слова (или значения), представленные только в записях иностранцев XVI–XVII вв., но не подтверждаемые более поздними источниками (*kolovert'*, *pozavtrie*, *kur* "penis", *murmonka*, *rozmir*, *schitrit'*, *kupčin* и др. – всего 25 единиц);

г) слова, выражения и значения слов, составляющие специфику RB и не известные из каких-либо других источников (*področit'*, *komgan*, *kosjačik*, *tisknut'*, *piščalo*, *zajakotlivyj*, *netoropjačij*, *buska*, *perstica*, *nesležalyj*, *prigožnyj*, *proležat'sja*, *jarica* "шкура молодой овцы", *rannjaja zvezda*, *šurina*, *prosužnyj master*, *kambrejskoe sukno* и т.д. – всего более 100 единиц).

Лексический раздел книги завершается комментариями к 319 лексемам (с. 78–160). Это исследование, основанное на материале опубликованных свидетельств иностранцев о русском языке, некоторых собственно русских памятников (в особенности "Вестей-курантов"), исторических и диалектных словарей и Картотеки Словаря русского языка XI–XVII вв., проведено А. Фаловским настолько тщательно, столь убедительны проанализированные им немецкие параллели, что авторам Сл XI–XVII следовало бы в ряде случаев не только дополнить его примерами из RB, но и внести поправки в уже вышедшие тома; в частности, для слов *опружитися* и *опружатися* значение, вероятно, надо было бы сформулировать иначе, чем это дано в 13 выпуске словаря, а именно – "упасть, опрокинуться" (ср. с. 154 рецензируемой монографии). Лишь некоторые интерпретации А. Фаловского вызывают на дискуссию. Так, не единственно возможной представляется реконструкция инфинитива *smjat'* для написания *Ismell* в предложении: Czemu ty moi towar *Ismell* – Warumb *werpestu* mine war *Vmme* (л. 63). Автор считает перевод неточным (с. 143), однако здесь можно усмотреть не значение "смять", а значения "опрокинуть; разметать" (ср. там же современные немецкие параллели к *umwerpen – umwerfen*, *umherwerfen*) – и в этом случае инфинитив восстанавливается в виде *измести*, где *-мести* семантически точно соответствует нем. *werfen*. Такое понимание текста как будто подсказывается аналогичным местом в разговорнике Фенне (336.4). Форма твор. падежа *жеравлим* в сочетании *подобїем жеравлим* отнюдь не "возникла в

[4] Заметим, что выражение *ljazgovyj orech* (в RB – *lezgowy*) внесено в данную группу не вполне правомерно: оно представлено в [Сл XI–XVII, 8: 199] (статья **лезговый**) цитатой из "Алфавита" XVII в.; необязательность реконструкции *ля-* подтверждается статьей *lězgovъjь* в [ЭССЯ, 15: 35].

результате ошибочной интерпретации формы *жеравлиным*, записанной в сокращенном виде под титлом" (с. 116), – это совершенно закономерное образование притяжательного прилагательного с суф. *-j- от существительного *жеравь*.

В итоге подробного анализа лексики RB лишь 14 написаний так и не получили, по мнению А. Фаловского (с. 78), вполне удовлетворительной идентификации (хотя необходимо заметить, что для большинства проблематичных слов исследователь все же предложил убедительные конъектуры и истолкования, и помещение их под рубрикой "недостаточно идентифицированных" объясняется главным образом высокой требовательностью автора): для восьми не удалось с уверенностью восстановить исходную форму (*sa... sosnamiti*, *serdack* "кухонная плита", *Truchle*, *Dorohyn*, *Bessenden*, *Baltauβ*, *MahynsckyJe*, *ten*), для трех – значение (*Kolodnück*, *Wor welück*, *bur*), для трех – и то и другое (*Wollinsckaia*, *tilno*, *wyrmick*); к этому же ряду примыкает, по всей видимости, и форма *Otwetzalsemsa*, расцененная как "неясная" (с. 159). Думается, что для первого из перечисленных слов (реконструированного в виде *zoznamit'sja?*, с указанием на наибольшую вероятность его близости к чеш. *seznámit se* и особенно словац. *zoznámit'sa* – с. 97) нормализованную форму можно изобразить в виде *soznamit'sja*, поскольку семантику взаимного действия ("познакомиться") естественно было передавать приставкой *co-* (ср. *sojtis'*). Написание *serdack*, приведенное в русско-нижненемецком словаре (л. 22а) в качестве синонима к *Oschestok* "углубление для горячих углей на краю печного шестка", вряд ли должно читаться как *чердак* (с. 100) – начальное *ч* обычно передается в RB посредством *cz* или *c* (нередкое написание *sto* "что" скорее отражает сокающее произношение [ш], ср. *сто*, *сто бы* в берестяных грамотах [Зализняк 1995: 680]), – но может быть сопоставлено, особенно с семантической точки зрения, с сев.-русск. *жератóк* или *жаратóк* [Сл XI–XVIII, 5: 75, s.v. *жаратокъ* в знач. 2; СРНГ, 9: 74, 130]. Правда, формальные отличия от гипотетического прототипа весьма существенны, однако их все же допустимо объяснить явлениями диалектной фонетики, представленными как в RB, так и в псковских памятниках (см. [Крысько 1997б: 126]), – редукцией безударных гласных (см. примеры на с. 27–29 монографии), смешением звонких и глухих согласных (ср. *proglubal* на л. 90 vs. *proglupal* 55а – с. 15 монографии), меной [а] и [о] в ударной позиции (ср. MoJa *golowo̲* – л. 54, *Poro̲* nam Rosytisa 84а – с. 27). Что же касается загадочного *Otwetzalsemsa*, фигурировавшего в предложении Otwetzalsemsa stoboi torgowaty – Ick hebbe vorlawet mit die kopschlagen (л. 93а), но позднее вычеркнутого и замененного (другим почерком) на *Jas savetzalsa*, то оно, как мы полагаем, должно пополнить список западнославянизмов в RB: по своей структуре эта форма явно напоминает чешские рефлексивы типа *Vrátil jsem se* "Я вернулся", а по семантике – стар. чеш. *odvětiti se* "отказаться, отречься" [Jungmann 1836: 882].

В заключение своего исследования А. Фаловский посвятил несколько страниц "Заметкам о месте и времени возникновения памятника". Утверждая, что RB "не документирует какой-то конкретный местный говор (например, псковский), но представляет конгломерат разных территориальных разновидностей тогдашнего русского языка", автор констатирует, что "информаторами немецкого автора могли быть и, вероятно, были люди, происходившие из разных областей России, в том числе белорусы и – может быть – выходцы из западной Славии, говорившие по-русски" (с. 161). В то же время можно "указать на Псков как место появления" RB: языковые черты, представленные в памятнике, по отдельности выступали и в других говорах, однако в целом могут быть отнесены только к псковскому говору (с. 162). В вопросе о датировке текста А. Фаловский склоняется к середине XVI в. (с. 167). Все эти выводы трудно оспорить; заметим лишь, что участие в составлении разговорника иностранного информанта – носителя славянской речи – факт, о котором, пожалуй, можно говорить с уверенностью.

Итак, русская лингвистическая медиевистика обогатилась прекрасным изданием и основательным исследованием весьма интересного памятника. Особенно отрадно, что на этом эдиционная деятельность краковских русистов не прекратилась: в продолжение вышедшего в 1992 г. факсимильного издания "Русской книги" Томаса Шрове [Schroue 1992], в своем первозданном виде крайне затруднительной для чтения, в 1997 г. был опубликован ее наборный текст со словоуказателем [Schroue 1997]. Это означает, что теперь – с учетом недавнего издания словаря Марка Ридлея конца XVI в. [Ridley 1996] – практически все важнейшие русско-иноязычные словари и разговорники XVI–XVII вв. стали доступными для исследования.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Бьёрнфлатен Я.И. 1993 – Псковские говоры в общеславянском контексте // Бьёрнфлатен Я.И., Нессет Т., Эгеберг Э. Норвежские доклады на XI-ом съезде славистов, Братислава, сентябрь 1993 г. Oslo, 1993.

Вайан А. 1952 – Руководство по старославянскому языку. М., 1952.

Зализняк А.А. 1991 – Берестяные грамоты перед лицом традиционных постулатов славистики и vice versa // RLing. 1991. V. 15. № 3.

Зализняк А.А. 1995 – Древненовгородский диалект. М., 1995.

Крысько В.Б. 1997а – Исторический синтаксис русского языка. Объект и переходность. М., 1997.

Крысько В.Б. 1997б – Кости и письмена: к поискам истоков древнего новгородско-псковского диалекта // Псковские говоры. История и диалектология русского языка. Oslo, 1997.

Миронова Т.Л. 1997 – Указатели слов и форм к тексту Архангельского Евангелия 1092 года // Архангельское Евангелие 1092 года. Исследования. Древнерусский текст. Словоуказатели. М., 1997.

Селищев А.М. 1941 – Славянское языкознание. Т. 1. Западнославянские языки. М., 1941.

Сл XI–XVII – Словарь русского языка XI–XVII вв. Вып. 1–23–. М., 1975–1997–.

СРНГ – Словарь русских народных говоров. Вып. 9, 12. Л., 1972, 1977.

Строев С.М. 1841 – Описание памятников славяно-русской литературы, хранящихся в публичных библиотеках Германии и Франции. М., 1841.

Фаловски А. 1992 – Введение // "Einn Russisch Buch" by Thomas Schroue. Cracow, 1992.

ЭССЯ – Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 15. М., 1988.

Jungmann J. 1836 – Slovník česko-německý. D. 2. Praha, 1836.

Ridley M. 1996 – A dictionarie of the vulgar Russe tongue, attributed to Mark Ridley / Ed. by G. Stone. Köln etc., 1996.

Schroue T. 1992 – "Einn Russisch Buch" by Thomas Schroue: the 16th-century Russian-German dictionary and phrase-book. Pt. 1. Introduction. Photocopies / Ed. by A. Fałowski and W. Witkowski. Cracow, 1992.

Schroue T. 1997 – "Einn Russisch Buch" Thomasa Schrouego: Słownik i rozmówki rosyjsko-niemieckie z XVI wieku. Cz. 2. Transliteracja tekstu. Indeks wyrazów i form rosyjskich / Pod red. A. Fałowskiego. Kraków, 1997.

В.Б. Крысько, А.Н. Шаламова

***Д.О. Добровольский.* Немецко-русский словарь живых идиом.** Около 1000 идиом. М.: Метатекст, 1997. 201 с.

В последние годы разговорный язык все сильнее привлекает внимание исследователей в разных странах. Это находит свое выражение как в создании корпусов разговорной речи, так и в появлении значительного количества монографий, посвященных ее особенностям, а также не в последнюю очередь в издании соответствующих словарей. Идиоматические выражения являются одной из наиболее существенных черт разговорного языка, их употребление может рассматриваться как неотъемлемая характеристика живой, спонтанной речи.

В повседневной речи стандартным явлением представляется высокая клишированность и эмоциональная насыщенность высказывания. Говорящие, иногда сами не замечая этого, постоянно прибегают к разного рода фразеологическим единицам: штампам, клише, формулам речевого этикета, идиомам. Отсюда следует, что каждый человек, изучающий иностранный язык, должен поставить перед собой задачу серьезного овладения разнообразными оборотами речи.

С этой точки зрения появление данного словаря интересно как в практическом, так и в теоретическом плане. Чисто практически данное справочное издание впервые предоставляет пользователю возможность получить информацию о наиболее употребительных в современном немецком языке идиомах (о появившихся ранее немецко-русских фразеологических словарях см. ниже). Тем самым удовлетворяется реально существующая потребность в лингвистической информации, интересной для всех, кто изучает немецкий язык или активно работает с ним.

С теоретической точки зрения данное издание также представляет несомненный интерес, поскольку являет собой новый тип фразеологического словаря. Насколько нам известно, задача отбора "живых" идиом никогда не ставилась ни в практической лексикографии, ни в работах по теории фразеологии (по крайней мере, в работах,

вышедших в свет в СССР и России). Если и издавались краткие фразеологические словари, отбор в основном мотивировался интуицией составителя. Между тем, выделение наиболее употребительных, присутствующих в языковом сознании среднего носителя языка идиом является серьезной теоретической задачей. В вышедших в последние годы психолингвистически ориентированных работах по фразеологии [Schweigert 1986; 1992; Schweigert, Moates 1988; Cronk, Schweigert 1992; Häcki Buhofer, Burger 1992; 1994] показано и обосновано экспериментально, что употребительные идиомы хранятся в памяти и обрабатываются иначе, чем малоупотребительные.

Задача отбора материала для "Немецко-русского словаря живых идиом" (далее – Словарь) осложняется еще одним дополнительным фактором. Не любая идиома, звучащая естественно и уместно в устах носителя языка, пригодна для ее активного использования иностранцем. Следовательно, процедура отбора материала для Словаря разбивается на две относительно самостоятельные задачи: 1) выделение множества идиом, широко известных и употребительных в современном немецком языке и 2) выделение в рамках этого множества некоторого подмножества, включающего идиомы, необходимые для иностранца, активно использующего немецкий язык в своей учебной и практической деятельности.

Одна из основных сложностей при попытках определения границ множества употребительных (или "живых") идиом заключается в том, что понятие употребительности не универсально для всех носителей языка, а зависит, по крайней мере, от временных, локальных, социальных и ситуативных факторов. Специфика временного фактора заключается в том, что у каждого поколения есть свой набор употребительных идиом. Идиомы, активно употребляемые сегодняшними студентами, могут оказаться совершенно неизвестными их родителям, не говоря уже о бубушках и дудушках. И наоборот, фразеологические единицы, характерные для речи представителей старшего поколения, молодые люди часто признают устаревшими или даже совершенно вышедшими из употребления (о временных границах понятия "современная идиоматика" ср. [Баранов, Добровольский 1995]).

Действие локального фактора усматривается в том, что в различных областях Германии и, тем более, в различных немецкоязычных странах наблюдаются существенные различия в степени употребительности тех или иных идиом. Что же касается социального фактора, то вполне очевидно, что употребление идиом, их выбор зависит от социальной принадлежности данного носителя языка. Существенным является при этом общий уровень его образованности и начитанности. Ситуативный фактор проявляется в том, что один и тот же человек по-разному пользуется языком в разных условиях. Ситуативная обусловленность речевого поведения в целом влияет и на выбор фразеологических единиц.

Интересно, что, помимо указанных, существует еще и так называемый личностный фактор, в известной степени определяющий идиоматичность речи каждого носителя языка. Однако учет этого фактора в справочных изданиях вряд ли возможен в принципе. В предисловии к Словарю отмечается: "Индивидуальные характеристики говорящего проявляются в идиоматике достаточно ярко. Практически у каждого человека есть свои излюбленные идиомы, но поскольку индивидуальные параметры речи в принципе не поддаются учету в словаре, отражающем коллективный языковой опыт (исключение составляют конкордансы и словари отдельных авторов), мы не рассматриваем здесь эту проблему" (с. 7).

Далее в предисловии отмечается, что существует еще одна важная проблема, встающая в связи с понятием "живые идиомы" и не нашедшая пока решения в теории фразеологии – это "фактор пола". "Давно замечено, что речь мужчин отличается от речи женщин, но подробное описание и интерпретация этих различий только начинаются. Можно предположить, что в будущем удастся выявить преимущественно "женские" и преимущественно "мужские" идиомы" (с. 8). Насколько нам известно, ранее эта проблема не ставилась ни в одной работе по фразеологии. Следовательно, и в этом смысле Словарь можно рассматривать не только как интересное практически ориентированное издание, но и как определенный вклад в теорию фразеологии.

Вернемся к проблеме отбора идиом для Словаря. Каким же образом решается вопрос определения состава живых идиом современного немецкого языка? Процедуру отбора словника автор начал с анализа современных немецких фразеологических словарей. Из всех проанализированных одноязычных словарей, изданных в Германии, были выписаны идиомы, фиксируемые

большинством лексикографических источников без ограничительных помет типа "уст., диал., северо-нем., южно-нем., австр(ийское), бав(арское)" и т.п. Далее полученные списки сверялись с картотеками и базами данных, содержащих примеры употребления идиом в художественных и публицистических текстах, на основании чего делался вывод о том, какие из отобранных идиом являются наиболее употребительными. Эти модифицированные списки предъявлялись носителям языка, которые вычеркивали идиомы, представляющиеся им малоупотребительными, и вносили в словник новые, еще не зафиксированные в словарях идиомы.

Таким образом в первом приближении была решена задача отбора идиом, активно употребляемых в современном немецком языке. Для того, чтобы выделить в рамках этого множества подмножество идиом, необходимых для иностранца, активно использующего немецкий язык в своей учебной и практической деятельности, автор исключил из полученного в результате описанных выше процедур словника грубо-фамильярную, бранную, а также стилистически возвышенную идиоматику. Основу словника составляют стилистически нейтральные и разговорные идиомы. Отклонения по стилистической шкале "вверх" и "вниз" немногочисленны, соответствующие идиомы включаются в Словарь только в случае их большой употребительности, ср., например, *alter Knacker* (фам.) 'старый хрыч', *die Sau rauslassen* (фам.) 'пойти вразнос, дать себе волю, расслабиться' (букв. "выпустить свинью").

Итак, словник "Немецко-русского словаря живых идиом" представляет собой собрание наиболее употребительных в современном немецком языке идиоматических оборотов, ценность и уникальность которого состоит, среди прочего, в том, что многие из включенных в него идиом ранее не фиксировались в немецко-русских фразеологических словарях; ср. например, *aus dem Anzug kippen* (фам.) 'отпасть; выпасть в осадок' (букв. "выпасть из костюма"), *die Augen auf Null gestellt haben* (фам.) 'сыграть в ящик, откинуть копыта/коньки' (букв. "поставить глаза на ноль"), *die Augen schonen* (ирон.) 'почивать' (букв. "щадить глаза"), *Bock auf etwas haben* (мол. жарг.) 'иметь охоту/настроение (делать что-л.)' (букв. "иметь козла на что-либо"), *tote Hose* (мол. жарг.) 'страшная скука, полный штиль, мертвый сезон (когда абсолютно ничего не происходит; напр. зимой в курортном городе)' (букв. "мертвые штаны").

Сведения, представленные в словарной статье весьма многообразны, четко прослеживается единый принцип подачи материала. Материал располагается в строго алфавитном порядке, алфавитизация осуществляется по первому существительному в составе идиомы. При отсутствии существительных в компонентном составе идиомы поиск производится по первому прилагательному. Далее в качестве опорных компонентов следуют: наречие, числительное, глагол. При наличии нескольких глаголов в составе идиомы ее следует искать на полнозначный глагол, а не на вспомогательный или модальный. Такие принципы размещения материала в Словаре представляются удачными, так как отражают интуитивное представление пользователя о семантически опорном слове в идиоме.

Словарная статья включает следующие зоны:

1. **Идиома-вокабула** с обязательными актантами, требуемыми моделью управления идиом-предикатов.

2. **Стилистическая помета,** относящаяся к данной немецкой идиоме.

3. **Перевод немецкой идиомы на русский язык.** В случаях, когда русский перевод отличается от соответствующей немецкой идиомы по стилистическим характеристикам, за переводом в скобках дается стилистическая помета, относящаяся к русскому переводу.

4. **Пояснения и комментарии,** которые даются, в первую очередь, в тех случаях, когда русский перевод не полностью раскрывает особенности функционирования соответствующей немецкой идиомы. В необходимых случаях комментарий содержит дословный перевод немецкой идиомы. Этот вид пояснений используется в тех случаях, когда русская идиома, предлагаемая в качестве перевода, не совпадает с немецкой по внутренней форме.

5. **Иллюстративные примеры.** Задачи Словаря обусловили выбор авторов и произведений: это преимущественно современные художественные тексты, имитирующие спонтанную разговорную речь. В ряде случаев примеры извлекались из одноязычных фразеологических словарей, использовались также результаты наблюдения автора за разговорной речью носителей немецкого языка (об особенностях примеров см. также ниже).

6. **Перевод иллюстративных примеров на русский язык.** Здесь следует особо отметить

живой, непринужденный характер языка переводов, его соответствие современному узусу. Этим Словарь выгодно отличается от немецко-русских фразеологических словарей, издававшихся ранее, поскольку традиционно переводы иллюстративных примеров страдали буквализмом.

Рассмотрим кратко изданные ранее немецко-русские фразеологические словари и на этом фоне выделим особенности рецензируемого словаря.

Первый немецко-русский фразеологический словарь [НРФС 1] вышел в свет в 1956 году и включал около 12000 фразеологизмов. В задачи словаря входил, по-видимому, максимально полный охват фразеологической системы немецкого языка. Включались устойчивые словосочетания самых разных типов: идиомы (*sich um Kopf und Kragen reden* 'поплатиться головой за свои речи'), глагольные аналитические конструкции (*zum Ausdruck kommen* 'находить свое выражение'), коммуникативные формулы (*viel Spaß*! 'желаю хорошо повеселиться'), пословицы и поговорки: *viele Köche verderben den Brei* 'у семи нянек дитя без глазу'), крылатые выражения (*der brave Mann denkt an sich zuletzt* [F. Schiller. Wilhelm Tell] 'мысль о себе – последняя у храбрых'), сверхсловные термины (*die goldene Regel* (мат.) 'тройное правило (способ нахождения к трем данным четвертого пропорционального)'). В этом можно усмотреть одно из главных отличий рецензируемого словаря от [НРФС 1], поскольку в Словарь включались только идиомы, а фразеологизмы других классов остались за пределами словника.

Вторым существенным отличием является отсутствие в Словаре устаревших и малоупотребительных единиц, в то время как в [НРФС 1] имеется достаточное количество устаревших, никому не известных сегодня единиц, ср.: *j-n durch die Gosse ziehen* 'втаптывать в грязь кого-л.', *sich in der Gosse wälzen* 'сидеть в грязи, находить свое благополучие в грязи'. Заметим, кстати, что предлагаемые в [НРФС 1] переводы часто не соответствуют русскому узусу. Так, невозможно сказать по-русски *находить свое благополучие в грязи*.

В качестве еще одного важного отличия Словаря от [НРФС 1] назовем использовавшийся в этих лексикографических произведениях корпус примеров. Основными источниками примеров в [НРФС 1] являлись тексты сказок (братья Гримм, Гауфф), произведений немецкой классической литературы (Лессинг, Гете, Шиллер, Гейне, Фонтане), художественных произведений начала XX века (Келлерман, Фаллада, Брехт, Томас и Генрих Манн), а также тексты публицистических работ и писем Маркса и Энгельса. Вполне понятно, что в 1956 году существовали серьезные идеологические ограничения на использование многих литературных и публицистических произведений в качестве источников примеров для словарей. Понятно также, что лексикографы того времени имели весьма ограниченные возможности для наблюдений за живой спонтанной речью носителей немецкого языка. На этом фоне особенно очевидна новизна корпуса примеров, положенного в основу рецензируемого словаря. Словарь базируется на разных по характеру источниках, что повышает надежность его данных. Это и одноязычные фразеологические словари, изданные в Германии, и художественная литература последних десятилетий и современная пресса. Особо следует отметить широкое использование примеров из журналов "Stern" и "Spiegel", газет "Die Welt" и "Die Zeit", запрещенных в советское время для цитирования в лексикографических источниках. Для отбора примеров использовались также немецкие переводы произведений иностранной литературы, что соответствует современным лексикографическим теденциям (ср. [Апресян и др. 1997]) и отражает понимание переводных текстов как части соответствующей национальной культуры.

Вышедший в свет в 1975 г. [НРФС 2] в целом основан на тех же принципах, что и [НРФС 1]. Отличия сводятся в основном к существенному расширению словника (14000 фразеологических единиц, вместо 12000), обогащению корпуса за счет привлечения более современных (хотя и столь же идеологически тенденциозных) источников. Добавленные в этом издании примеры из прессы ограничивались газетами ГДР.

Говоря об отличиях рецензируемого Словаря, хотелось бы остановиться не только на "внешних" особенностях (корпус источников, принципы отбора материала), но и на "внутренних", т.е. в первую очередь семантических моментах. Первый из них касается обоснованности разбиения семантической структуры идиомы на отдельные значения. Использовавшиеся в [НРФС 2] (и тем более в [НРФС 1] принципы разбиения на значения не вполне ясны и в ряде случаев представляются необоснованными. Так, *Bauklötze staunen* (в [НРФС 2] также в форме *Bauklötzer staunen*) имеет там

три значения: "1. вытаращить глаза, разинуть рот, онеметь (от изумления); не (по)верить своим глазам (или ушам); 2. смотреть разинув рот (ничего не понимая, в состоянии крайнего удивления); 3. диву даваться". Легко заметить, что все три значения сводимы к идее 'удивления'. В чем состоят конкретные отличия одного значения от другого невозможно понять ни из переводов этой идиомы на русский язык, ни из иллюстративных примеров. В Словаре эта идиома представлена в одном значении и снабжена следующими переводами: "вытаращить глаза, разинуть рот, выкатить шары, вылупить зенки (от крайнего удивления)". Таким образом, свойственные более ранним немецко-русским словарям недостатки в разбиении семантической структуры идиомы на значения в рецензируемом словаре устранены.

Кроме того, Словарь предлагает, на наш взгляд, более удачные переводы. Ср. приведенный выше пример, где переводы на русский язык более адекватно соответствуют стилистической окраске данной немецкой идиомы. Неудачность некоторых переводов в традиционных словарях объяснялась тем, что основное внимание обращалось не на реальное функционирование этих единиц в речи, а на форму идиомы в ее изолированном виде. Иными словами, описывались не собственно семантические и прагматические параметры, а ассоциации, навеянные интерпретацией внутренней формы. Так, весьма распространенная в современном немецком языке идиома (*aussehen*) *wie bestellt und nicht abgeholt* (букв. "выглядеть, как будто бы тебя заказали, но не забрали") описывается в [НРФС 2] следующим образом: "1. (в ожидании кого-л. или чего-л.) сидеть (или стоять) со скучающим видом; не знать, куда девать себя; 2. сидеть (или торчать) без дела, топтаться на месте". В Словаре предлагается следующее описание: "выглядеть разочарованно/подавленно/глуповато (так, как будто кому-л. назначили встречу и не пришли)". Идея ожидания не присутствует в актуальном значении, она – элемент внутренней формы, что удачно показано в Словаре.

Некоторые переводы приведены в Словаре в соответствие с современным узусом. В [НРФС 2] идиома *jemand hat einen Dachschaden* переводилась как "у кого-л. чердак не в порядке". В Словаре предлагается перевод: "у кого-л. с головой не все в порядке, крыша поехала (мол. жарг.)"

Поскольку с 1975 года немецко-русских фразеологических словарей практически не издавалось, появление рецензируемого словаря особенно значимо. Мы говорим "практически", потому что в 1995 году в издательстве "Аквариум" вышла перепечатка [НРФС 1] 1956 года с некоторыми купюрами (кстати, совершенно немотивированными). Таким образом, словарь [НРФС 1] существенно сократился, правда на титульном листе объявлено, что он включает не 12000 единиц (как в издании 1956 г.), а 15000 единиц. Ссылки на издание 1956 г. отсутствуют вообще. Нигде не указано, что автор словаря скончался много лет тому назад. Из-за купюр словарь содержит большое количество "отсылок в никуда". Таким образом, это издание может быть упомянуто здесь лишь в виде лексикографического курьеза и никоим образом не покрывает реально существующий спрос на современные фразеологические словари немецкого языка (и это несмотря на то, что перепечатка [НРФС 1] вышла тиражом 30000 экз.).

Заключая эту краткую рецензию, заметим, что "Немецко-русский словарь живых идиом" представляет собой издание, способное грамотно удовлетворить спрос на подобные словари. Более того, аналогичного словаря не было ни в отечественной, ни, насколько нам известно, в зарубежной лексикографии. Сильные стороны рецензируемого словаря состоят в его ориентации на современный узус, в использовании современного, неидеологизированного корпуса примеров, в широком привлечении разговорного языка, в подборе переводов, ориентированных на функциональную эквивалентность.

Следует, однако, заметить, что Словарь не лишен недостатков. Так, некоторые идиомы не имеют при себе иллюстративных контекстов употребления. Впрочем, справедливости ради, отметим, что идиомы без примеров встречаются в Словаре существенно реже, чем в его предшественниках [НРФС 1] и [НРФС 2]. Некоторые идиомы, включенные в Словарь, по-видимому, не являются столь широко известными и высоко употребительными, чтобы соответствовать тем жестким требованиям, которые автор сам предъявляет к отбору материала, ср., например, *einen Metzgersgang machen* 'впустую потратить время'. С другой стороны, можно назвать несколько идиом, не попавших в Словарь и представляющихся тем не менее весьма употребительными, ср., например, *alt aussehen* 'иметь бледный вид (потерпеть неудачу в каком-л. деле)', *alt und*

jung 'стар и млад', *so sicher wie das Amen in der Kirche* ≅ 'как пить дать', *am Boden zerstört sein* 'быть совершенно уничтоженным (быть в отчаянии)', *um den heißen Brei herumreden* 'ходить вокруг да около (не говорить главного)'. К сожалению, Словарь не свободен от опечаток,

Отмеченные неточности легко могут быть устранены в следующем издании. Остается надеяться, что второе, исправленное и дополненное издание Словаря последует как можно скорее, поскольку мы имеем дело с полезным справочным изданием, которое послужит надежным источником информации о современной немецкой идиоматике для многих студентов-германистов, переводчиков и преподавателей немецкого языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Апресян Ю.Д. и др. 1997 – Новый объяснительный словарь синонимов русского языка. Первый выпуск. М., 1997.

Баранов А.Н., Добровольский Д.О. 1995 – Современная русская идиоматика (проект словаря) // Русистика сегодня. 1995. № 4.

НРФС 1 – Бинович Л.Э. Немецко-русский фразеологический словарь. М., 1956.

НРФС 2 – Бинович Л.Э., Гришин Н.Н. Немецко-русский фразеологический словарь. Изд. 2-е. М., 1975.

Cronk B.C., Schweigert W.A. 1992 – The comprehension of idioms: the effects of familiarity, literalness and usage // Applied psycholinguistics. V. 13. 1992.

Häcki Buhofer A., Burger H. 1992 – Gehören Redewendungen zum heutigen Deutsch? // Fremdsprachen lehren und lernen. Bd. 21. Tübingen, 1992.

Häcki Buhofer A., Burger H. 1994 – Phraseologismen im Urteil von Sprecherinnen und Sprechern // EUROPHRAS 92: Tendenzen der Phraseologieforschung. Bochum, 1994.

Schweigert W.A. 1986 – The comprehension of familiar and less familiar idioms // Journal of psycholingistic research. V. 15. № 1. 1986.

Schweigert W.A. 1992 – The muddy waters of idiom comprehension begin to settle // Proceedings of IDIOMS. Tilburg, 1992.

Schweigert W.A., Moates D.R. 1988 – Familiar idiom comprehension // Journal of psycholinguistic research. V. 17. № 4, 1988.

М.М. Маковский

***M. Haspelmath.* Indefinite Pronouns.** Oxford studies in typology and linguistic theory. Clarendon Press. Oxford. 1997. 364 p.

Неопределенные местоимения уже давно привлекают внимание российских и зарубежных лингвистов (см., например, наиболее известную работу [Падучева 1985]; а также зарубежные [Hawkins 1978]). Однако книга М. Хаспельмата "Indefinite pronouns" является, безусловно, на сегодняшний день наиболее полным и достоверным исследованием в данной области. Эта работа беспрецендентна как по охвату материала, так и по разнообразию освещения аспектов исследуемого явления.

Основная тема книги – это описание и возможное объяснение формальных и семантических свойств неопределенных местоимений в разных языках, причем особое внимание уделяется именно связям между формальными свойствами (в основном, внутреннему устройству) серий неопределенных местоимений и их функциональными (понимаемыми как синтаксические и семантические) свойствами.

В Главе 1 автор ставит задачу и кратко излагает содержание остальных глав. Описывая цели и методы используемого типологического подхода, автор обсуждает и другие подходы, показывая преимущества выбранного им подхода (Глава 2). Здесь же автор дает формальное и функциональное определение того, что для него означает понятие "серия неопределенных местоимений", разграничивая собственно неопределенные местоимения и близкие к ним по значениям местоимения и выражения. Интересно заметить, что М. Хаспельмат включает отрицательные местоимения в круг рассматриваемого материала. К сожалению, автор не указывает, что в определенных контекстах некоторые неопределенные местоимения могут выступать как синонимы, например, универсальных квантификаторов (так, это верно для *какой-либо*), исключаемых из рассмотрения.

Описывая постулируемый им формальный критерий, автор пишет о других возможных критериях местоименности в разных языках, и в заключение подчеркивает, что включает в понятие местоимение не только собственно местоимения, но и местоименные прилагательные, и наречия. Хаспельмат намечает методологию своего типологического подхода. Он пишет, что типологическое исследование обычно состоит из 4 ступеней: сначала, явление иссле-

дуется в разных языках с целью создания *универсального межъязыкового определения*; затем выявляются средства выражения рассматриваемого языкового явления в разных языках; следующая ступень *типологического исследования* посвящена изучению корреляций, выделенных как импликационные универсалии; и наконец, работа завершается поиском объяснений выделенных универсалий. Естественно, здесь же автором вводится и термин "импликационные универсалии". Необходимо отметить, что книга построена вполне логично и последовательно, в соответствии с этим планом из четырех ступеней.

В духе указанной методологии в книге делается попытка дать описание неопределенных местоимений, независимое от свойств, связанных с одним определенным языком (хотя самим автором признается в "Предисловии"), что все же в книге есть некоторая, так сказать, "европоцентричность" материала, которая объясняется доступностью данных по европейским языкам. Особенно это заметно в главе, посвященной диахроническому анализу местоимений. Поражает обилие фактического материала, собранного автором: детальное описание данных из 40 языков подтверждается более поверхностными данными выборки из 100 языков; кроме того, автором приводятся данные из пиджинов (китайско-русский) и искусственно созданных языков (эсперанто). К сожалению, автор не смог избежать достаточно распространенной среди исследователей семантики ошибки и, видимо, не всегда сверял правильность своих примеров с носителями языка, полагаясь только на свои собственные знания (в связи с этим следует отметить странные русские примеры, приводимые в книге). Это тем более обидно, т.к. у автора были возможности проконсультироваться с носителями языка: в начале книги он выражает благодарность некоторым русским лингвистам. Кроме того, известно, что очень часто интонация играет важную роль в организации смысла высказывания, однако, это учитывается в книге нерегулярно. Так, интонация важна для различения разных видов вопросов [см. Балли 1955], что играет роль для интерпретации контекста, на который М. Хаспельмат опирается при выделении своих функций (ср., однако, стр. 47).

В Главе 3 очерчивается пространство формального и функционального варьирования серий неопределенных местоимений. С формальной точки зрения неопределенные местоимения состоят обычно из двух элементов: корня, указывающего на онтологическую категорию, и формального показателя (называемого автором "indefiniteness marker"). Представляется очень интересным и полезным введение нового термина "extrafix", объединяющего постфиксы (суффиксы, следующие за словоизменительными) и антефиксы (префиксы, предшествующие словоизменительным префиксам).

Автор выделяет девять ядерных функций (т.е. некоторых общих значений и/или контекстов) неопределенных местоимений, важных для межъязыкового сравнения. Очевидно, как замечает М. Хаспельмат, не все эти функции отмечены во всех языках, но каждая из приводимых бинарных оппозиций представлена хотя бы в нескольких языках. Это постоянно иллюстрируется несколькими примерами из разных языков. К сожалению, не всегда приводятся статистические данные о распространенности того или иного явления). Основные функции таковы: "specific known" (конкретное, известное говорящему), "specific unknown" (конкретное, неизвестное говорящему), "irrealis non-specific" (несуществующее неконкретное), "question" (вопрос), "conditional" (кондиционал), "indirect negation" (непрямое отрицание), "direct negation" (прямое отрицание), "comparative" (сравнение), "free choice" (местоимения свободного выбора). Очевидно, что основание выделения всех функций – одно и то же, но в результате выделенные функции абсолютно различны по грамматическим средствам выражения. Возможно, конечно, что некоторые функции просто недостаточно изучены.

Не все ограничения на "free-choice indefinites" (неопределенные местоимения свободного выбора) представляются оправданными. Пример (107) со стр. 49 *You must marry anybody,* помеченный как неприемлемый, представляется вполне приемлемым в ситуации, когда единственной помехой для получения наследства является матримониальный статус возможного наследника (ситуация, используемая, например, в некоторых американских комедийных фильмах).

Кроме вышеупомянутых ограничений, более логично и разумно было бы описывать материал в соответствии с создаваемой импликационной картой функций неопределенных местоимений.

В Главе 4 автор представляет типологические обобщения данных по 40 языкам. Материал показывает, что наиболее полезным описание неопределенных местоимений с помощью импликационной карты представляется в тех языках, где система неопределенных местоимений не является

разветвленной (т.е. там, где широко используются другие техники, описываемые в Главе 3), т.к. импликационная карта не описывает тонкие различия между разными сериями.

Дальнейшее деление неопределенных местоимений показывает, что двумерное пространство, в рамках которого построена импликационная карта, недостаточно для представления смысла. Это не раз уже указывалось в литературе (см., например, [Баранов 1990]).

Глава 5 посвящена различным семантическим подходам к описанию типологических данных вообще, а также описанию неопределенных местоимений в отдельных языках. При анализе литературы автор не только критически рассматривает работы своих предшественников, но и сравнивает работы разных авторов, подчеркивая их преимущества и недостатки. В связи с этим вполне обоснованным представляется авторский выбор теории для описания смысла импликационной карты неопределенных местоимений и даже более тонких различий рассматриваемых единиц.

В Главе 6 дается попытка диахронического анализа неопределенных местоимений, причем сам автор признает, что находится только лишь в начале пути и исследование носит предварительный характер. Основным источником данных по диахронии является этимологическая информация в связи с недоступностью других источников. Как замечает автор, почти не было работ, посвященных диахроническому анализу неопределенных местоимений. Отметим, что в этом отношении российская лингвистика оказалась на высоте: еще в конце 60-х годов была издана работа К.Е. Майтинской [Майтинская 1969], в которой этот аспект рассматривался достаточно подробно.

Очень интересно и полезно то, что автор описывает возможную исходную конструкцию и тут же приводит сведения о ее возможной семантике. К сожалению, не всегда эксплицитно описаны основания построения исходной конструкции именно в приводимом виде [например, почему в конструкцию вводится именно глагол *to take* (и какова, в таком случае, его семантика), а не какой-либо другой)].

Если в предыдущей главе М. Хаспельмат в основном рассматривал вопросы, посвященные источникам неопределенных местоимений, попадающим под действие процесса грамматикализации, то Глава 7 посвящена тем местоимениям, которые не попали под действие грамматикализации и имеют другие источники происхождения. Эта глава показывает, что, к сожалению, не все вопросы, связанные с источниками неопределенных местоимений можно прояснить на доступном в настоящее время материале, и указывает, на чем необходимо сосредоточить свои усилия при описании систем неопределенных местоимений неисследованных или малоисследованных языков. Кроме того, многое еще предстоит сделать для включения достаточно разрозненных фактов в целостную систему описания.

В конце главы приводятся основные оценочные коннотации и их возможные семантические основания для неопределенных местоимений в разных языках.

Глава 8 посвящена одной из выделенных ранее автором функций: прямому отрицанию. Приводится более детальное типологическое описание так называемых отрицательных местоимений. Автор показывает, что межъязыковое исследование этой группы местоимений не может производиться без учета их положения среди других неопределенных местоимений. Также автором приводятся определения и примеры некоторых импликационных универсалий и фреквенталий для неопределенных местоимений.

Глава 9 суммирует введенные в рассмотрение типологические обобщения и кратко обрисовывает также более широкие типологические и ареальные связи и черты, характерные для неопределенных местоимений. Здесь же автор выдвигает гипотезу о типологической связи основных типов построения неопределенных местоимений с порядком слов. Выясняется, однако, что существует не типологическая, а ареальная корреляция между этими языковыми явлениями. Кроме того, в книге имеются два приложения: Приложение А – это данные по сериям неопределенных местоимений в 40 языках; Приложение В посвящено аналогичным данным выборки из 100 языков. К сожалению, не все ссылки выверены автором (например, ссылки в Главе 7 на исходные конструкции даются на пункт 6.3, хотя в действительности эти конструкции приведены в 6.6.2).

Рецензируемая книга одновременно может быть интересна и полезна тем лингвистам, которые интересуются типологией и методикой типологических исследований, т.к. в работе очень четко и подробно описывается метод подбора материала (см. Главу 2), достоинства и недостатки выбранного автором подхода к описанию языков. Книга может помочь и в практической

работе составителям грамматик малоизученных или неизученных языков. Кроме того несомненный интерес представит работа и для исследователей, занимающихся семантикой различных языков, т.к. в работе дается детальный обзор некоторых современных семантических теорий, а также показывается реальная возможность их применения к объяснению типологических данных и явлений конкретных языков. Важно отметить, что работа написана в рамках бурно развивающейся в настоящее время области типологической семантики, а поэтому ориентирована не только, и не столько на описание существующего разнообразия естественных языков, сколько на создание некоторой модели "возможного" естественного языка. Именно поэтому описываются не только возможные конструкции, но и ограничения на них, причем описание базируется на универсальном когнитивном представлении о функционировании тех или иных единиц. Рецензируемая книга будет, безусловно, полезна и для создателей искусственных языков, а также, возможно, и разработчикам систем машинного перевода, потому что, как уже было указано, монография ориентирована на описание возможностей и ограничений систем неопределенных местоимений любого возможного естественного языка.

Книга написана легко, интересно и живо. Практически все наиболее широко используемые и важные термины вводятся с помощью примеров и определений. Очевидно, книга М. Хаспельмата займет почетное место среди фундаментальных работ по теории языка.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Балли Ш. 1955 – Общая лингвистика и вопросы французского языка. М., 1955.

Баранов А.Н. 1990 – Что нас убеждает? (Речевое воздействие и общественное сознание). М., 1990.

Майтинская К.Е. 1969 – Местоимения в языках разных систем. М., 1969.

Падучева Е.В. 1985 – Высказывание и его соотнесенность с действительностью. М., 1985.

Hawkins J.A. 1978 – Definiteness and indefiniteness. London, 1978.

А.В. Морозова

№ 2 1998

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

29–30 мая 1997 г. факультет иностранных языков Томского государственного педагогического университета провел очередные, 20-е чтения, посвященные памяти А.П. Дульзона и приуроченные к 60-летию факультета. В работе конференции приняли участие около сотни ученых, в основном из городов Сибири (Томска, Новосибирска, Кемерово, Бийска, Новокузнецка, Красноярска, Ханты-Мансийска, Салехарда, Колпашево, Северска), а также практические работники национального образования и культуры Томской области и Ханты-Мансийского автономного округа. Международный характер конференции придало участие в ней исследователей Германии и Израиля. Проведено пленарное заседание и 4 секционных заседания по трем тематическим секциям: "Этносы Сибири: язык и культура", "Романо-германские лингвистические исследования" и "Методика преподавания иностранных языков". Все названные темы были органической частью многосторонней научно-исследовательской и преподавательской деятельности доктора филологических наук, профессора, Лауреата Государственной премии СССР за 1971 год Андрея Петровича Дульзона, который активно сотрудничал и с журналом "Вопросы языкознания", опубликовав в нем ряд своих работ.

На пленарном заседании конференции заслушано пять докладов. Конференцию открыл вступительным докладом ректор ТПГУ В.И. Слободской (содокладчик – председатель Оргкомитета О.А. Осипова). Он подчеркнул, что это – традиционная конференция, проводящаяся на факультате иностранных языков с 1973 г. – года кончины известного ученого-лингвиста, археолога и этнографа А.П. Дульзона, с деятельностью которого связана значительная часть жизни факультета. А.П. Дульзон создал здесь те основы лингвистической науки, которые продолжают развиваться в различных направлениях и в настоящее время. Достаточно сказать, что А.П. Дульзон подготовил 21 кандидата наук по германистике и 24 – по языкам народов Сибири. Из его учеников 7 стали докторами наук (3 – по германистике, 4 – по языкам народов Сибири). Под руководством А.П. Дульзона и лично им самим собраны богатейшие и зачастую поистине уникальные материалы по языкам аборигенных сибирских народов, и эти материалы постоянно пополняются его учениками и преемниками. В архиве Лаборатории языков народов Сибири (ЛЯНС) к настоящему времени насчитывается более 150 томов полевых записей, которые постоянно пополняются материалами экспедиций в места проживания хантов, селькупов, кетов, каталогизированных сотрудниками ЛЯНС Т.И. Поротовой и Н.П. Максимовой; каталоги готовятся к публикации.

В.И. Слободской отметил, что традиции проведения Дульзоновских чтений как комплексной междисциплинарной конференции успешно продолжаются еще и тем, что на настоящие чтения собрались специалисты в области лингвистики, этнографии, археологии, культурологии; их тесное взаимодействие обеспечивает дальнейший научный прогресс и решение актуальных вопросов происхождения аборигенов Сибири и их языков – той проблемы, которую в свое время обосновал и значительно продвинул в разработке различных аспектов именно А.П. Дульзон.

Выступившая О.А. Осипова (Томск) в докладе "Об истории проведения Дульзоновских чтений" проследила развитие тематики и результатов исследований, представленных на предыдущих 19-ти чтениях, преимущественно в области языков и этнографии аборигенов Сибири. Эти конфе-

ренции отразили широчайший спектр исследований как в чисто научной, так и прикладной сферах: сбор языковых материалов малочисленных народов Сибири; полная документация соответствующих языков; их всесторонее исследование – разработка теоретических положений в области фонетики, грамматики, лексикологии, лексикографии, топонимики; подготовка на надежной теоретической основе учебно-методической литературы для учебных заведений разного уровня – от начальной школы до вуза (буквари, учебные словари, дидактические материалы и пособия). Часть разработанной в последние годы учебно-методической литературы по селькупскому и хантийскому языкам уже опубликована и введена в практику преподавания этих языков детям и взрослым. Докладчик отметила, что предыдущие чтения были разного уровня – и местные, и региональные, и зональные, и республиканские, и всесоюзные, и международные, – но всегда они становились значительным событием в научной жизни.

Т.В. Галкина (Томск) в докладе "Закрытые страницы из истории факультета иностранных языков" сообщила об интереснейших фактах, связанных с массированной кампанией против советской научной интеллигенции в конце 30-х по начало 50-х гг. В Томском пед. ин-те после ряда унизительных проверок в разряд "неблагонадежных лиц, преклоняющихся перед иностранщиной", попали такие высококвалифицированные специалисты как зав. кафедрой немецкого языка А.П. Дульзон и зав. кафедрой английского языка П.Ф. Ливин. Довлеющий над наукой в то время волевой административный подход пагубно сказался на развитии отечественной науки в целом, и, в частности, существенно затормозил комплексные лингвистические, археологические и этнографические исследования А.П. Дульзона и его сотрудников.

А.А. Малолетко (Томск) в докладе "Миграции древнего населения и проблема языковых семей" изложил свою версию расселения человека разумного от его прародины (Околосредиземноморье и долина Нила) по трем направлениям: 1) аустрическому (южное побережье Азии, далее двумя ветвями – на юг в Австралию и Океанию, на север по восточному побережью Азии и через Камчатку и Алеутские острова в Америку), 2) бореальному (северная Европа и далее через Урал в Сибирь до Байкала), 3) африканскому. По мнению докладчика, на прародине формировалась языковая общность (не праязык!), а на миграционных путях – свои языковые мегасемьи (аустрическая, бореальная и африканская). Доклад вызвал много вопросов и оживленную дискуссию.

Пленарный доклад Н.Г. Кузнецовой (Томск) и Ю.А. Морева (Томск) "Становление самоедологии как науки" зачитал Ю.А. Морев. Докладчик проследил развитие самоедологии как одного из разделов уралистики, начиная со времен М.А. Кастрена и до наших дней. Рассмотрены результаты исследований по разным периодам, а также применяемые при этом методы лингвистического анализа. На современном этапе развитие самоедологии как комплексной дисциплины происходит на базе глубоких исследований по всем аспектам строя самодийских языков – фонетики и фонологии, морфологии и синтаксиса. Перспективны исследования по лексикологии, а также по национальной культуре и духовным ценностям самодийских народов. Наряду с развитием "вглубь" самоедология активно развивается "вширь". Она испытывает ощутимое воздействие общей типологии и одновременно обогащает типологию уникальным, ранее неизвестным материалом. Самоедологические исследования ведутся как в синхронном, так и в диахронном планах. В докладе отмечается вклад различных центров и отдельных ученых в становление и развитие самоедологии как комплексной научной дисциплины.

Основную часть докладов на секционных заседаниях составили доклады по селькупской и хантыйской тематике. Но, вероятно, читателям журнала будут интересны и доклады по русской диалектной лексикографии и различным аспектам кетского и тюркского языков, чему А.П. Дульзон также уделял большое внимание, тем более, что впоследствии оказалось возможным проводить в этой сфере различные параллели.

Во второй раз после А.П. Дульзона (1971 г.) в текущем году (об этом стало известно буквально во время конференции) работа томских филологов отмечена Государственной премией РФ – высокую награду заслужила группа сотрудников Томского гос. ун-та под руководством О.И. Блиновой. В докладе руководителя группы О.И. Блиновой (Томск) "Лексикографические исследования духовной и материальной культуры этноса", который предварил ряд докладов по этой тематике, на материале диалектных словарей русского населения Среднего Приобья рассмотрены итоги и перспективы лексикографического отражения народной культуры сибирского

крестьянства, определены источниковедческие возможности областных словарей разных жанров для изучения различных аспектов народной культуры и намечены основные направления лингвокультуроведческих штудий.

В дальнейших докладах детализировались отдельные положения разрабатываемой темы группы О.И. Блиновой. Так, Е.А. Юрина (Томск), в докладе "Областной словарь как источник изучения культуры народа" рассматривала проблему лингвокультуроведческого источниковедения, взяв в качестве источника изучения народной материальной и духовной культуры "Словарь образных слов и выражений народного говора". Проанализированы информативные возможности как отдельной словарной статьи (заглавное слово, его толкование, пометы, иллюстративный материал), так и всех словарных материалов в целом. Делается вывод, что анализируемый словарь является весьма информативным источником изучения культуры народа, поскольку описывает образные средства диалектного языка, отражающие ассоциативность мышления, передающие особенности крестьянского мировосприятия; словарь включает множество контекстов, передающих живую разговорную речь жителей сел и деревень Среднего Приобья, связанную практически со всеми сферами их жизнедеятельности.

Г.В. Калиткина (Томск) в докладе "Отражение языковой картины времени в вершининском говоре" сообщила о феноменах времени, которые важны даже для обыденного сознания, к тому же имеют выход и в лексикон языка. Рассмотрен лексический маркер времени "сейчас" и его отношение к моменту речи, организующие континуум "психического настоящего" в обыденном сознании. Проанализировано квантитативное наполнение "настоящего" в вершининском говоре.

В докладе З.И. Резановой (Томск) "Ценностный фрагмент языковой картины мира (словообразовательная система)" представлена интерпретация системы этических, эстетических, социальных норм народной культуры средствами оценочной лексики в сибирских русских народных говорах. Анализируется система оценки человека средствами номинативного и экспрессивного словообразования.

Т.Б. Банкова (Томск) в докладе "Обрядовое значение слова: языковой и этнический феномен" отметила, что ее работа – один из этапов осмысления проблемы общего характера: как, в какой мере функционирование лексической единицы зависит от "объективных" специфических свойств народного мировосприятия; какой культурологический компонент значения слова можно вычленить на основе его употребления в различных коммуникативных ситуациях. Концептуальная модель мира складывается из классов понятий; к такому роду понятий-концептов докладчик относит и обряд как проявление представления об идеальной модели мира. Комплекс представлений, положенный в основу обряда, как правило, устойчив, поэтому реальна возможность построения общей словесной обрядовой картины народного мировоззрения. Для описания языка обряда автором выбрана форма словаря. За исходную заголовочную единицу такого словаря берется слово-символ, заключающее в себе традиционное обрядовое значение, данные ритуально-магической практики. Объектом толкования являются реалии, имеющие магический, сакральный смысл, и акцент ставится на функции реалий, обозначаемых словом. Таким образом, слова-символы являются показателями, манифестантами структуры обрядового комплекса. Тем самым обряд, взятый во всей своей совокупности слов-символов-знаков, заключает в себе представление народа о неписаных нравственных законах жизни.

Следует отметить, что разработки лексикографической группы О.И. Блиновой (и ранее В.В. Палагиной) вполне приложимы также и для лексикографической работы в сфере диалектографии самодийских и обско-угорских языков (преимущественно селькупского и хантыйского), что выдвигается в качестве актуальнейшего направления в деятельности Лаборатории языков народов Сибири на ближайшее время.

Ряд докладов был посвящен строю кетского языка. Так, Р. Деннинг (Германия, Гамбург) в докладе "К структуре кетского имени" обосновал свое предположение о том, что имя строится по одним принципам с глаголом из тех же строевых элементов (морфем). Отсюда вытекает возможность создания единой концепции описания морфологии кетского языка; в этимологических исследованиях появляется критерий для определения языковой принадлежности морфемы или слова в целом; в фонетических исследованиях проясняются определенные фонетические процессы и их фонологическая трактовка.

С.С. Буторин (Новосибирск) в докладе "О диатезах и пассивном залоге в кетском языке" констатировал наличие в кет-

ском языке диатезы, названной агентивным имперсоналом. Это сделано в результате анализа изменения согласовательного механизма производных синтаксических конструкций с вычеркнутым агенсом, которые ранее трактовались исследователями как пассивные или результативные конструкции. Отмечена основная функция агентивного имперсонала – формирование прагматического пика высказывания.

В совместном докладе Н.М. Гришиной и С.С. Буторина (Новосибирск; доклад зачитан Н.М. Гришиной) "Морфолого-синтаксическая классификация финитных глаголов словоформ в кетском языке" предложена классификация, построенная с учетом механизма согласования глагольной словоформы с ближайшими актантами, т.е. актантами, маркированными в составе словоформы лично-классными показателями. По количеству заполненных согласовательных позиций словоформы классифицируются на одно-, двух- и трехперсональные. Применение дополнительного признака, отражающего актантно-ролевую структуру лексемы, дает соответствующую подклассификацию этих глаголов. Третий принцип классификации – синтаксическая рецессивность/нерецессивность.

В докладе В.М. Теляковой (Новокузнецк) "Сложные предложения со скрепами *-ганы* и *-ганын* в шорском языке" сопоставлена семантика сложных предложений с названными скрепами и выявлено их сходство, позволяющее делить эти предложения на три группы: 1) группу предложений с включенным глаголом восприятия, 2) группу предложений с эллипсисом глагола восприятия и 3) группу предложений, не выражающих значение восприятия действительности. В результате подробного анализа этих трех групп предложений констатируется, что обе скрепы употребляются в конструкциях изъяснения и следствия (хотя *-ганын* реже) и что конечный формант *-ы* представляет собой модификацию форманта *-ын*.

Как уже говорилось выше, большая часть докладов была посвящена селькупской и хантыйской тематике, причем первая в основном была лингвистической, вторая – преимущественно этнографической, но с элементами лингвистического анализа.

На разных секционных заседаниях В.В. Быконя (Томск) выступила с двумя докладами: "Выражение картины мира селькупов в системе числительных первого десятка" и «*Qom/qup* "человек" в системе пространственно-временных представлений селькупов». В первом докладе прослежен возможный путь формирования числовых наименований первого десятка. В них отражена полная картина мира, которая показывает, что осознание человеком своего места в природе через самого себя базировалось на противопоставлениях: "земля–человек", "животное–человек", "рождение–смерть", "мир по горизонтали–мир по вертикали", "уход в нижний мир–уход в верхний мир". Во втором докладе анализируются самоназвания представителей этноса *söl'qup* и *süssekum*. В них отражены две картины мира: в одном случае преобладает чувство вертикального пространства (корень *so-* → → *sö-*), в другом – чувство горизонтального пространства (корень *su-* → *sü-*). *S*-овый элемент передает идею рождения, роста; корни *sö* ~ *sü* представлены в номене *sö, sü* "земля, способная рождать растительность". Двойственная природа понятия *qom/qup* "человек" проявляется во взаимосвязи двух временных срезов – вечного и мирского, т.е. непроходящего времени и времени, движущегося по спирали.

В докладе А.А. Ким (Томск) "Селькупская культовая лексика и картина мира" предпринята попытка дать реконструкцию культовой сферы жизни селькупов, исходя из анализа соответствующей селькупской лексики. Определены понятийные сферы, группирующие селькупскую культовую лексику: субъекты культа (шаманы и подобные им люди); объекты культа (сверхъестественные существа); предметы культа (атрибуты шаманов, их одежда, язык); элементы культа (души – партиципации жертвы). Каждая из сфер представляется расчлененной по данным лексики: выделяется по нескольку основ для обозначения понятий (например, для понятия "души" – семь основ).

Н.В. Деннинг (Германия, Гамбург) в докладе "О языке селкупского фольклора" проанализировала языковые особенности трех жанров фольклора селькупов – волшебной сказки, сказки о животных, бытовых текстов и рассказов. Рассматриваются также древние сказочные мотивы и образы селькупской сказки.

В докладе Ю.А. Морева (Томск) «О "двуликих" фонемах в селькупском языке» было отмечено, что современное состояние консонантизма в селькупских диалектах отражает различные этапы звуковых изменений; часть из них может интерпретироваться как фонетические, другая – как изменения фонологические,

причем те и другие могут быть различной хронологической глубины. В современном состоянии консонантной системы одного и того же диалекта селькупского языка наблюдаются отдельные переходные единицы, представляющие собой сливающиеся фонемы. Предлагается трактовать их (например, /s/ и /h/ в группе южносельпкупских говоров) на синхронном уровне как одну "двуликую" фонему /s/h/ с особой репрезентацией. Определенные изменения в консонантной системе того или иного селькупского диалекта приводят к смешению ряда грамматических значений. В проанализированных консонантных изменениях выявляются два основных типа фонологизации: щепление и слияние.

С.В. Глушков (Томск) в докладе "К проблеме дифференциальных признаков шумных смычных согласных селькупского языка" рассмотрел мнения различных исследователей о наличии определенной связи между такими кардинальными характеристиками шумных смычных согласных, как длительность, напряженность, глухость. Докладчиком обосновывается предположение, высказанное ранее Ю.А. Моревым в ряде его работ, о наличии совокупного дифференциального признака в данной консонантной системе.

В совместном докладе И.А. Ильяшенко и Н.П. Максимовой (Томск; доклад зачитан И.А. Ильяшенко) "К вопросу о происхождении личных местоимений в селькупском языке" отмечено, что в селькупском, как и в других самодийских и финно-угорских языках, существует трехчленная система личных местоимений, которые характеризуются наличием категории лица, отнесенного к акту речи, преимущественным употреблением в отношении к людям. Им свойственно изменение по числам и падежам. Специфические особенности личных местоимений первых двух лиц и местоимений 3-го л. проявляются в различии способов образования числовых и падежных форм. Эти особенности находят свое объяснение как в плане семантики, так и в происхождении этих местоимений: личные местоимения 3-го лица более поздно отделились от указательных местоимений.

Также совместный доклад Н.Г. Кузнецовой и Л.М. Болсуновской (Томск; доклад зачитан Л.М. Болсуновской) "Фразовая структура процесса и ее передача средствами селькупского языка" был Л.М. Болсуновской иллюстрирован различными материалами предшественников и собственными данными по тымскому, обскому, кетскому и нарымскому диалектам. Рассмотрены аналитические конструкции со значением начинательности, со значением развития (течения, продолжения) процесса и со значением законченности действия. Выявлен инвентарь морфологических показателей, показана структура аналитических конструкций, распределение фазовых глаголов по диалектам, проанализирована сочетаемость фазовых глаголов с инфинитивными формами от основ разного вида.

"Омонимы и омоформы в сфере производной глагольной лексики селькупского языка" были предметом рассмотрения в докладе Е.В. Зыряновой (Томск). Она отметила, каким образом омоформия по В.В. Виноградову соотносится с классификационными рубриками омонимов А.И. Смирницкого. В сфере производной глагольной лексики селькупского языка омонимия (омоформия) – явление достаточно распространенное. Среди ее источников выделяются: а) конверсия, б) фонетические процессы. Несмотря на наличие в прошлом состоянии селькупского языка омонимической конверсии, число омоформ среди парадигматических форм селькупских имен и глаголов в настоящее время ограничено.

С.Ю. Колесникова (Томск) в докладе "Названия календарных сезонов в селькупском языке" показала, что фиксируемая в селькупском языке классификация природно-климатических сезонов совпадает с европейским членением года на четыре сезона. Большинство из проанализированных селькупских лексических единиц, привлеченных для обозначения этих сезонов, наряду со значениями "зима", "весна", "лето", "осень" обладают и иным, более конкретным значением. Источником рассмотренных лексем являются уральский, самодийский, селькупский лексические пласты. Предполагается, что у селькупов до прихода русских было три сезона, условно соответствовавших европейским "лету", "осени", "зиме", равно как и слова для обозначения этих сезонов. Сформированного понятия, аналогичного понятию "весна", как и слова для его обозначения, не было. Процесс абстрагирования лексических единиц, которые изначально обозначали конкретные явления окружающей среды и которые впоследствии обрели более абстратное значение, явился результатом развития общества, в том числе и под влиянием пришлого русского населения. Сбор лингвистического материала осуществлялся на основе европейской календарной системы, поэтому восстановление особенностей исконного селькупского понимания времени затруднено и осуществляется вынужденно в тесной

связи с европейским пониманием времени.

Н.А. Тучкова (Томск) в докладе "Представления о камне у селькупов" рассмотрела семантические и этимологические аспекты селькупского слова и понятия "камень" на фоне данных других самодийских языков и общесамодийских реконструкций. Она отметила, что в мировоззрении самодийских народов камень воспринимается не как часть земной возвышенности; камень – это нечто, положенное на нее сверху для придания устойчивости. Камни не осмысляются как земное порождение, они именно "взяты" и "положены" на землю. У северных самодийцев были записаны соответствующие сюжеты: водворение большого камня – Уральских гор – у ненцев; двух хребтов на севере и юге – у нганасан. Камень у самодийцев – носитель тяжести; кроме того, среди свойств камня самодийцы выделяют в первую очередь его способность быть создателем и хранителем тепла. В связи с тем, что в камне есть живой огонь, сам камень также относят к живой природе; ему приписывают способность к самостоятельным передвижениям (аналогично у хантов и манси); возможно, что когда-то камень воспринимался как существо с женским началом – по способности камня "родить", в частности, камень может родить железо. Анализируется целый комплекс других существенных свойств камня по мифологическим и бытовым представлениям селькупов.

Доклад Ю.А. Ожередова (Томск) "К вопросу о состоянии памятников традиционного этнокультурного наследия в бассейне р. Тым" был посвящен результатам восьми экспедиций автора (1984–1995 гг.) в разные районы течения Тыма от его устья до крайнего северо-восточного пос. Ванжиль-Кынак. Констатируется интенсивное хозяйственное освоение территорий, некогда заселенных традиционными обитателями Томской области. Наиболее перспективным для получения источников по этнокультурной истории остается бассейн правобережья р. Тым, до прихода русских компактно заселенный селькупами диалектно-локальной группы чумульгула вперемешку с пришлыми представителями других групп селькупов и кочующими эвенками-оленеводами тымско-сымской группировки. Здесь не столь сильно пострадали памятники археологии и этнографии, как на сопредельных территориях. Обследовано четыре археологических памятника, два из которых ранее не были известны. Интересная коллекция предметов материальной и духовной культуры коренного населения собрана у жителей пос. Молодежный. В ходе работ получена информация о ранее неизвестных памятниках, в том числе о нескольких старых и ныне действующих культовых местах. По мнению докладчика, крайне важно предпринять максимальные усилия для организации в ближайшее время научного сбора сохранившегося еще материала и спасательных работ на гибнущих памятниках.

Самодийскую часть тематики конференции с "селькупоцентрической" направленностью заключила А.К. Столярова (Бийск) докладом "К вопросу о словесном ударении в нганасанском языке". Она констатировала слабую разработанность данного вопроса и фрагментарность имеющихся описаний, к тому же достаточно противоречивых. Предложена своего рода программа преодоления неясностей по сути обсуждаемого явления: необходимо в первую очередь выяснить, есть ли сингармонизм в нганасанском языке; не является ли сингармонизм цементирующей основой в слоге, регулирующей артикуляционно-акустическое взаимодействие звуков; какова, наконец, сама структура слога как произносительной единицы нганасанского языка – единицы, организующей гласные и согласные; если сингармонизм – это своеобразный результат коартикуляции между гласными и согласными, то слог нужно исследовать с точки зрения сингармонизма; естественно, следует отказаться от взгляда на ударение с позиций "европоцентризма". Решение всех этих вопросов должно быть основано на фонологическом подходе к явлениям звуковых модификаций.

Достаточно объемной и разносторонней была хантыйская часть докладов, прозвучавших на конференции. Так, О.А. Осипова в докладе "О некоторых способах выражения оппозиции одушевленности/неодушевленности в хантыйском языке" показала, что в диалектах хантыйского языка можно проследить одну из наиболее древних оппозиций выражения одушевленности/неодушевленности, а именно: человек – вещь. Маркер одушевленности *qu* "человек" первоначально, видимо, относился ко всем живым существам вне зависимости от их принадлежности к полу (муж. и жен.). На вещь указывает маркер *ot* "вещь". Однако в настоящее время эта оппозиция нарушается: есть случаи, когда для имен жен. рода используется маркер *ni*, а маркер *ot* постепенно вытесняет *qu* для обозначения деятеля.

З.И. Рандымова (Салехард) в докладе "Процесс познания окружающей среды

в словообразовательных моделях хантыйского языка" рассмотрела конструкции сложных слов, относящихся к пространственной ориентации. В сложных словах подчинительного типа *хотвол* "стойбище", *ратвол* "кострище" один из компонентов выступает в качестве главного, первая часть слова конкретизирует. В номинациях *хот путар, лор путар* слово *путар* означает ограниченное пространство, возникло по подобию озера. В понятиях *сохал сыл, сах сыл, ёхан сыл* слово *сыл* означает продольность, удлиненность, возникло по подобию берега реки. Наименования разного рода вместилищ – сосудов (чашек, мисок, ложек и т.д.), а также мешков включает понятия *тэл*. Со словом *сас* "спина" образуются понятия, относящиеся к задней части чего-либо, а со словом *вес* "лицо" – понятия, обозначающие переднюю часть чего-либо. Таким образом, частью сложных слов являются слова-конкретизаторы. Для ориентации в пространстве используют знакомые очертания озер, рек, частей тела человека, а также его одежды.

Н.В. Лукина (Томск) в докладе "Отражение межэтнических связей в терминологии родства хантов" на основе литературных данных и собственных полевых материалов провела сравнение принципов наименования родственников хантов с таковыми у других народов. Докладчиком выявлена особая близость восточнохантыйских терминов родства и свойства соответствующим селькупским терминам.

В докладе В.М. Кулемзина (Томск) "Игра как феномен культуры" автор коснулся вопроса, который в науке не рассматривался: отношение культуры к игре и игры к культуре. По его мнению, культура – это признание нормы, тогда как игра – это непризнание нормы, выход за пределы культуры, ею дозволяемого. Культура ритуализована в целом, по существу ритуализованы (т.е. недопустимы изменения) все сферы культуры. Это как бы не касается игры. Игра имеется в любой сфере культуры, и как раз благодаря игре осуществляется изменчивость культуры. Таким образом, игра в традиционном обществе (приведены интереснейшие примеры из жизни хантов и других сибирских народов) противопоставлена культуре, хотя через игру и осуществляется воспроизводство ее.

М.А. Лапина (Ханты-Мансийск) в докладе "Современное состояние этических традиций хантов" проанализировала изменения, происходящие в обществе в современный период, и их следствия. Эти изменения влияют на многие стороны традиционной жизни, на материальную и духовную культуру, народную этику, нравственность. Изменились отношения с родственниками, соседями. Много нового появилось в поведении по отношению к вещам, жилищу. Хантыйские "запреты" приспособились к современному образу жизни. Так, изменились взаимоотношения между мужем и женой: теперь мужья часто разводят огонь в очаге, готовят пищу, чинят одежду; жена может надеть обувь мужа, его одежду; муж с женой ходят "под ручку", жена может идти впереди, а муж позади. Раскрепощенно ведет себя хантыйская женщина; молодежь приобретает новые манеры поведения. Прежние этические традиции хантов соблюдаются в традиционных семьях, старшим поколением, а молодое поколение почти не соблюдает многие традиционные нормы. Роль хранителей этических традиций переходит к мужчинам. В последние годы происходит рост самосознания народа, стремление к возрождению этических традиций, без чего ханты потеряют национально-культурную самобытность.

С этими положениями перекликались мысли Т.А. Молдановой (Ханты-Мансийск), изложенные в докладе "Поиск путей сохранения традиционной культуры обско-угорских народов". Она считает, что с 1989 г. начинается процесс пробуждения национального самосознания, направленный на сохранение коренных народов как этносов. Объективной основой сохранения языка и культуры является традиционный уклад жизни, с тенденцией постепенного и естественного освоения достижений цивилизации. Здесь наиболее ценным является оленеводство, при нем в полной мере сохраняется материальная и духовная культура. Значительная часть коренного населения (38,4%) проживает в городах и поселках, где для сохранения языка и культуры необходимы особые условия. Существующие программы практически не дают результатов. Идет поиск, создаются экспериментальные школы, "этнографические стойбища", направленные на передачу максимума знаний по культуре и языку путем погружения детей в этнографическую и природную среду. В сфере культуры главными направлениями сохранения и возрождения ее видятся народные искусства и фольклор. Разнообразная работа ведется как в традиционных, так и в современных формах.

Т.А. Молданов (Ханты-Мансийск) в докладе "Степень сохранности фольклора хантов в Ханты-Мансийском автономном округе" проанализировал собранный за пе-

риод с 1989 по 1997 г. фольклорный материал по следующим жанрам: 1) сказки бытовые и волшебные, 2) песни медвежьих игрищ, 3) призывные песни духов-покровителей, 4) героический эпос, 5) личные песни, 6) мифы, легенды, предания, 7) загадки. В частности, записана 891 песня с различными вариантами (за вычетом вариантов – 420 песен). По счетным палочкам, хранящимся в музеях, можно заключить, что репертуар медвежьего праздника состоял приблизительно из 400 номеров. Больше всего сохранились песни духов-покровителей, из-за строгой регламентации по сценарию. Юмористических сценок, как видно из счетных палочек, сегодня стало меньше, что обусловлено тем, что прежние сценки сегодня не злободневны. Интересно, что в последнее время начинает складываться письменная и аудиовизуальная передача фольклорных знаний.

О.М. Рындина (Томск) в докладе "Орнаментальное своеобразие восточных хантов как свидетельство этнокультурных контактов их предков с кетами" отметила, что специфика восточнохантыйской орнаментики, отраженной в криволинейных узорах, которые выскабливаются на бересте, состоит в удлиненности изгибов орнаментальной линии. Данная стилистическая черта транслировалась в берестяное узорочье из области орнаментальной раскраски ровдуги, где сложилась в результате соединения раскраски со швом из подшейного волоса оленя – одного из наиболее характерных приемов кетской орнаментики. Таким образом, орнаментальное своеобразие восточных хантов есть результат воздействия на их культуру декоративных традиций кетов, что подтверждает гипотезу А.П. Дульзон о пребывани предков кетов в районе Среднего Приобья.

По-своему интересными были доклады начинающих исследователей – студентки ТГПУ (Томск) Д.А. Кудряшовой (селькупки по национальности) "Материалы по истории юрт Иванкиных"; аспирантов ТГПУ (Томск) А.Ю. Фильченко "Причастные формы в уральских языках: ситуация и проблемы" и Н.Н. Шаламовой "О некоторых хантыйских суффиксах, имеющих видовое значение".

Большой интерес участников конференции и оживленную дискуссию вызвали доклады практических работников образования: З.Е. Баскончиной (пос. Иванкино Колпашевского р-на Томской обл.) "К методике проведения уроков по краеведению в национальной селькупской школе"; Т.К. Кудряшовой "Особенности трудового обучения в национальной селькупской школе" и Г.Р. Малаховой "Элементы этнопедагогического воспитания на уроках сибиреведения в национальной селькупской школе" (обе из пос. Белояровка Колпашевского р-на Томской обл.). На основе теоретических разработок томских исследователей докладчики обобщили накопленный за последние годы опыт проведения уроков в виде спецкурсов в национальной селькупской школе.

В заключение этой части обзора следует сказать, что на конференции в рамках работы секции "Этносы Сибири: язык и культура" заслушано 35 докладов по следующим основным направлениям: 1) проблемы лексики, фонетики и грамматики малочисленных народов Сибири, 2) картина мира в лексико-семантических системах, 3) лексикографическое описание диалектов и говоров, 4) сибирский фольклор, 5) традиционная культура народов Сибири, 6) проблемы преподавания в национальной школе.

На секции "Романо-германские лингвистические исследования" было представлено 18 докладов весьма разнообразной тематики.

Ряд докладов рассматривал вопросы этимологии. Так, в докладе О.А. Осиповой "Связь этимологии древнегерманских существительных с отнесением их к определенным основам" было выявлено, каким образом этимология существительных помогает установить их соответствующую принадлежность к разным типам склонений: в одних случаях – к консонантным склонениям, а в других – к главным и корневым.

В доклале Л.П. Дроновой (Томск) "Термины торговли в германской языковой традиции" представлено историко-этимологическое исследованине терминов торговли ("стоить, ценить(ся)" и "покупать–продавать"). Это дало возможность проследить, что именно послужило толчком к формированию товарно-денежных отношений, становлению определенной роли торговли в экономической жизни германцев – собственно германские истоки и локализованные в пространстве и времени контакты с соседними народами, запечатленные в языке исходные образы и представления, их развитие.

В ряде докладов рассматривались вопросы семантического анализа. Теоретические аспекты этой проблемы были в центре внимания Е.Г. Которовой (Томск), представившей доклад "О понятиях внутренней формы и мотивированности в российском и советском языкознании". Она

проследила, каким образом идея В. Гумбольдта о "внутренней форме" была воспринята и переработана российскими и советскими учеными. В первой части доклада автор кратко остановился на концепциях А.А. Потебни и Г.Г. Шпета; во второй части рассматривались концепции современных ученых 80-х–90-х гг., при этом было показано, что в настоящее время понятие "внутренней формы" в большей степени прилагается к морфо-семантическому анализу лексики языка, сближается с понятием "мотивированности". Взаимоотношения этих терминов, однако, также интерпретируются по-разному.

В докладе О.О. Ломакиной (Томск) "Синонимия эксклюдеров" показаны особенности синонимических отношений слов, выражающих отрицательные понятия высокой степени абстракции. В частности, установлено, что степень семантической близости таких слов, как *голый, пустой, чистый, бедный, свободный* недостаточно велика для того, чтобы их можно было признать языковыми синонимами, но их частичная взаимозаменяемость в результате нейтрализации семантических различий позволяет говорить о речевой синонимии этих слов.

С.П. Тиунова (Кемерово) в докладе "Способы выражения середины действия в английском и русском языках" представила многоаспектную трактовку лексемы" середина": 1) как маркера центрального местоположения объекта, 2) как составляющую измерения количества действия, равноудаленную от его начала и конца, 3) как модальную оценку субъектом речи динамично развивающегося действия, достигшего своего пика, 4) как дейктического компонента, маркирующего пространство события.

В докладе Н.В. Корниловой (Томск) "Синонимия немецкого языка в аспекте социолингвистики" на основе исследования обширного фактического материала рассматривались конкретные социолингвистические аспекты немецкой синонимии.

Несколько докладов было посвящено исследованиям в области грамматики. Так, в докладе Т.А. Кирилловой (Томск) "Сферы употребления способов передачи понятия будущего в современном английском языке" рассматривались особенности различных способов выражения будущего времени в таких сферах современного английского языка, как язык художественной прозы, разговорный язык и язык научных и технических документов. В докладе Л.А. Петроченко (Томск) "Компаративность в системе цветообозначений" автор исследует особенности английских цветообозначений в текстах художественной прозы. Безусловный интерес вызвал доклад А.Ю. Лозинской (Израиль) "Особенности глагольной системы языка иврит", который логично вписался в тематику конференции, так как в докладе были проведены параллели между глагольными системами языков иврит, русского и английского.

Значительная часть докладов была посвящена стилистическим исследованиям. Так, в докладе Л.Г. Ананьевой (Томск) "Фразировка и ее роль в интерпретации текста" рассмотрен механизм перевода письменной формы речи в устную и проблема вариативной сегментации, которая, в свою очередь, тесно связана с проблемой "фразировка и регистр"; здесь анализируется также вопрос о взаимоотношениях фразировки и пунктуации и о различных точках зрения на данную проблему.

В совместном докладе Р.Г. Лозинской и В. В. Гладковой (Томск; зачитан Р.Г. Лозинской) "Стилистические особенности парадоксов О. Уайльда" и в докладе В.Н. Скок (Томск) "Использование образных средств языка для создания образа Гамлета" авторами подробно анализируются соответствующие языковые средства в структуре драматических произведений. Исследованию языка пьес В. Шекспира также был посвящен доклад К.Д. Голубятникова (Кемерово) "Словообразовательная семантика адъективных композитов в ранненовоанглийский период". В докладе И.А. Черемисиной (Томск) «"Памятник" А.С. Пушкина в английском переводе В. Набокова» дан стилистический анализ перевода известного стихотворения. Автор приходит к выводу, что рассмотренный как целое английский вариант представляет собой функционально подобный оригиналу художественный текст, в котором ощутимо воссоздана поэтико-стилистическая и эстетическая доминанта пушкинского произведения.

На секции также были заслушаны доклады участников из ТГПУ (Томск): Н.В. Брюханцевой "Роль фантазии в изучении иностранных язков"; Д.Г. Захаровой "Зоометафора в английском и русском языках"; Е.С. Лемешко "О некоторых терминах, которые англо-саксы использовали в сфере экономики"; Л.Н. Ястребовой "Нетрадиционные лексико-семантические способы выражения

количества в современном английском языке".

Принятая на конференции резолюция отметила высокий уровень предствленных на ней докладов и необходимость их скорейшей публикации, так что заинтересованный читатель сможет ознакомиться с ними в самое ближайшее время. Единодушно была поддержана идея проведения в Томске на базе ТГПУ в 2000 г. междисциплинарной конференции международного уровня, посвященной 100-летию со дня рождения проф. А.П. Дульзона (предложен предварительный рабочий вариант тематики конференции – "Отдаленное родство языков и культур: общности и взаимовлияния").

Ю.А. Морев, Р.Г. Лозинская
(Томск)

5–6 июня в Челябинске проходила международная конференция "Русский язык как государственный". Она была организована Администрацией Челябинской области, Институтом русского языка Российской академии наук, Обществом "Знание" России. В ее работе приняли участие представители администрации и общественных организаций, видные ученые, преподаватели русского языка и деятели литературы из разных областей, национальных округов и автономных республик России (Башкортостан, Еврейская АО, Хакасия, Саха (Якутия), Коми, Калмыкия, Удмуртия, Татарстан), республик СНГ (Украина, Казахстан), стран дальнего зарубежья (Болгария, Польша). Всего в программу конференции было включено 177 докладов, из которых было прочитано около половины. Готовится публикация материалов конференции.

Конференция открылась вступительным словом председателя Оргкомитета конференции, заместителя главы Администрации Челябинской области А.Н. Косилова. А.Н. Косилов обратился с приветственным словом к участникам конференции и поздравил всех присутствующих с "праздником русского языка на Южном Урале". В выступлении А.Н. Косилова была выражена готовность административных структур оказывать поддержку в проведении мероприятий по улучшению условий преподавания русского языка в Челябинской области.

Пленарное заседание открыл академик РАО, Президент МАПРЯЛ В.Г. Костомаров (Москва). В своем докладе на тему "Позиции русского языка в мире" он отметил общегосударственную значимость и актуальность проведения подобного форума для упрочения позиций русского языка в России и за ее пределами. В.Г. Костомаров подчеркнул, что, вопреки утверждению ряда исследователей и политиков и несмотря на относительную нестабильность политической и экономической ситуации в России, интерес к русскому языку за рубежом не ослабевает, а напротив – наблюдается стабильный, хотя в целом и незначительный, рост числа людей, изучающих, желающих или испытывающих потребность изучать русский язык. Этот факт становится вполне очевидным, если из числа "любителей русского языка" (завышенного в прошлом) исключить тех, кто изучал его в рамках школьной программы, ибо именно прекращение преподавания русского языка как иностранного в ряде государств определяет "падение" общестатистической кривой интереса к нему в мире. На самом деле действительно знающих русский язык людей становится за рубежом все больше. В.Г. Костомаров отметил, что таким позициям русского языка в мире противоречит его нынешнее положение в России, где пренебрежительное отношение к нормам литературного языка наблюдается во всех сферах его употребления, вплоть до речи видных общественных и политических деятелей и языка средств массовой информации. Кроме того, вызывает тревогу распространившаяся в России мода на подменяющие исконно русские слова и выражения на иностранные и на использование иностранных языков (прежде всего английского) в рекламе, названиях фирм и т.д.

Озабоченность судьбами русского языка в России и за ее пределами в той или иной форме была выражена всеми участниками конференции и нашла отражение в большинстве выступлений. Несколько сообщений было посвящено рассмотрению проблемы статуса русского языка в России (доклады Р.И. Тихоновой (Самара) "Русский язык в Российской Федерации: государственный или официальный", В.М. Солнцева, В.Ю. Михальченко (Москва) "Русский язык: проблемы языкового пространства"), особенно на территориях национальных округов и федеративных республик (доклады В.И. Белоусова (Москва) "Об основных тенденциях употребления русского языка в странах СНГ и Балтии", Л.Г. Саяховой (Уфа) "Русский язык в концепции лингвистического образования Республики Башкортостан", М.П. Егорьевой (Челябинск) "О

функционировании русского языка в Казахстане", Н.С. Сергеевой (Сыктывкар) "Языковая ситуация и 'Закон о государственных языках' в Республике Коми", Г.К. Валеева (Челябинск) "Взаимодействие русского и башкирского языков", Н.Р. Халитовой (Магнитогорск) "Особенности функционирования государственного языка в эпоху тоталитаризма" и др.). В них затрагивались проблемы определения объема понятий "государственный", "официальный", "родной" язык, выбора государственного языка, функционирования и развития языков в ситуации дву- или многоязычия, межнациональных отношений в условиях билингвизма, а также связанные с ними проблемы юридического статуса и сфер употребления государственных и негосударственных языков. Оживленный интерес у аудитории вызвал доклад Э.А. Григоряна и Л.Р. Харисовой (Москва) "Формы государственного устройства и национально-языковая политика", посвященный анализу юридического аспекта определения языковой политики в полиэтничных областях и республиках и выбора форм и методов ее осуществления в условиях соблюдения правовых норм национально-языковых меньшинств.

В ряде выступлений освещались вопросы роли русского языка в формировании национального языкового сознания и духовной культуры (доклады А.М. Чепасовой (Челябинск) "Отражение духовной культуры русского народа во фразеологизмах", Г.С. Иваненко (Челябинск) "Отражение в языке особенностей русского национального характера", В.А. Лебединской (Курган) "Роль уральской лингвофольклористики в духовном возрождении России"). Среди сообщений по этой тематике были как сообщения научно-теоретического характера (доклад О.А. Турбиной (Челябинск) "Структура языкового сознания в период формирования национального литературного языка"), так и сообщения, построенные на иллюстрации конкретного материала, показывающего языковой колорит определенного региона (доклад О.И. Васневой (Пермь) "Функции мифологической лексики в языковой картине мира").

Духом гордости за судьбы русского языка за рубежом был пронизан доклад М.А. Ахлюстовой (Челябинск) "Язык как средство сохранения национального самосознания русского зарубежья", проиллюстрировавший бережное сохранение национально-языковых традиций в среде русского зарубежья, и доклад С.Г. Шулежковой (Магнитогорск) "Русский язык как источник заимствований для языков ближнего и дальнего зарубежья (к вопросу о судьбах русских крылатых единиц)".

Дискуссия о духовной и художественной ценности русского языка в формировании культурных и литературных традиций разных народов развернулась на секции "Русский язык как основа художественной и духовной культуры народов России". Здесь прозвучали выступления, посвященные анализу национальных особенностей русского языка, определяющих его своеобразие в системе языков мира (доклад Г.С. Струговой (Челябинск) "Экспрессивность – важнейшее достоинство русской художественной речи"), рассмотрению различных форм русской художественной речи (доклад Т.Н. Дорожкиной (Уфа) "Об ассоциативных связях слова в поэзии и в прозе"), изучению роли наследия русских художественно-литературных традиций (доклады Л.А. Глинкиной (Челябинск) "Эпистолярное наследие как часть национальной культуры России [К проблеме лингвотекстологического анализа частных писем]", Н.П. Терентьевой (Челябинск) "Слово А.С. Пушкина в восприятии современных читателей-подростков"); анализу жанрово-стилистических особенностей разновидностей художественной речи (доклады В.П. Федоровой (Курган) "Диалектизмы и топонимика в народной лирике Южного Зауралья", Т.Н. Кабановой (Челябинск) "Особенности синтаксиса частных писем в аспекте русской стилистики") и языка произведений русских писателей (доклады О.А. Маркасовой (Новосибирск) «Языковые средства воплощения социальной идеи [на материале рассказа М.А. Булгакова "Неделя просвещения"]», В.Ю. Дорожкиной "Символ в художественной прозе Алексея Ремизова"). Оживленный интерес в аудитории вызвал доклад члена Союза писателей России, поэтессы Н. Ягодинцевой "Изменение литературной ситуации и ее лексической составляющей за последнее десятилетие на примере творчества челябинских писателей", проиллюстрированный хорошим материалом.

Серия сообщений была посвящена жанрово-стилистическим характеристикам русского языка в различных сферах общения. Среди них были сообщения, построенные на анализе различных аспектов системы русского языка в синхронии и диахронии

(доклады Е.Г. Соболевой (Екатеринбург) "Приемы создания динамической модальности текста", Е.Н. Квашниной (Челябинск) "Становление наименований лиц по профессии как отражение развития производства на Руси", Л.В. Житниковой (Челябинск) "Русско-английская часть международного словаря профессий", Н.А. Боженковой (Курск) "Стилистические фигуры в формировании риторической мысли", Л.Д. Игнатьевой (Челябинск) "Фразеологизмы в звучащей речи"), отражающие развитие и функционирование русского делового языка (доклады Н.А. Новоселовой (Челябинск) "История становления делового русского языка", М.С. Выхрыстюк (Тобольск) "Соотношение книжно-славянского и народно-разговорного начала в деловых документах Тобольского Знаменского монастыря XVIII века"), посвященные анализу русской речи в средствах массовой информации (доклады А.А. Пановой (Челябинск) "Русская речь в современном эфире", Н.М. Товстухи (Челябинск) "Функционирование литературной нормы в средствах массовой информации", Л.П. Гашевой (Челябинск) "Типы нарушения норм употребления русских фразеологизмов в прессе [на материале газет]", Г.А. Шигановой (Челябинск) "Функционирование релятивных фразеологизмов в газетно-публицистическом стиле") и анализу живой речи современного города (доклады Е.А. Яковлевой (Уфа) "Номинация в русской разговорной речи", Е.Н. Пономаревой (Челябинск) "Живая речь провинциального города [на материале разговорной речи жителей города Миасса]").

Секция "Русский язык в системе высшего, среднего образования и повышения квалификации" была одной из самых многочисленных по количеству прочитанных докладов. В ней приняли участие видные ученые-лингвисты, педагоги и учителя русского языка средних учебных заведений, что является подтверждением актуальности проблемы преподавания русского языка в России и за ее пределами. В рамках конференции эта тематика была открыта пленарным докладом председателя правления общества "Знание" России Л.В. Пиковского (Москва) "Формирование новой системы непрерывного образования взрослых в России". Л.В. Пиковский отметил, что необходимо расширить и усовершенствовать программы обучения русскому языку для взрослых, прежде всего для лиц, профессии которых предполагают постоянное общение с широким кругом людей, вплоть до введения обязательных экзаменов по русскому языку на право занимать должности различных уровней – от продавцов универмагов до высокопоставленных чиновников. В связи с этим участники конференции обратили внимание на то, что начинать проведение мероприятий данной языковой политики нужно с решения вопросов по усовершенствованию подготовки учителей-словесников (доклады Л.А. Глинкиной (Челябинск) "Проблемы историко-лингвистической подготовки современного учителя", Р.И. Тихоновой (Самара) "Русский язык и история русского языка в педагогическом вузе: хотим ли мы иметь грамотного словесника"), с пересмотра программ по обучению русскому студентов неязыковых вузов и специальностей (доклады Л.А. Шкатовой (Челябинск) "Обучение русскому языку как государственному в техническом вузе", О.Г. Усановой (Челябинск) "Педагогический речевой жанр как основа коммуникативной и профессиональной компетентности студентов") и прежде всего – с улучшения преподавания русского языка в средней школе (доклады Т.П. Харитоновой (Челябинск) "Системный и деятельностный подход к преподаванию русского языка в средней школе", Т.И. Попковой "Элементы истории языка в процессе обучения русскому языку в инновационной школе", Н.Е. Скачковой (Катав-Ивановск) "Лингвистическая работа со школьниками", Н.Н. Майтамы (Челябинск) "Проблема интеграции в преподавании русского языка в инновационных учебных заведениях"), в том числе в инонациональных средних учебных заведениях (доклад заслуженного учителя РФ Н.А. Поповой " Поиски новых путей обучения русскому языку в инонациональной школе"). Поднимались также и проблемы преподавания русского языка за пределами России (доклад В.В. Воробьева (Москва) "Современные проблемы преподавания русского языка в странах СНГ и Балтии") и обучения русскому языку как иностранному (доклады А.А. Скребневой (Челябинск), М.В. Лыжиной (Челябинск) "Явление интерференции при обучении иностранцев русскому языку").

Помимо секционной работы, все участники конференции приняли участие в работе круглого стола, где активно дискутировались наиболее острые вопросы статуса русского языка в России и за ее пределами

и связанные с ними проблемы отношений между языками и их носителями, в том числе и наиболее общие проблемы возникновения и развития языков; типологических характеристик литературных языков мира; исчезновения, смешения языков и общих интегративных процессов в развитии языков мира.

В заключительном выступлении на закрытии конференции академик В.Г. Костомаров поблагодарил участников за плодотворную работу, отметив ее вклад в дело упрочения русского языка как государственного в России и укрепления его позиций за пределами Российской Федерации. Итогом конференции "Русский язык как государственный" стало принятое ее участниками решение, включающее обращение к правительству Российской Федерации, содержащее предложения по проведению мероприятий законодательного порядка в целях обеспечения нормального функционирования русского языка как государственного в России. Участниками конференции было выдвинуто также предложение проводить подобные конференции регулярно с периодичностью в 2–4 года в различных регионах России.

О.А. Турбина
(Челябинск)

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ*

В шестом номере "ВЯ" за 1995 г. (с. 129–132) напечатана рецензия Л.П. Крысина на мою книгу "Русский язык конца XX столетия". Я благодарю редакцию за внимание к моей скромной работе. Достойно, однако, сожаления, что рецензент в оценке моего труда проявил крайнюю односторонность, нередко граничащую с навязыванием своего "единственно правильного" мнения о том, как нужно изучать процессы, происходящие в современном русском языке. В ряде случаев он допускает грубые выпады, которые унижают мое достоинство как исследователя ("неупорядоченные наблюдения", "вкусовые замечания", "одностороннее собрание материалов и наблюдений" и под.). Поскольку книга практически недоступна широкому кругу специалистов в России из-за ее дороговизны (на что, конечно же, был также расчет рецензента), считаю своим долгом внести ясность.

Можно понять рецензента, у которого "перехватили" тему, выступили, не дожидаясь его, как он пишет сам, "научных описаний процессов" (с. 132), но трудно согласиться с тем, когда он допускает стиль вроде "В рецензируемой книге *проф.* (!) Тартуского университета..." (с. 129) или же умышленно опускает издательство (и это-то в научном журнале!), в котором вышла книга: пусть, мол, читатель думает, что она издана кустарно или на личные сбережения? Или, мол, не стоит "компрометировать" издательство? Между тем книга вышла в солидном мюнхенском издательстве Otto Sagner, в частности, в качестве 317 тома известной в Германии серии "Slavistische Beiträge", к тому же объемом не в 347 страниц, как указывает рецензент, а – 359. Как видим, немаловажные детали для понимания позиции рецензента.

Книга была задумана как социолингвистическое исследование процессов, активизировавшихся в русском языке к концу XX столетия прежде всего под воздействием "перестройки". Рецензент упрекает автора в том, что его внимание сосредоточено "не на всем конце XX столетия" (так у него на с. 130). Трудно понять, что имеет он в виду под "всем концом". Если выражаться простым языком и быть ближе к содержанию книги, то основной ее материал охватывает 80-е – начало 90-х гг., однако для анализа регулярно привлекаются факты "советского языка" (по-другому также "дубового языка", "общесоюзного косноязычия" и под.) – в книге читатель найдет целые главы, посвященные отдельным сторонам состояния русского языка до начала "перестройки" (гл. III. "Смена лексических парадигм", с. 97–144; гл. IV. "Адъективно-субстантивная валентность: снятие табу (продолжение языковой десоветизации)", с. 145–157; гл. V. "Возвращение забытого", с. 159–175; материал доперестроечного времени используется и в последующих главах). Более того, в книге мы пытались, где это возможно, обратить внимание читателя на "перекличку" между перестроечными и послереволюционными языковыми процессами. Странно, что ни

---

* *От редакции.* Редакция надеется, что читатели нашего журнала сами составят собственное мнение о рецензии Л.П. Крысина на кингу А.Д. Дуличенко и о "Письме в редакцию" А.Д. Дуличенко.

того, ни другого рецензент "не заметил". Однако он заметил, что в книге, где говорится об изучении языка революционной и послереволюционной эпохи, "перечень имен исследователей-предшественников случаен и не полон". Если "случайными" считать имена С.О. Карцевского, А.М. Селищева, Е.Д. Поливанова, А. Мазона, а также упоминаемых в книге Л. Щербы, Д. Ушакова, Л. Якубинского и др. (с отсылкой на работу, в которой синтезированно рассматриваются труды этих ученых), то тогда у автора, так сказать, "нет вопросов". Что касается литературы по "перестроечному языку", то статья Б. Тошовича действительно была одной из первых по времени (об этом так и сказано на с. 5) – и не больше того. Дальнейшие публикации на эту тему появлялись в "Русской речи", "Филологических науках" и других изданиях, к которым мы и отослали читателя (с. 5). Известно нам и о конференции "Русский язык и современность" (1991 г.) – о ней особо говорится на с. 5–6. Отмечаются нами монографии К. Горбачевича "Русский язык. Прошлое..." (1990) и Е.А. Земской "Словообразование как деятельность" (1992), работы Ю.Н. Караулова, И.С. Улуханова и многих других – см. перечень (согласны, может быть, неполный) в разделе "Дополнительная библиография" (с. 343–347), о чем, к сожалению, умалчивает рецензент. На работы Крысина действительно в книге не указано, что можно считать "промашкой, а можно квалифицировать просто как право автора цитировать или не цитировать ("избирательность" в этом вопросе, как известно и рецензенту, – почти привычное явление в научной среде). В этой связи представляется неуклюжей попытка рецензента (с. 131) уличить нас якобы в "присвоении" таких общеизвестных и давно звучащих как прописные истины положений (они внесены во все университетские учебники), как существование разных форм социального влияния на язык или неодинаковость темпов социальных и языковых изменений.

Первое предложение в нашем предисловии звучит: "Эта книга написана в жанре наблюдений, анализа и размышлений *по горячим следам*" (с. XI). Читатель сам может убедиться, что основное внимание автора книги действительно сосредоточено на "горячем языковом материале", т.е. на тех новшествах и изменениях, которые проходили в языке буквально на глазах (хотя нередко такой материал рассматривался и в связи с предшествующим его состоянием). О том, что жанр монографий "по горячим следам" не нов, а был апробирован еще в 20-е гг. в связи с изучением языка революционной эпохи, мы специально говорим в первой главе книги (с. 1–5). Так что было бы по меньшей мере наивно настаивать на ее "жанровом новаторстве", в чем безосновательно пытается обвинить нас рецензент (с. 131). Однако нет сомнений в том, что жанр такого рода работ редок, поскольку редки в жизни народов социальные потрясения типа революции 1917 года и "перестройки". И успеть вовремя отреагировать на языковой материал, пока он еще не "остыл", – это ничуть не проще и не легче, чем не спеша, десятилетиями работать над уже отстоявшимся (а нередко и описанным другими) материалом. К тому же показать свое отношение, отношение носителя языка и одновременно языковеда, к описываемому материалу и процессам (о чем нами открыто заявлено на с. XII) мы не считаем, в отличие от "научно беспристрастного" и стороннего по отношению к родному языку рецензента, чем-то из ряда вон выходящим: ведь без вкуса к языку нет и истинного его понимания. Недаром стали появляться даже монографии, написанные с этих позиций (Костомаров 1994).

Рецензенту не дает покоя название книги – оно, постоянно подчеркивает он, "шире ее содержания". Вот если бы книга была названа, например, "Наблюдения над языком газеты (таких-то лет)" или что-то вроде этого – дело другое! В книге, пишет он, "описываются процессы, происходящие в лексике", – и только. Во-первых, странно читать, что монография посвящена описанию процессов. Тогда как же понимать оценку книги как *сборника материалов* и комментариев к нему вместе со "вкусовыми характеристиками"?! Во-вторых, в книге речь идет не только о лексике, хотя ей действительно уделено основное место. Много внимания мы посвятили так наз. малому синтаксису – структурам типа свободных словосочетаний и устойчивых комплексов в форме словосочетаний и предложений – об этом гл. IV ("Адъективно-субстантивная валентность..."), большая часть гл. VI ("Из анализа нынешней демократической терминологии") и гл. VII ("Новый виток идеологизации языка и общества") и специально гл. XII ("Два слова о синтаксисе и новых идеологических синтаксемах"). Название последней главы, т.е. XII, как и название гл. XI "Кое-что о словообразовательных потенциях русского языка конца XX столетия" дали рецензенту основание заявить о "фрагментарности" этих направлений нашего исследования. О синтаксисе мы уже сказали. Что касается словообразования, то в связи с ним затронуты не наиболее существенные словообразовательные процессы, которые

активизировались в последние годы под очевидным социальным давлением. В гл. XI, несмотря на ее "скромное" название ("Кое-что о..."), на достаточно большом материале и пространстве (с. 267–296) рассматриваются наиболее активные процессы, проявляющиеся с помощью таких способов, как префиксация, суффиксация, словосложение; специальное внимание обращено на контаминацию, аббревиацию, универбацию и так наз. аналитическое словообразование, работающие на сокращение текста. А если бы рецензент внимательно прочитал гл. II ("Лексические доминанты перестройки", с. 19–95), то он заметил бы, что в ней достаточно подробно прослежены гигантские словообразовательные потенции таких слов, как *перестройка* (с. 33–47, 50), *демократия – демократизация* (с. 66–82). Как указывается в книге, в этих словах необычайной социальной активности за короткое время проявились, кажется, все возможные словообразовательные (а также семантические, фразеологические и проч.) свойства русского слова. Неужто все это – "фрагментарность"? Странны в этой связи и такие пассажи рецензента (с. 132): "О словообразовательных элементах *парт-, гос-, спец-, сов-* сказано, что они необычайно активизировались именно в последнее время (с. 290). Но это не так: многочисленны и разнообразны по семантике образования с этими элементами именно в советское, доперестроечное время. Т.е. мы говорим о **необычайной активности использования** слов с указанными элементами, а рецензент – о **многочисленности и разнообразии** слов такого рода. Вот уж поистине чрезмерное пристрастие, поиски "еще чего-нибудь" подводят критика!... Или еще один пример. Рецензент недоумевает, как это "забытые" слова типа *милосердие, сострадание, благотворительность* и под. могут обогатить внутренний мир человека, помочь в установлении дружеских отношений между людьми и т.д. – ведь, по его мнению, "в прессе, в публицистике подобные слова... быстро становятся очередными штампами, за которыми нет реального содержания" (с. 131). Между тем мы говорим о разных вещах: автор монографии пишет о живом человеке и значении для него подобных слов ("слово помогает!"), рецензент же – о том, что произойдет с такими словами, когда пресса их сделает штампами!...

Рецензент негодует (и называет это отсутствием всякой логики в "композиции книги") над тем, что центральная для его интересов тема о заимствовании иноязычной лексики помещена не в начало, а в конец монографии и к тому же не содержит анализа социальных причин" (с. 130, 131). Между тем глава названа "Русангл, или: будем ли мы говорить на интеррусском?" (с. 315–336) и по замыслу завершает те, нередко тревожные, размышления, к которым приходит исследователь, наблюдая за действиями ловких манипуляторов языка, неограниченно пользующихся им во всевластных средствах массовой информации и воздействующих на языковое сознание и поведение людей. Скрыв от читателя название главы и ничего не сказав о ее содержании, рецензент искаженно представил композиционный замысел монографии. Имеет ли смысл после этого реагировать на голословное обвинение рецензента в отсутствии у автора монографии "анализа социальных причин" и в "декларированном (но нереализованном!) социолингвистическом подходе", если страницей до того он пишет буквально следующее: "Книга... явно, открыто социолингвистична: ведь языковые явления описываются здесь в связи с явлениями социальными"!... Так был ли все же реализован социолингвистический подход? И как быть читателю, не имеющему возможности самому познакомиться с книгой? Неужели довольствоваться вырванной из контекста строкой ("объясняющей" социальные причины!) типа "гордыня знающих иностранные языки перед незнающими таковых"?

Нельзя не отреагировать на утверждения рецензента о том, что якобы "объектом описания явился почти исключительно язык прессы" (с. 130). В первой главе на с. 6–7 сказано: "Материалом, легшим в основу книги, послужил живой русский язык, запечатленный в устной и письменной речи... Помимо телевидения и радио, живой речи современников – коллег и просто знакомых и незнакомых людей в России (а также в Эстонии, где автор ныне проживает), материал собирался по текстам периодической, преимущественно московской печати..." К тому же одна из глав (XIII) посвящена специально "языку нынешних политиков и средств массовой информации" (преимущественно телевидения и радио). Что касается пассажа рецензента "Большая часть материала [для книги] извлечена из газет и журналов *правого* толка..." (с. 132), то это весьма странное утверждение, которое опровергается приложенным к книге списком использованных периодических изданий самых разных направлений (с. 338–342) и внимательным прочтением текста всей книги (достаточно отослать, например, к гл. VIII "Русский и российский: от генетического единства к идеологическому разладу", с. 199–230,

где изучается функциональное поле указанных адъективов, для чего сплошному анализу подвергнуты три номера газ. "Известия", с одной стороны, и по одному номеру газ. "Русский вестник" и "День" – с другой). Можно понять рецензента, привыкшего, как это видно по приведенному пассажу, усматривать в обществе "правых" и "левых", "своих" и "чужих" (кстати, то, что у рецензента "правое", на самом деле оказываетя "левым"!). В нашей монографии эта терминология не употребляется. На с. 7 сказано: «... автор не ограничил себя обращением только к "демократическим" или только к "недемократическим" изданиям, – и те и другие были в одинаковой мере в его поле зрения прежде всего с точки зрения их языковых особенностей». Этого принципа автор монографии и старался придерживаться, тем более что его задачи – лингвистические, а не политические. Практически везде у нас речь идет об "оппозиционной" и "демократической" печати (и притом всегда в кавычках!). Это лишний раз свидетельствует о том, что автор монографии принципиально смотрит на такое разделение общества не с позиций "свои – чужие", а с позиций единства общества, как на условность и в значительной мере искусственность такого разделения. Что касается телепередачи "Итоги" за 17 января и 14 марта 1993 г., о которых речь идет на с. 312 нашей книги, то рецензент мог бы, прояви он настоящую дотошность и усердие, заглянуть в любую газету с телепрограммой за указанный срок и убедиться, что эта телепередача "помещалась" в ту пору именно на телевидении "Останкино", а не на НТВ, передачи которого, кстати, в Тарту ни тогда, когда писалась книга, ни сейчас не транслируются.

Уже в предисловии к монографии отмечено, что "автор не ставил целью раскрыть панораму состояния русского языка конца XX века – усилиями его одного это и невозможно сделать. Он фиксировал свое внимание лишь на том, что ему казалось существенным и в чем-то новым, необычным" (с. XII). Полный и "объективный" лингвистический и социолингвистический анализ он "оставил" для коллективов и институтов. И, кажется, такой анализ они уже начали проводить – см., например, сборник под точно тем же названием, что и наша монография, но вышедший двумя годами позже (Земская, ред., 1996)**. В этом сборнике выступает и наш рецензент. "Весь конец XX столетия" здесь охватывает лишь 1985–1995 гг.! Мы далеки от мысли о том, чтобы считать свой труд идеальным. Есть немало вопросов, которые сейчас можно было бы осветить иначе, а что-то выполнить последовательнее и даже повнимательнее. Но такие просчеты, вероятно, неминуемы, тем более когда исследователь имеет дело с "горячим языковым материалом". Тем не менее книга написана. На ее основе в разных европейских университетах проводятся спецкурсы и спецсеминары, а в научной среде есть и иные, чем у нашего рецензента, мнения – сошлемся на доклад Ю.Н. Караулова Общему собранию Отделения литературы и языка РАН 26 декабря 1994 г. о состоянии русского языка и проблемах его изучения, значительная часть которого опирается на материал и идеи нашей книги (об этом так и заявлено в публикации доклада, см. Караулов 1994; 13–23), а также на обстоятельные рецензии Р. Конте в "Revue des études slaves" (1995, fasc. 4, 772–780), З. Кестер–Тома "Russian Linguistics" (1996, vol. 20, 310–319) и др. И, наконец, еще. Если книга всего лишь "собрание материалов и наблюдений", к тому же односторонних, без композиции и массой "не того, что нужно", то возникает вопрос: зачем писать на нее рецензию и печатать в солидном академическом издании? Разве нет для этого трудов "посерьезнее"? Проницательный читатель, однако, догадается: суть проблемы, вероятно, не только и не столько в самой книге, сколько в некоторых внешних факторах. И приведенные здесь нами контраргументы помогают это понять и несколько иначе отнестись к рецензии Крысина.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Костомаров 1994 – *Костомаров В.Г.* Языковой вкус эпохи. М., 1994.

Земская, ред. 1996 – Русский язык конца XX столетия (1985–1995) / Под ред. Е.А. Земской. М., 1996.

Караулов 1995 – *Карауалов Ю.Н.* О некоторых особенностях современного состояния русского языка и науки о нем // Русистика сегодня. 1995. № 1.

А. Дуличенко (Тарту)

** Этот сборник назывался иначе – "Русский язык 90-ых годов XX столетия" (о нем подробнее см. Караулов 1995, с. 14).

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Рукописи представляются в двух экземплярах; текст и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке или на компьютере через два интервала. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

2. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их в кавычках.

3. Библиография в журнале оформляется следующим образом:

3.1. Список использованной литературы дается в конце статьи по алфавиту фамилий авторов и оформляется так:

– "Код работы" (фамилия и инициалы авторов, год выхода цитируемой работы), тире, название работы. В случае, если авторов больше двух, допустимо указывать только одного автора плюс выражение типа "и др." или "et al.".

– Если это монография, то после точки указываются место и год издания, например:
Успенский Б.А. 1994 – Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.). М., 1994.

– Если это статья, то после двойного слэша (//) указывается журнал (допустимы при этом стандартные сокращения) или выходные данные сборника, например:
Трубецкой Н.С. 1990 – Общеславянский элемент в русской культуре // ВЯ. 1990. № 2, 3.

– Если это сборник или иное аналогичное издание, то "кодом" является одно из двух:

а) фамилия и инициалы редактора (или редакторов; допустимы сокращения как и в ссылке на авторскую работу, см. выше) с указанием "ред." (для других языков – ed., hrsg. и т.п.) и год;

б) сокращенное название и год.

В обоих последних случаях вслед за ключом после тире указывается полное название работы, а после точки – место, запятая, год издания, например:
Greenberg J. ed. 1978 – Universals of human language. V. 1. Method and theory. Stanford (California), 1978.
Universals... 1978 – Universals of human language. V. 1. Method and theory. Stanford (California). 1978.

3.2. В тексте ссылки на литературу даются в квадратных скобках; фамилия (и инициалы автора, если это необходимо во избежание недоразумений), год публикации работы с указанием цитируемых страниц (если это существенно). Например [В.В. Иванов 1992: 34], [W. Jones 1890]. Если в библиографии упоминаются несколько работ одного и того же автора и года, используются уточнения типа: [W. James 1890a]. Под этим же кодом упоминается данная работа в списке литературы.

3.3. Подстрочные примечания, которые сохраняются наряду со списком использованной литературы, имеют сквозную нумерацию.

4. Непринятые рукописи не возвращаются.

5. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются.

6. Авторам публикуемых статей направляется копия наборного экземпляра, который является окончательным вариантом сдаваемого в набор материала; корректура авторам не высылается.

Статьи, оформленные не в соответствии с указанными выше правилами, к рассмотрению в журнале "Вопросы языкознания" не принимаются.

CONTENTS

E.V. Uryson (Moscow). Linguistic image of the world vs. commonsense ideas; V.P. Koneckaja. Axioma, rules and hypotheses in lexicology; R.K. Potapova (Moscow), T.A. Gordejeva (Penza). On juncture in contemporary German (founded on the materials of regional German dialects of the Federal German Republic, Austria and Switzerland); F. Hundsnurscher (Münster). Principles, development and perspectives of the dialogue–analysis; R. Marojevič (Belgrade). Studies on the grammar of Old Russian. II. Possessives of the type *Tvorimirič;* R.M. Krivko (Moscow). Old Russian orthography in the XI century and in the beginning of the XII century in the light of suprasegmental timbre oppositions; M.V. Ivanova (Moscow). Old Russian agiography in the end of the XIV century and in the XV century as a source for the history of literary Russian; N.V. Percov (Moscow). On the problem of the invariant of grammatical meaning. II. The imperative in Russian; Ju.A. Pupynin (St.-Petersburg). Elements of temporal and aspectual system in child speech; **Reviews:** V.B. Krys'ko, A.N. Šalamova (Moscow). "Ein Rusch Boek". Ein russisch-deutsches anonymes Wörter-und Gesprächbuch aus dem XVI Jahrhundert; M.M. Makovskij (Moscow). *D.O. Dobrovol'skij.* German-Russian dictionary of living idioms; A.V. Morozova (Moscow). *M. Haspelmath.* Indefinite pronouns; **Chronicle features.**

Технический редактор *О.Н. Никитина*

Сдано в набор 29.12.97. Подписано к печати 30.01.98. Формат бумаги 70 × 100 1/16

Офсетная печать Усл.печ.л. 13,0. Усл.кр.-отт. 22,0 тыс. Уч.-изд. л. 15,7 Бум.л. 5,0

Тираж 1660 экз. Зак. 3122

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка,18/2. Институт русского языка,

телефон 201-74-42

ППП типография "Наука" Академиздатцентра РАН, 121099 Москва, Г-99, Шубинский пер., 6